

СМЕНА

A woman in a red bikini is captured mid-air, jumping into blue water. Her arms are raised high in a 'V' shape, and her hair is flying out. She has a joyful expression with her mouth open. The water around her is splashing and white with foam. The background is a clear, deep blue sky.

2 юли 2002

■ **Пьер Матъян: Дом убийств**

■ **Светлана Бестужева-Лада: Анатолия развода**

Признание и доверие сделали масло ЛУКОЙЛ
народной маркой



ЛУКОЙЛ Стан-дарт ЛУКОЙЛ Супер ЛУКОЙЛ Люкс ЛУКОЙЛ Си-тепик ЛУКОЙЛ Аван-гард

По вопросам приобретения фасованных масел "ЛУКОЙЛ" обращаться
по многоканальному телефону: (095) 973-7063 www.lukoil-masla.ru

ЛУКОЙЛ
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ

Теллер спонсорирован

Главный редактор

Михаил Кизилов

Редколлегия:

зам. главного редактора

Борис Данюшевский

Николай Левинев

зам. главного редактора

Сергей Попов

главный художник

Виталий Федоров

**редактор отдела
литературы и искусства**

Шамара Чинина

Литературно-
Художественный
Иллюстрированный
Журнал

Основан
в январе
1924 года.

7 **2002**
июль (1653)

Сдано в набор 22.05.2002.

Подписано к печати 17.06.2002.

Печать офсетная.

Заказ № 1728

Тираж 50 000 экз.

Цена свободная

Адрес редакции:

Бумажный проезд, 14,
Москва, А-15, ГСП-4, 127994.

212-15-07 — для справок.

257-31-37 — отдел реализации.

Факс (095) 250-59-28.

E-mail: smena @ garnet.ru

www.smena-id.ru

Проект разработан и поддерживается
студией веб-дизайна "Крон"

www.cron.ru (<http://studio.cron.ru>)

Журнал зарегистрирован

в Комитете Российской

Федерации по печати.

Reg. № 014832

Учредитель —

**ООО "Издательский дом
журнала "Смена".**

Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.

Набор, верстка и цветоделение
ЗАО "НИИ НИТ"

Отпечатано в типографии

ООО ОИД "Медиа-Пресса"

по адресу: ул. Правды, 24.

Москва, А-40, ГСП-3, 129993.

Журнал выходит

12 раз в год.

© "Смена", 2002.

ПРОЗА

46 *Екатерина
Постникова*

ГУМБЕРТ

Рассказ

122 *Пьер Маньян*

ДОМ УБИЙСТВ

Детектив

ВРЕМЯ И МЫ

18 *Светлана
Бестужева-Лада*

АНАТОМИЯ

РАЗВОДА

40 *Анастасия Захарова*

АРБАТСКИЙ

ПРИЗРАК

54 *Светлана
Бестужева-Лада*

В ОБЪЯТИЯХ

МОРФЕЯ

263 *Галина Калинина*

О ЧЕМ МОЛЧАТ

НАШИ РУКИ?

ИЮЛЬ '2002

В НОМЕРЕ:



стр. 34 ▲

стр. 72 ▼



4 *Анатолий
Куриашкин***МИКУЛА
СЕЛЯНИНОВИЧ
РУССКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ**34 *Владимир Стеклов:*
**"Я ЕЩЕ ПОЛЕЧУ
В КОСМОС"**64 *Леонид Лернер*
**ПО ПРИНЦИПУ
ЛЮБВИ**72 *Ирина Опимах*
АНРИ РУССО96 *Наталья Дроботко*
**"ДА ВОЗЛИКУЮТ
ЧУДЕСА!"**108 *Любовь Русева*
**ДРУГ ИСКРЕННИЙ,
ВРАГ ЯВНЫЙ**248 *Иван Зюзюкин*
**БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
УЗУРПАТОР**16 *Сергей Кариашин*121 *Елизавета Яковлева**Светлана
Бестужева-Лада*
**МОРАЛЬ
ДЛЯ ИНФУЗОРИИ
ТУФЕЛЬКИ**

Сегодня в обществе может преспокойно существовать как бы двойной моральный стандарт. Например, для мужчин и для женщин. Или для "элиты" и "быдла". Примеры — у нас у всех на виду каждый день. И все-таки, как ни труден разговор на эту тему, его надо продолжать, чтобы хотя бы наши дети поняли, что аморальные поступки — это не обязательно те, которые совершают другие люди. А и те, что совершаешь ты сам.

*Александр
Андрюхин*
**СОНАТА
ДЛЯ СКРИПКИ
С ОРКЕСТРОМ**

Любовь и ненависть, зависть и месть, бескорыстная доброта и жестокость. — все это присутствует в новом триллере Александра Андрюхина, строящего сюжет на грани реальности и фантастики.

август 2002

АНОНС:



На 1-ой обложке:
фотограф FOTOBANK

В русской классической литературе XIX века нет другой фигуры, которая стояла бы так наособицу от всех, как Николай Лесков. Автор хрестоматийных “Левши”, “Леди Макбет Мценского уезда”, “Тупейного художника”, “Очарованного странника”, “Заячьего ремиза”, он не похож ни на кого другого. Чтобы его читать — после Толстого, Гончарова, Тургенева, да и Достоевского, — надо словно бы перенастроить глаз — все равно как подкрутить окуляры у бинокля, когда переведешь его на другой предмет. Лесков пишет не картинками, не нанизывая эпизод за эпизодом на нить сюжета, а будто древний неизвестный автор “Слова о полку Игореве” — просто рассказывая историю, или, как какой-нибудь деревенский дед долгими зимними вечерами с печи, разве только не начиная своих повествований пресловутым “жили-были...” Его произведения дышат фольклорной мощью, былинным размахом, в их дыхании — нечто такое, что есть сама суть русской жизни, ее основа, ее неизменяемая от века к веку почва. Николай Семенович Лесков — один из самых загадочных, необъясненных писателей в отечественной словесности.

Микула русской



Селянинович
СЛОВЕСНОСТИ

рисунок И. Е. Репина. 1888—1889 гг.

Похоже, он и сам не слишком-то понимал себя.

В 1874 году, отвечая на вопрос Ивана Аксанова, "почему" он знает духовенство, 43-летний Лесков пишет ему в письме: "Откровенно Вам отвечу: я сам этого не знаю". (43 года! Не мальчик, а муж, и отвечает за свои слова.)

Пытаясь пробиться к разгадке Лескова, необыкновенно высоко его ценивший М. Горький размышлял: "Дед Лескова был священник, бабушка — купчиха, отец — чиновник, мать — дворянка; таким образом, писатель объединил в себе кровь четырех сословий, но очень вероятно, что наиболее глубокое влияние оказал на него человек пятого сословия — солдатка-нянька, крепостная..."

Между тем все не так просто.

Да, дед писателя действительно был священнослужителем, причем обыкновенным, рядовым, сельского приходу. Но Лесков никогда не жил с ним, более того — впоследствии даже не помнил точно, какого уезда село Лески, где служил дед и которое дало его родовую фамилию. Но всему тому отец писателя, выгнанный суровым дедом из дома после окончания семинарии за отказ продолжить фамильное дело, не очень-то любил рассказывать о своем жестокосердном родителе.

Возникает естественный вопрос: как мог повлиять на формирование Лескова дед, общения с которым он не знал, никогда его не видел, а отец рассказывал о том снупо и неохотно?

С бабушкой писателя со стороны матери дело обстоит более

благополучно — с нею будущий писатель и вволю общался, и слушал ее рассказы, любил ее, как никого другого из своих родных, а любовь, как известно, побуждает сердце вбирать в себя мир любимого человека. Однако же бабушка была купеческого сословия лишь по происхождению. А вышедши замуж за дворянина, вела жизнь по формам и сути отнюдь не купеческую. разве что не блистала высокой культурой речи и утонченной культурой поведения в быту.

Так что, получается, и здесь натяжка, попытка объяснить тайну незаурядного таланта слишком простыми причинно-следственными мотивациями.

А может быть, Лесков-писатель — это та тайна, которую и не должно разгадывать, а нужно просто принять? Так же, как мы принимаем тайну Пушкина, разводя рунами перед загадкой его гения.

Думается, что именно так. Нам остается лишь вглядываться в рисунок лесковской судьбы, поражаясь тому, как жизнь словно специально все делает так, чтобы он всего себя растворил в писательстве, отдал ему себя без остатка — независимо от своей воли.

Между тем к чему-чему, а к писательской карьере Николай Лесков не готовился. Во всяком случае, едва не до возраста 30 лет, он не предпринимает никаких попыток писательства. И в позднейших автобиографических заметках, рассказывая о своем детстве и юности, нигде и ни разу не упоминает о такой мечте — стать писателем. Более того, в одной из этих заметок им роняет-

ся фраза: "Писательство началось случайно".

Как же оно началось?

С того, что 26-летний губернский секретарь Киевской казенной палаты Николай Лесков бросил вполне успешную "цареву службу" ради "вольной жизни" в английской компании "Шкотт и Вилькенс".

Это был конец 50-х годов XIX века. Недавно окончилась Крымская война, принесящая России позор поражения, но вместе с тем — освобождение от ледяного царствования Николая I. Начало новой эпохи, означенной воцарением на российском престоле Александра II, возбудило общественным ожиданием скорых разнообразных перемен. Все пришло в движение, развязались не только языки, но и зазудели руки, молодые люди бросали государственную службу, устремлялись в коммерческую деятельность, рвали с отцовско-дедовскими обычаями, полагая себя более понимающими жизнь, чем их родители, способными достичь жизненных высот и успехов, о которых их отцы не смели даже мечтать.

Компания "Шкотт и Вилькенс", на которую стал работать бывший губернский секретарь, занималась всем, что, по мнению ее хозяев, могло принести прибыль: варила сахар и гнала спирт, делала селитру, возделывала свеклу, пилила доски, изготавливала паркет. Дела компания вела чуть не по всей России, и как единственный русский в ее — употребим современное слово — менеджерском составе Николай Лесков и мотался по этим делам на тысячеверстные расстояния с юга на

север и с запада на восток. Иные поездки растягивались на два, на три месяца (вспомним: железных дорог по-настоящему еще не было, основное средство передвижения — тарантас на конной тяге), постоянные дворы, почтовые станции, убогие провинциальные гостиницы, крестьянские избы — вот места, где проводил большую часть своего "командировочного" времени бывший государев чиновник. Наблюдений было уйма, и он описывал их в своих письмах к "дяде Шкотту" (обрусевший англичанин Александр Яковлевич Шкотт был мужем его тетки по матери). Письма, в принципе, были деловые, и описываемые случаи, встречи, люди большей частью имели отношение к этим делам. Но в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии, где находилась штаб-квартира компании, ждали писем молодого сотрудника не только ради сообщений о делах. Так живо, так ярко, так зримо и своеобразно описывал отставной губернский секретарь свои наблюдения, что читать его письма было удовольствием и радостью.

Занятия коммерческой деятельностью, однако, длились всего около трех лет. Компания "Шкотт и Вилькенс" разорилась, Лескову пришлось возвращаться в Киев, снова проситься на службу. На службу-то взяли, а ходить в вицмундире, тянуться перед начальством во фронт, одновременно склоняясь выеи, после неслуживой жизни оказалось невмоготу. Лесков сразу ощутил, что это не жизнь. А что ему всегда больше всего хотелось — это именно жить.

Жить — значило получать радость от жизни, наслаждаться ею, обогащаться впечатлениями — постоянно, каждодневно, ежечасно и ежеминутно. Вот, скажем, хорошо было учиться — в смысле, узнавать новое, приобщаться к культуре, но вгонять эти свои знания в жесткие, сурово сколоченные где-то в министерстве просвещения рамки экзаменационных ответов — ну нет! Поэтому, проучившись в Орловской гимназии целых 5 лет, Лесков получает аттестацию всего за два класса, не сдав переводных экзаменов даже за 3-й класс. Собственно, он мог бы сидеть в своем третьем классе и дальше, но уже подошли 16 лет, грудь уже раздирала жажда настоящей, взрослой жизни, и что было култыхаться в этой гимназии дальше, ради чего? Ради аттестата?! Нужен он ему!

Так юный Лесков впрягся в хомут чиновничьей службы. Который ему, жаждущему жизни, представлялся куда мягче, чем хомут гимназической обязанности отчитываться об усвоенных знаниях. Он стал служителем в палате уголовного суда — гоголевским Ананием Ананиевичем, по сути: начав с должности заурядного писца.

Все, больше никакого стандартного, официального образования Лесков никогда не получит. Дальше — одно самообразование, чтение и разговоры с людьми, которые могут осветить для него тьму или полутьму интересующего его вопроса. Самообразование и — жизнь. Которую он пьет со всею страстью своей горячей широкой натуры. Тут и полная самоотдача на службе в

звании уже помянутого губернского секретаря, и грандиозные кутежи в компании других свободных молодых людей — то в трактире, то с выездом на природу, то в небогатых городских кварталах с не слишком строгого нрава "дивчатами", — групповые кулачные бои, а вместе с тем — изучение украинского и польского языков, которые с той поры (вместе с приобретенным в детстве французским) будут с ним до конца жизни. Не той же ли все жаждой жизни, стремлением как можно скорее и больше вобрать ее в себя, все пройти, все узнать, объясняется его ранняя, в 22 года женитьба? При том, что не было никаких особых жизненных обстоятельств, которые бы понуждали его к этому шагу, при том, что, судя по всему, он не был безумно влюблен, да и положение его в обществе было еще незначительно. Брак этот окажется в высшей степени неудачен, он не дастся с первых же месяцев, но тем не менее продлится семь лет. В нем у молодых родится двое детей, один из которых, мальчик, вскоре умрет. Лесков хлебнет прелестей семейной жизни с женщиной, которая позднее проведет долгие годы жизни в психиатрической лечебнице, как говорится, по самую ноздрю. Но уж зато живет, зато жизнь поворачивается к нему всеми сторонами, показывает себя и с красной стороны, и с исподу.

В писательстве, когда окружающие раз от разу настойчивее стали склонять его к занятию литературой, Лесков увидел все ту же возможность жить. Да еще и

как жить! В полном смысле своей волей, не служа, не нося вицмундира, в который, однако, опять пришлось влезть и который по второму заходу, после свободы частного предпринимательства, оказался так тесен.

Начинает Лесков с корреспонденций, очерков, довольно специальных, которые в специальных же изданиях и печатает: в "Современной медицине", "Указателе эконолическом". Но жить в литературе целиком так жить, и вот он уже вновь уволен со службы, обретается в Санкт-Петербурге, заводит знакомства — без особого разбору, какие подворачиваются под руку, — начинает сотрудничать с основанной в Москве писательницей Евгенией Тур (графиней Салиас-де-Турнемир) газетой "Русская речь", перебирается для удобства сотрудничества в Москву, но вскоре порывает с газетой и возвращается в столицу на Неве. И тут, уже в качестве постоянного сотрудника, прочно поселяется на страницах газеты "Северная пчела", где в апреле 1862 года появляется его рассказ "Разбойник", с которого и начинается собственно Лесков-писатель.

Поразительно, что в "Разбойнике" — уже весь будущий Лесков, каким мы его знаем. Здесь и рассказчик, что ведет повествование, а внутри этого повествования — еще один рассказчик, которому доверено поведать главную, сюжетобразующую историю, — прием, что зрелый Лесков будет использовать неоднократно. Здесь и та самая сюжетобразующая история, которую рассказчик хранит в себе как одно из эмоциональнейших собы-

тий своей жизни и без которой рассказ представлял бы собой не более чем очерк путешествия, каких появлялось на страницах литературных изданий довольно много в те годы. Но "оснащенный" этой историей — про встреченного мужиком-рассказчиком на лесной дороге то ли разбойника, то ли беглого солдата, которого он со страха огрел по спине дубиной, возможно что и убив, — очерк преобразуется: словно распахивается некая потаенная дверь, и оттуда одним прыжком вымахивает что-то косматое, неясное видом и лицом, но страшное и грозное обликом — самая сущность русской жизни, в ее ничем не прикрытом, не замаскированном никакими "идеями" и "смыслами" образе.

Ну, а кроме того, язык, которым написан "Разбойник". Это совершенный, выделанный язык, язык не просто мастера, но мастера зрелого, крупного — матерого. Автор пишет так, будто берет читателя за шкирку и всаживает в центр творимого его словом действия: вот хочешь ли, не хочешь ли, а попался — так досидишь и все, о чем буду рассказывать, дослушаешь.

Но столь благосклонно обратившаяся к нему лицом на первых порах писательства судьба вскоре разворачивается к Лескову своим тылом.

Лесков пришел в литературу жить, он полагал ее той самой обретаемой им наконец жизнью, к которой, неосознанно для себя, стремился все эти годы, как отказался продолжить учебу в Орловской гимназии, а оказалось, что литература та же служба. Только вправленная в рамку,

на которой начертано духовозвышающее слово "служение". Однако любая рамка только оформляет картину, придает ей вид, не меняя сущности и сути изображенного. А на той картине, которую представляла собой литературная жизнь тогдашней России, можно было существовать, лишь верно и истово служа одной из двух партий: прогрессистской или консервативной. Или — или, черное — белое, другого не признавалось. Шаг влево, шаг вправо — ты не наш, ты враг.

Трудно теперь, полтора века спустя, перечитывая ту статью Лескова о петербургских пожарах, понять, что уж так ополчилась против него прогрессистская братия. Конечно, он и до того досаждал прогрессистам своими фельетонами в "Северной пчеле", постоянно осаживая их, прямо и непрямо говоря и о невозможности, и о ненужности революционного пути для России, указывая на разительное отличие России от Франции и других европейских стран. Конечно, уж больно упрямо он не хотел видеть "наката" власти на демократические органы печати, но уж нем он в своих публицистических писаниях (да и знакомствах, которые водил!) не был, так это консерватором-ортодоксом, ретроградом, охранителем, а уж тем паче доносчиком, эдаким литературным цепным псом режима. Однако же произнесенные с сердцем слова обращения к власти, чтобы она, наконец, положила конец слухам о причастности к пожарам людей определенного "сорта", чтобы она, "если... хочет заслужить себе доверие общества и его содействие", или под-

твердила эти слухи соответствующими арестами, или же, наконец, опровергла их, эти совершенно разумные, трезвые и единственно правильные в той ситуации общественного смятения слова были истолкованы как призыв к арестам среди молодых людей, известных своими демократическими воззрениями.

Надо сказать, он и власти не угодил своими упреками, и "Северной пчеле" еще долго пришлось объясняться с нею по этому поводу. Но кара прогрессистов была страшнее. Лескова разделили в прогрессистской печати, как быка на скотобойне, не оставив от него не только живого места, но и мокрого. Его попытки объясниться оказались тщетны — Лескова не хотели и слушать.

И тогда молодой писатель решительно поднимает брошенную прогрессистской партией перчатку: ах вы так? ну так вот вам мой ответ, почитайте о себе, что вы такое!

Ответ Лескова — привезенный им из Парижа, куда его, подальше от непосредственных боев, сослала редакция "Северной пчелы" собственным корреспондентом, роман "Некуда" (опубликованный под псевдонимом М. Стебницкий). Роман о молодом поколении 60-х годов, роман безжалостный в своей оценке этого поколения, его нравственности, его идей, поступков. Как принято было говорить в советском литературоведении, "антинигилистический роман".

Негодование прогрессистской партии оказалось безмерно. Как, бык, от которого не оставили мокрого места, восстал

из праха?! Превратиться ему снова в этот прах! Приведем лишь одну цитату из множества статей и рецензий так или иначе посвященных роману Лескова: "Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России — кроме "Русского вестника" — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилией? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого?.." Помянутый здесь "Русский вестник" — журнал Каткова, действительно являвшийся уж таким реакционным изданием, что оттуда потягивало трупным запахом, а автор этих строк — не кто иной, как замечательный критик Писарев, идеологическое для которого всегда, однако, было выше эстетического.

Того, что в это же время, как донепечатаются последние главы романа, в другом журнале, а именно братьев Достоевских "Эпоха", выходит повесть "Леди Манбет нашего уезда" (тогдашнее ее название), — этого никто не замечает. Как потом долгие годы не замечают по-настоящему ничего, что пишет и печатает Лесков. Нет, с годами, конечно, определенное признание приходит, а спустя двадцать лет так считается за честь получить для публикации новую рукопись писателя, но все же это — совсем не то признание, что у Тургенева, Толстого, позднего Достоевского.

Лесков стоит где-то в одном ряду с Писемским, Данилевским, Мельниковым-Печерским — в общем, во втором ряду литературы, и вытащить его оттуда нет никому никакой возможности. Ярлыки, приклеенные в начале 60-х, — как пудовые гири, тащат вниз, мешают трезво и непредвзято рассмотреть это явление русской литературы — Лескова, — а кто предпринимает такую попытку, тут же его одернут. В 1897 году, в предисловии к посмертному собранию сочинений Лескова Р. Сементновский, говоря о его творчестве, попробует пересмотреть иерархическую систему оценок, сложившуюся в отношении литературы второй половины века, и тут же получит укорот от авторитетнейшего критика той поры Н. Михайловского: "Лесков есть по преимуществу рассказчик анекдотов". И много еще чего унижающего и принижающего Лескова наговорит Михайловский в той статье, главное же — что никак его невозможно поставить в один ряд с классиками русской литературы: не дотягивает.

Так эта странная, двойственная оценка Лескова — с одной стороны, вроде писатель куда крупнее Писемского и Глеба Успенского, а с другой, ну никак не Толстой, не Достоевский — и дотянула до наших дней. В первые годы Советской власти он вообще использовался ею чисто утилитарно: вот есть "Тупейный художник", который можно рассматривать как агитку об ужасах крепостничества, — так таким образом его и употреблять, в таком качестве и представлять; и от всего наследия Лескова чуть ли ни один сплошной "Тупейный

художник" и остается. "Сплошной "Тупейный художник" в том смысле, что у Лескова берется его антикрепостническая, антицерковная сторона — и тут наиздана масса повторяющихся по составу книг. Лесков же, пишущий о человеческой душе, ставящий вопросы духовные, — его как нет. Правда, после середины 50-х годов, когда вышло весьма солидное, знаменитое красное 11-томное собрание его сочинений, включившее в себя даже "Некуда" (но не осилившее другого "антинигилистического" романа "На ножах"), Лесков возвращается в литературу в ипостаси художника, а не просто агитчика, но возвращается примерно с той же оценкой, что была выставлена ему при жизни. Дела не изменили даже юбилейные годы — 150-летие со дня рождения, — пришедшиеся на начало 80-х годов ушедшего XX века (Лесков родился в 1831 году). Вышло несколько книг, посвященных его творчеству, среди них довольно интересные литературоведческие исследования, но из всех этих книг можно выделить лишь одну, уровень разговора в которой соответствует масштабу лесковского наследия. Это книга критика Льва Аннинского "Лесковское ожерелье". Во всех остальных, даже самых академических, чувствуется тайное, тщательно скрываемое и в то же время абсолютно явное недоумение их авторов: а чем, собственно, значителен Лесков, чем велик, что в нем, собственно, таково, что заставляет меня писать это исследование?

Ситуация парадоксальная. И не разрешившаяся за те двад-

цать лет, что прошли со времени юбилея. Вопрос о том, что выделяет Лескова из того второго ряда писателей, куда его постоянно пытались загнать, что противу всех прежних авторитетнейших мнений вдвигает его в один ряд с Толстым и Достоевским, и сейчас остается без ответа.

Став писателем случайно, Лесков, на самом деле, незнаемо для себя, помимо собственного представления о себе, предуготовлялся к этой стезе с самого детства. Тому свидетельство — неспособность сдавать переходные гимназические экзамены, что часто свойственно художественным, выламывающимся из общих рамок натурам (Бунин тоже не осилил гимназии, Чехову вместо десяти лет пришлось учиться двенадцать). Тому свидетельством и запойное чтение, которым он "страдал" уже в те самые гимназические годы. Ну, а его впечатлительность, гордость, своеобразие — просто черты характера, которые обусловили тип его жизненной и писательской судьбы.

Талант же, что был дан ему, оказался совершенно необычен и отличен от талантов всех других русских писателей XIX века. Лескову оказалось дано видеть и слышать то, что никому другому, — испод континента, называемого Россией, течения его подповерхностных рек, геологические события таких его глубин, что от одного твоего прикосновения к ним взглядом охватывает жуть.

Отсюда, собственно, и "Некуда", который, несомненно, был бы написан и помимо тех печальных обстоятельств, которые спо-

собствовали его появлению. Потому что, варясь в этом "нигилистическом" котле, водясь и дружа со многими его обитателями, Лесков увидел то, что напроочь было скрыто от глаза и утаено от слуха того же Писарева: подземные события и гулы и обещающее, отнюдь не прекрасное будущее.

Отсюда и рассказ "Овцебык", по времени написания и по смыслам, заложеным в нем, прямо примыкающий к роману. Герой его, бывший семинарист, колоритнейшая фигура по прозвищу Овцебык, готовый ради исповедуемых им демократических идей на любые лишения и тяготы жизни, попробовав пробить их "светом" толщу крестьянских взглядов, традиций — попросту жизни, — ломается и кончает жизнь самоубийством. И вот что при этом характерно: Лесков не нагнетает страстей, не взбивает пену писательских эмоций. Смерть Овцебыка написана потрясающе просто, как обыкновенное, будничное событие. Оно для Лескова и в самом деле буднично: оттуда, исподу, изнутри он видит таких смертей неисчислимо — так уж до эмоций ли тут.

Отсюда и тот необыкновенный язык, которым написаны, практически, все вещи Лескова.

"Зима отошла, и белый снег по ней подернулся траурным флером; дороги совсем почернели; по пригорнам показались проталины, на которых начался иссохший прошлогодний польнь, а в лощинах появились зажоры, в которых по самое брюхо тонули крестьянские лошади; бабы городили под окнами из ранитовых колышнов козлы, натягивали на

них суровые нитки и собирались расстилать небеленые холсты; мужики пробовали раскидывать по конопляникам навоз, брошенный осенью в кучах. Голодные грачи жадно хватили из навоза круглые коричневые комья и, носясь с оглушительным криком над деревней, оспаривали друг у друга скудную добычу. Письмоводитель станowego переносил из избы в избу мертвое тело, явившееся наружу из-под осевшего снега, и собирал с мужиков контрибуцию за освобождение их от вскрытия в их доме позеленевшего трупа. Словом, наступила весна, со всем тем, чем она обыкновенно знаменует свое пришествие к нам на Гостомле".

Это цитата из "Жития одной бабы", повести, написанной еще ранним Лесковым. Но здесь — уже весь Лесков, и при внешней похожести этого описания на подлинные описания у других писателей 60-х годов оно несет в себе то особое, что и есть фирменный знак Лескова, — прочтя его, видишь не просто картину, но буквально физически попадаешь в описанный мир, где колышки козел не просто колышки, а ранитовые, мужики еще не работают, раскидывая навоз, а лишь пробуют раскидывать, и никому нет дела до явившегося из-под снега трупа: государев чиновник делает на нем свой гешефт, мужики же покорно откупаются от пользующегося своим положением себе во благо письмоводителя.

Вся стихия русской жизни явлена Лесковым в этих полутора десятках строчек. Явлена и выявлена. Его язык — это, по сути, язык геологической России, при-

способленный для литературного употребления язык народного самосознания и самочувствования. Этот его язык, каково не было больше ни у кого другого из русских писателей XIX века, был дан ему как мета его дара, как основа его дара и вместе с тем как его суть. "Язык", разумеется, в расширительном смысле: не только как собственно речь, а как способ мышления и чувств, как способ их выражения.

Можно, пожалуй, даже говорить о фольклорности судьбы Лескова. Невольно напрашивается сравнение его с Ильей Муромцем, просидевшим до тридцати трех лет на лавке и только после этого возраста сподобившегося взять в руки палицу да пойти служить ратным трудом родному Отечеству. Но сравнение с Муромцем в своей глубинной сути будет не точным (хотя лесковский талант до поры до времени тоже дремал в нем). По высшему счету Лесков был все-таки Миколой Селяниновичем — пахарем, чей неподымный больше ни для кого плуг брал на глубину, также непосильную больше ни для кого другого.

Надо сказать, пахать он мог только своим плугом. В тех нескольких случаях, когда он волей обстоятельств, не отдавая себе в том отчета, переменял свой плуг на общеупотребительный, его ждало фиаско. И прежде всего это, конечно, должно сказать относительно романа "Некуда". Роман в художественном смысле, безусловно, неудачный. Он весь получился какой-то легковесный, простоватый — нелесковский. Маловероятно, что причина неудачи — цензорская резна и за-

тем утрата вырезанных кусков текста, так что сейчас мы не можем восстановить первоначального текста романа. Представляется, что причина в избранном Лесковым "нелесковском" — "тургеневском", снажем так, — типе романа. Подобное художественное мышление было чуждо его дару, — и вот оно вступило в противоречие с ним, стало диктовать ходульные сюжетные повороты, придавать образам героев какую-то деревянность. Что невозможно даже представить в других, собственно лесковских вещах. Да, мазок его обычно широк, размашист, груб и резок — вплоть до лубочности, — но там, где Лесков рассказывает истории, все это естественно и выразительно, а начал изображать — неизбежный провал.

Вместе с тем, и это несомненно, не написать такого романа, как "Некуда", Лесков не мог. Человеку его размаха, его крутости, участвовавшему в кулачных боях и вообще любившему бой, удержаться от ответного удара было никак невозможно. Последствия того ответного удара, как уже говорилось, преследовали его потом всю жизнь. "Порядочная часть" русского общества договорилась до того, что Лесков — агент III (жандармского) отделения, он приносил свою новую вещь в журнал — а его оттуда гнали, заворачивали рукопись, даже не прочтя. И так в одном, другом, третьем. А между тем в возрасте 34 лет, в 1865 году, он снова женился, и снова без всякого расчета, по велению сердца, по страсти — на женщине с тремя детьми, взваливши себе на холку всех,

да она вскоре родила ему собственных сына и дочь. И была еще дочь от первого брака. И была помещенная в сумасшедший дом первая жена, которую он тоже не оставлял своим попечением. Временами писатель нуждался до того отчаянно, что приходила мысль о самоубийстве. Уберегала его от этого шага лишь вера. Церковников он не любил, особенно высшее, "руководящее" духовенство, но вера его с годами только крепла, под пресом всех тяжелейших жизненных обстоятельств Лесков не согнулся, и из-под его пера выходили все новые и новые произведения.

Писание стало для него жизнью в полном смысле этого слова. Он хотел жить — и вот оназлось, что жить для него теперь — это писать.

Уникальность Лескова столь велика, его творческая манера до того неповторима, что он, практически, не оставил школы — при всем своем громадном воздействии на многие и многие выдающиеся писательские имена. А среди них и Чехов, в молодости поистине влюбленный в Лескова, гордившийся состоявшимся знакомством с ним и тем, что при встрече Лесков, 52-летний, благословил его — 23-летнего: "Пиши!" Среди них — и уже поминавшийся Горький, высочайшей оценке которого творческого наследия Лескова советский читатель, наверное, и обязан тому, что Лесков не был у него все же отнят напрочь. Но разве увидишь в Чехове что-то лесковское? А даже и в Горьком, хотя бы и молодом. Лесковское умение писать саму стихию русской жизни,

ее подземные хляби и клочущие лавы не передалось никому.

Лесков умер в ночь с 20 на 21 февраля 1895 года от отека легких, вызванного стенокардией — болезнью, которой он страдал последние шесть лет. Болезнь его была абсолютно профессиональной, он ее заработал своим литературным трудом, как другие зарабатывали тем же дома: первый ее приступ случился у него на крыльце типографии Суворина, когда ему сообщили, что шестой том его собрания сочинений зарезан цензурой. Постарался тут сам начальник Главного управления по делам печати Феонтистов, с которым в далеком 1861 году Лесков работал в "Русской речи" и которого под именем Сахарова нелегально вывел в "Некуда". Дождался своего, отомстил!

Так начало и конец жизни Лескова в литературе соединились. Он жаждал жить — и русская жизнь вознаградила его собой сполна.

Но жизнь, как известно, — процесс старения. И неизбежно заканчивается смертью. Остается сделанное человеком. И от одних, таких, как Феонтистов, остается поминание его имени мелким шрифтом в примечаниях к собранию сочинений — с перечислением сотворенного им зла. От других — это самое собрание сочинений. При том, что если имя этого большого и страшного при жизни чиновника вообще никуда не вставлять и не помянуть, то ничего в мире не изменится. Без сочинений же Лескова мир русской культуры, да просто русский мир невозможно представить.

Сергей КАРГАШИН

* * *

*Белым облаком пенится сад,
Пеленая зарю лепестками.
Засмеешься вдруг ты невпопад —
И искра промелькнет между нами.*

*От весеннего воздуха пьян,
Я такое тебе наболтаю!
Как ни странно, но всю эту дрянь
Ты с восторгом воспримешь, родная.*

*Развеселый получится клип:
В интерьере плывущего сада,
Губ твоих постигая изгиб,
Я рубашку измажу помадой...*

*А потом будет чай на столе.
И варенье от прошлого года...
И чуть свет — на метле-помеле
Мы помчимся в Москву — на работу.*

* * *

*Выбор сделан. Мой путь —
по железной отточенной кромке...
Там, где зверь не пройдет,
да и птица наврядли скользнет,
я мечты неземной
на земле собираю осколки,
я хочу воскресить
то, что кануло в чреве болот...*

*...А в соседней избе
кто-то глушит опять самогонку,
и кобель на цепи
полусонно рычит на забор...
Только я все бреду —
по железной отточенной кромке,
как ненужную вещь,
отложив тишину на потом...*

* * *

*В палисаднике облако зацепилось за вишню:
Стало облако красным, ветки белыми вышли...
Закружилась по саду сумасшедшая радость!
Все, как в старом кино, — задрожало, смешалось...*

Вдруг пахнуло дымком, свежей рыбой, лугами...
А еще — голубыми, родными глазами...
Хмурый пес у крыльца с перепугу залаял.
За берданкой полез полупьяный хозяин.
Поискал. Не нашел. Но на улицу вышел.
А в саду — никого, кроме облака — вишни...

* * *

Ты не спишь мне. Не спишь мне, не надо.
Я давно просыпаюсь с другой.
Да и ты, слышал я, аккуратно
Притворяешься чьей-то женой.

Все нормально. Мы сели — и едем.
Нашим разным маршрутам верны.
Но беда — иногда на рассвете
Ты в мои прорываешься сны.

Ты не спишь мне. Не надо, не надо!
Поезда не умеют летать.
Суждено нам по дням, как по шпалам,
Друг от друга все дальше бежать...

* * *

Я уставшим таким еще не был.
Ничего. Ничего не хочу.
Словно камень, заброшенный в небо,
Я обратно со свистом лечу.

Вниз дорога — гораздо короче.
Без усилий скользишь, без борьбы.
И чем ниже, все менее хочешь
Снова сердце бросать на дыбы.

Об одном лишь я тихо жалею:
В высшей точке своей неземной
Не успел я упасть на колени
Перед женщиной нежной одной...

Не успел. А теперь уже поздно.
Камнем вниз — вот мой новый маршрут.
Наверху, как на фронте, все просто:
Зазевался — в момент подобьют.

Мне уже не уйти от удара.
Эй, душа! Веселей пропадай.
Догорай. Но не чадом пожара,
А закатом в полях догорай...


АНАТОМИЯ

Прошу прощения за банальное начало, но от классики никуда не денешься, равно как и от истории. Роман "Анна Каренина" начинается со всем известной фразы: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему". И дальше ставшая хрестоматийной история нескольких семей, связанных родственными узами, семей абсолютно не похожих друг на друга, при этом... со стороны выглядящих достаточно счастливыми. Стив и Долли Облонские, супруги Каренины и Вронский, Левин и Китти. Одна семья распалась почти официально, две другие время от времени балансировали почти на грани, но ни одного развода не произошло. Со статистической точки зрения ситуация просто блестящая: три семьи созданы, ни одна не распалась. Именно это дает возможность патетически восклицать, что раньше нравы были чище, люди подходили к браку ответственнее, и так далее, и тому подобное.



развода

Светлана
БЕСТУЖЕВА-ЛАДА

A bride in a white dress holding a bouquet of flowers and a groom in a dark suit stand on a path made of broken metal chains. The chains are scattered on the ground, symbolizing the end of a marriage.

Сегодня,
по оценке специалистов, в России
распадается каждый второй брак.

Десять лет назад
распадался каждый
третий. Рост огромный —
в полтора раза!

**По годам
семейной жизни
разводы распре-
деляются так:**

до 1 года — 3,6 %,

от 1 до 2 лет — 16 %,

от 3 до 4 лет — 18 %,

от 5 до 9 лет — 28 %,

от 10 до 19 лет — 22 %,

от 20 и более лет — 12,4 %

Таким образом, за первые 4 года
происходит около 40 процентов
разводов, а за 9 лет — около 2/3
их общего числа.

Не такое уж далекое прошлое

Единственное существенное отличие настоящего времени от прошлого — это торжество адюльтера. Супружеской изменой сейчас даже кошку не удивишь, тем более — окружающих. А ведь каких-то сто лет тому назад измена жены приравнивалась к светопреставлению, да и мужья особенно налево не гуляли. Только вовсе не потому, что общественная мораль находилась на немыслимой высоте. Подавляющему большинству этим было просто... некогда заниматься. Крестьяне, рабочие, мещане, купцы работали. Их жены занимались хозяйством, рождением и воспитанием детей, на прочие глупости времени не оставалось. Внебрачные связи были дороги дворянскими игрушками, при том, что в глазах церкви адюльтер поводом для развода быть не мог.

На самом деле история действительно учит нас только тому, что... ничему не учит. Хотя кое-какие полезные сведения из прошлого все-таки можно почерпнуть, исключительно для того, чтобы порадоваться заметному смягчению нравов в наше с вами время. Ибо самое верное средство расторгнуть брак — овдоветь — сейчас практикуется достаточно редко и считается либо экзотичной, либо невероятным везением. Хотя пышные похороны как радикальное средство расторжения несчастливой брачной связи не черный юмор, а исторический факт. Со времен Римской империи именно так мужья избавлялись от надоевших жен, а жены — от опостылевших мужей. Но в этом

еще существовал хоть какой-то намек на равноправие. А вот дальше все стало много хуже. Для женщин, естественно.

Иван Грозный, например, через одну отправлял своих благоверных либо на плаху, либо в монастырь. Его примеру последовал и Петр I, сославший свою супругу Евдокию с глаз подальше. Царь-реформатор женщин все-таки не убивал, хотя, возможно, ему за остальными неотложными делами было просто некогда этим заниматься. А с глаз долой — из сердца вон.

Но, что удивительно, именно тогда, при Петре, зародилась традиция полюбовного развода.

В 1722 году Петр I издал указ о "временном различии", который позволял супругам разъехаться, не испрашивая разрешения Синода. Для этого надо было при свидетелях дать письменное подтверждение, что не имеешь к бывшему супругу никаких претензий. Удивляет это еще и потому, что одновременно Петр Алексеевич жесточайшим образом карал мужеубийц — их живыми закапывали по шею в землю, — а вот о наказаниях для мужчин, порешивших свою лучшую половину, история почему-то умалчивает. Впрочем, и эпоха полюбовных разводов-разъездов длилась недолго: уже через пять лет после смерти Петра его племянница, императрица Анна Иоанновна, запретила постригать в монахини женщин, тяготившихся супружескими узами. Из-за этого запрета погибла, например, первая супруга "арапа Петра Великого", которую тот пытками и побоями довел до сумасшедшего дома. Пушкин все-та-

ни сильно идеализировал своего предка.

Естественно, женщина не могла и запереть опостылевшего супруга в монастырь, так далеко эмансипация даже до сих пор не продвинулась. Но "бабий век" в истории России все-таки принес свои плоды: дворянкам разрешалось "отдельное проживание", чем активно пользовалась чуть ли не половина высшего света. Впрочем, имея недвижимость в разных губерниях и солидное состояние, сделать это было несложно. Часто после формального разъезда супруги сохраняли вполне дружеские отношения и вовсе не стремились окончательно освободиться от брачных уз. Хотя, конечно, и такое случалось.

Например, князь Вяземский, прожив десять лет в браке и восемь — отдельно от жены, попросил Синод развести их по причине "старости, болезней и неспособности к брачному сожителю". Святейший Синод, понимая надуманность повода, просьбу удовлетворил. И тем самым внес свою лепту в богоугодный процесс пропаганды добровольных и мирных разводов.

Благородные дворянки XIX века не боялись разводов: они точно знали свои имущественные права. Им полагались седьмая часть имений супруга и четвертая часть его недвижимости и капитала. Если, конечно, они вели себя прилично по отношению к бывшему мужу. А вот когда Анна Керн убежала от супруга-генерала к любовнику, генерал был так оскорблен, что не выделил ей никакого содержания. Понадобилось личное вме-

шательство государя-императора, чтобы "гений чистой красоты" получила хоть какие-то деньги. Правда, экс-супруг предпочел забыть о том, что получил за супругой солидное приданое, но тогда и это было в порядке вещей.

Встречались, правда, вздорные жены, требовавшие от мужа чуть ли не всего имущества. Именно такой была супруга генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Отчаявшись с ней развестись, Суворов попросил у Павла I соизволения постричься в монахи. И опять же только активное посредничество государя помогло разрешить дело полюбовно и обойтись без развода. Но ноль скоро в каждом отдельном случае требовалось согласие Синода, подавляющее большинство супругов предпочитало не выносить сор из избы и утешаться пословицей "стерпится — слюбится". Что особенно интересно, сплошь и рядом именно так и получалось.

Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни семьи — когда супругам от 20 до 30 лет. Установлено также, что браки, заключенные до 30 лет, в среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 30.

После 30 лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли. Более молодые легче расстаются с привычками, травмирующими супруга.

Абсолютное большинство разводов приходится на возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в возрасте 25 лет.

Главное, пожалуй, заключалось в том, что нашим не таким уж далеким предкам было элементарно некогда разводиться. Это сейчас после тридцати лет жизнь только начинается, а тогда, в позапрошлом веке, она к сорока уже почти заканчивалась. "Старухе-графине", матери Наташи Ростовской, было чуть-чуть за пятьдесят, когда ее жизнь сосредоточилась вокруг пасьянсов и бесед с приживалками. Лариной, "простой, милой старушке", только-только исполнилось сорок. В двадцать лет девушка считалась "перестарком" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что увеличение продолжительности жизни сыграло свою роль и в моделировании супружеских отношений, хотя мы крайне редко об этом задумываемся.

В XX веке разводы стали делом столь привычным, что стали разводиться даже католики, что уж совсем скандально. Более того, коронованные особы расторгают браки из-за "несходства характеров", что уж вообще ни в какие ворота не лезет. Все мы были свидетелями скандального развода принца Чарльза и принцессы Дианы. В результате она — в гробу, а ему уже никогда не быть королем, но это еще лучший вариант для династии Виндзоров. Иначе матерью английского короля могла бы стать супруга араба-мусульманина, а уж тут, перефразируя известную поговорку, что позволено быку, то Юпитеру уж никак не пристало.

Но вообще англичане — настоящие рекордсмены в области курьезных разводов. В середине 60-х годов прошлого века 29-

летний герцог Аргиллский подал на развод, обвинив свою 19-летнюю жену в супружеской неверности. В качестве доказательств он предоставил фотографии. Там была изображена его вторая половина, которая не просто занималась любовью с другим мужчиной — она делала это в чрезвычайно извращенной форме. Подвергнуть юную супругу такому унижению герцог решил по чисто меркантильным соображениям: в случае полюбовного развода ему пришлось бы выплачивать жене 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Герцогиня, однако, нашла опытных адвокатов, дело затянулось. Процесс длился... тридцать лет. 59-летний герцог все-таки выиграл разбирательство, да вот только к этому времени вопрос о супружеской неверности был абсолютно неактуален.

Почему люди разводятся?

Вернемся все-таки к современности и от анекдотических причин развода перейдем к наиболее распространенным. А таковых, с точки зрения специалистов, существует всего-навсего шесть. Или — целых шесть, это уже зависит от точки зрения на прочность современных браков.

Сказать, по какой причине люди разводятся чаще всего, какая стоит на втором месте, какая на третьем — довольно затруднительно. Глубинных исследований в этой области проводится крайне мало. А социологические опросы фиксируют лишь так называемые мотивировки, которые не всегда и не обязательно отражают реальную кар-

тину. За банальным "не сошлись характерами" может скрываться что угодно — и измены жены, и побои мужа.

Причина первая. Поспешное, необдуманное вступление в брак или брак "по залету". Первой эту причину можно назвать, в основном, потому, что она лежит в основе едва ли не половины последующих разводов. С другой стороны, необходимость вступить в брак, чтобы узаконить появление на свет ребенка — самое последнее дело, тем более, что давным-давно доказано: дети современные браки не скрепляют. Пожалуй, подобная экзотика свойственна только России, которая, как всегда, идет собственным путем: в развитых странах "залететь" считается уже такой же дикостью, как лечить зуб наговорами, а в развивающихся странах добрачные связи, мягко говоря, не поощряются. Но для России подобная ситуация типична до банальности: женщина беременна, и мужчина, "как честный человек", женится.

Среди ранних браков — не секрет, что именно на них приходится максимальное число разводов, — много случайных. Кто-то женится (выходит замуж), просто "чтобы попробовать", чтобы пожить самостоятельно, уйти от родителей. Кто-то путает первые чувственные впечатления с большим и вечным чувством. Кто-то просто не хочет отставать от уже "остепенившихся" друзей и друзей. Случается, конечно, что такие союзы действительно оказываются счастливыми и длятся всю жизнь. Но это — лишь исключение, которое подтверждает старую, мудрую при-

сказку: "Жениться на скорую руку — на долгую муку". Сейчас, правда, не долго мучаются — быстро разводятся, но ведь от этого вряд ли кому-то становится легче и проще жить.

Вообще в юном возрасте трудно распознать подходящего партнера — не хватает жизненного опыта. К тому же не вполне ясно, что будет представлять из себя в дальнейшем каждый из супругов: расписались после школы, потом — он поступил в институт, она — нет, он — хирург, она продавец в булочной. У них мало общего, особенно если нет детей. Но даже если есть...

Конечно, появление ребенка задерживает неизбежный развод. Но на самом деле многие семьи продолжают существовать или распадаются в очень тесной связи с возрастом детей. Не случайно "критическими сроками" считаются 3 года, 7 лет, 15 лет. Это ведь не вехи взаимного узнавания, а этапы взросления детей.

В первые годы жизни малыша мать полностью поглощена хлопотами о нем: кормит, укладывает спать, успокаивает, меняет памперсы... К трем годам чадо начинает проявлять первые признаки автономии, он уже сам ходит, сам ест, способен словесно выражать свои мысли. И вот тут женщина осознает реальное состояние своей семьи. И... возникает первый всплеск разводов, происходящих сплошь и рядом по женской инициативе и вызванных нехитрой мыслью: "Помощи от мужа никакой, алименты и так буду получать, а пока еще молода, нужно заново устраивать свою жизнь". Случается — устраивают.

Второй всплеск разводов — семь лет совместной жизни. То есть ребенок идет в школу, становится более или менее самостоятельным, часть времени проводит вне дома, не так нуждается в ежeminутной материнской опеке. Здесь, кстати, инициатива развода делится примерно поровну: обычно кто-то из супругов "осознает", что "совершил трагическую ошибку", что с "этой женщиной" ("этим мужчиной") уже давно ничто не связывает, кроме общей жилплощади, а еще не поздно поискать кого-то более подходящего. Именно в это время некоторые женщины рожают второго ребенка, чтобы "скрепить семью". Случается — действует, семья сохраняется.

А вот "третья волна" разводов не имеет четких временных границ. Как только дети покидают отчий дом, так родители, точно спохватившись, начинают "наверстывать упущенное". Ни двадцать, ни двадцать пять, ни тридцать лет совместной жизни никого ни от чего не останавливают, только... Только на этом этапе инициаторами разводов в подавляющем большинстве случаев становятся мужчины.

Почему? Да потому, что теперь все козыри (если они есть, конечно) сосредоточены в их руках. Ведь изначальная "расстановка сил" в браках "до тридцати лет" обычно складывается отнюдь не в пользу мужчины. У него еще нет ни прочного социального статуса, ни материального достатка, да и жизненного опыта, не говоря уже о житейской сметке, меньше, чем у женщины, которая к тому же молода, привлекательна и нравится не

только мужу, но и другим. В такой ситуации у женщины всегда есть соблазн подавлять мужчину, манипулировать им, если что не так — грозить разводом и даже осуществлять свои угрозы. Особенно склонны к этому женщины, выросшие в неполной семье. Для них развод — это нормальный, простой и надежный способ разрешения семейных проблем, а вовсе не конец света.

С возрастом ситуация меняется, особенно если мужчина сумел многого добиться в жизни. То есть успел сделать карьеру, заработать и статус, и деньги. А поскольку практически все общественное мнение настойчиво внушает, что главная привлекательность женщины заключается в ее молодости, то после тридцати лет большинство женщин фактически смиряется с тем супружеским союзом, в котором находится, и даже начинает закрывать глаза на некоторые "шалости" супруга. "Седина в бороду...", ну, и так далее. А мужчины, наоборот, стремятся продлить собственную молодость и делают это, как правило, самым незамысловатым способом: выбирают в качестве партнерш все более и более юные создания. Исключений из этого правила практически не бывает, причем попытки некоторых женщин пойти тем же "мужским путем" вызывают в лучшем случае презрительное любопытство: сколько, интересно, ей это стоило? Даже на Западе, который нам, ясное дело, не уназ, подобные дамские штучки не приветствуются, будь ты хоть Элизабет Тейлор и Джейн Фонда вместе взятые. Есть все-таки, оказывается, сугу-

бо интернациональные "общечеловеческие ценности".

К которым, между прочим, можно отнести и вторую причину разводов — пристрастие к горячительным напиткам, уверенно лидирующую во всех странах. Из-за этой "слабости" разваливается 60% браков и накаляется до предела атмосфера в половине каним-то чудом сохранившихся. При этом, кстати, пол особой роли уже не играет: женщины уверенно догоняют мужчин в пристрастии к бутылочке. Если четверть века тому назад алкоголем баловалась каждая десятая замужняя дама, то сейчас — каждая пятая. Что же касается мужчин, то в различной степени алкогольной зависимости пребывает каждый третий.

В прошлом году 31% подававших на развод женщин и 23% мужчин указали в качестве причины именно пьянство одного из супругов. Статистика на самом деле ужасающая, потому что никогда еще в нашей стране такого не было. Пьющая женщина была большей редкостью, чем старая дева, а и таких насчитывалось не слишком много. Так что никакие замечательные программы стимулирования рождаемости и укрепления браков не помогут, пока у большинства трудоспособного населения в голове только один вопрос: "Кто пойдет за пивом?"

В большинстве случаев сейчас люди женятся по любви. Но уже через год-полтора любовь-страсть иссякает. Она исчезает вовсе или же перерастает в любовь-привязанность, любовь-дружбу. Последнее происходит с тем большей вероятностью, чем

больше у людей общего. Говорят, сходятся противоположности. На деле же больше шансов сохранить брак у людей схожих, близких по характеру, по интеллекту, по роду деятельности, со схожей системой ценностей, одного социального круга. Но тогда почему же так непрочно "актерские" браки? Казалось бы, общая профессия, общие интересы, общее дело, иногда даже общая сцена, то есть один и тот же театр. Но...

Эту супружескую пару считали самой красивой семьей Советского Союза. Оба — и Ирина Алферова, и Александр Абдулов — считались секс-символами того времени, хотя тогда таких титулов никто, естественно, не присваивал. В 1976 году Ирина пришла в "Ленком", где уже год играл Александр (его взяли в труппу на четвертом курсе ГИТИСа). Абдулов и Алферова влюбились друг в друга с первого взгляда. У них начался бурный роман. И некоторое время спустя, на гастролях в Ереване, он сделал ей предложение. Правда, ответ Алферова дала не сразу. "Если пронесешь меня на руках через весь парк..." Абдулов пронес.

В начале 90-х оба супруга стали участниками громких скандалов. Абдулов — фигурировал как соблазненный Дарьей Асламовой мужчиной (в одной из столичных газет был опубликован отрывок из ее книги, где подробнейшим образом рассказывалось о соблазнении Абдулова и Хасбулатова). В это же время пошли усиленные слухи о романе Алферовой и Александра Серова, с которым она снялась в клипе. Вскоре в одном интервью по

этому поводу Ирина призналась, что развелась со своим мужем. "Я всегда рассчитывала только на себя. Всего, чего я добилась в жизни, я добилась сама. Муж мне никогда не помогал".

Тут причиной развода скорее всего стала супружеская неверность, та самая, которая занимает третье место в этом своеобразном хит-параде. Хотя это только считается, что люди разводятся из-за измены. На самом деле, сама измена не причина, а следствие более глубоких причин. Если в супружестве все хорошо, то измена не может повернуть вспять течение этой реки. Если же присутствуют скука, давние претензии, недостаток доверия, утрата сексуального влечения, тогда, действительно, измена может стать непосредственной причиной развода. Самое забавное, пожалуй, заключается в том, что мужчины чрезвычайно редко подаются на развод из-за измены жены: предпочитают разбираться собственными силами. По-видимому, проще жить с изменщицей, чем признаться, что тебе кого-то предпочли.

Хотя брак, как это ни парадоксально звучит, иногда спасает измена, оставшаяся тайной, причем "налево" может ходить любой из супругов. Во-первых, не пойман — не вор, а во-вторых, можно украсить и разнообразить свою жизнь, ничего в ней радикально не меняя. Ну, нет в семье сексуальной гармонии — и не надо, зато все остальное вполне устраивает, все "как у людей": квартира, дача, машина, налаженный быт. А лучшее, как известно, враг хорошего, так что

незачем одну супругу (супруга) менять на другую (другого), еще неизвестно, как там жизнь сложится. Чего глаз не видит, о том сердце не болит.

Нужно учитывать, что часто за причину развода выдается то, что на самом деле является поводом. Измена — почти всегда драма, трагедия, безусловный повод для развода, но... не его причина. Бесчисленное число супружеских пар отнюдь не соблюдают верность, причем иногда даже не скрывают этот прискорбный факт друг от друга, но — живут в мире и согласии, пока не появляется подлинной причины для развода.

Отсутствие детей — безусловно, серьезная проблема, но многие пары живут и без них. И живут счастливо, потому что довольны друг другом, потому что их связывают дружеские отношения, общие интересы, общее дело... К тому же претензии "я хочу наследника, а у нас его все нет и нет" обычно предъявляет мужчина, хотя для него-то как раз ребенок не является чем-то биологически необходимым. Просто нашелся повод, удобный предлог для разрыва опостылевших брачных уз, точнее, нашлась новая пассия. Новая любовь, как правило, разрушает только тот брак, который и так держался на волоске.

Недостатки, вредные привычки, пороки... И о них начинают говорить как о причине развода тогда, когда вопрос уже, собственно, решен и нужен только... правильно, повод. Говорят, любят не за что-то, а вопреки. Было бы обоюдное желание сохранить брак — и можно попробо-

вать справиться даже с серьезными проблемами. Что уж говорить о мелких недостатках — когда любишь, они кажутся "милой изюминкой". А вот когда не любишь — раздражают. Парадоксально, но факт: самые прочные браки — это те, в которых муж злоупотребляет спиртным. У психиатров есть даже неофициальный термин "жена алкоголика". В излечении любимого мужа от страшного порока оказывается весь смысл жизни, все так или иначе вертится вокруг ненаглядного пьяницы. И уже совсем интересно то, что если алкоголик вдруг излечивается, то первым делом... уходит от жены. А она... находит нового "несчастненького" и снова вкладывает в него всю душу.

Но если говорить не о болезнях или пагубных пристрастиях, а о недостатках или странных привычках, то поговорка "стерпится — слюбится" тут обычно не работает. Наоборот: чем дольше люди живут друг с другом, тем более они чувствительны к недостаткам партнера. Начинает бесшечно раздражать практически все: манера забрызгивать зеркало в ванной, причесываться в кухне, переключать без надобности каналы телевизора, читать перед сном в постели или вообще ничего не читать. И вот эта нетерпимость, между прочим, является четвертой причиной большинства разводов.

Точнее, не нетерпимость, а обычное бытовое хамство, то есть неумение выходить из конфликтных ситуаций цивилизованными способами. Официально от этого распадается до 5% брачных союзов (присноизвестное "не

сошлись характерами"). Но, положив руку на сердце, можно сказать, что семей, где все взаимно уважают друг друга, так мало, что их можно пересчитать по пальцам, не прибегая ни к какой статистике и не проводя никаких социологических исследований. Поскольку хамство вообще — увы и ах! — является отличительным признаком нашего общества, то глупо было бы ожидать, что, хая направо и налево вне родного очага, люди станут щеголять безупречными манерами и исключительной тактичностью в самом очаге. Так не бывает.

И хотя четвертая причина, как кажется на первый взгляд, самая несерьезная, именно она лежит в основе подавляющего большинства разводов. Именно хамство, а никакая не сексуальная несовместимость или несходство характеров. Можно прочесть от корки до корки все пособия по правильному ведению интимной жизни, совершать чудеса в постели, но... Но всю жизнь в постели провести невозможно, из нее приходится вставать. И вот тут-то все и начинается, точнее, заканчивается. Страстные, изысканные любовники почти мгновенно превращаются в хамов обыкновенных, которым глубоко и решительно наплевать абсолютно на все, кроме собственной драгоценной персоны. Далено за примером ходить не нужно: в нашумевшем телевизионном шоу несколько молодых людей изо дня в день и из ночи в ночь демонстрировали многомиллионной аудитории это самое хамство по отношению друг к другу. А эти молодые люди не с

Луны свалились и не в пробирке выращены, они наиболее типичные представители своего поколения.

Между прочим, раз уж речь зашла о поколениях, то здесь следует иснать пятую причину разводов. Это — несовместимость представителей разных поколений, точнее, родителей одного из супругов, с которыми приходится жить под одной крышей. Примерно четверть брачных союзов дает трещину именно из-за этого, а подавляющее большинство остальных страдает от бесцеремонного вторжения в их жизнь старшего поколения. На Западе эту проблему как-то решили: бабушки и дедушки живут там отдельно от детей и внуков. На Востоке и решать нечего: почитание старших там так же естественно, как отсутствие у женщины права голоса. Мы же, по обыкновению, выбрали "золотую середину".

Собственно говоря, мы ее не выбирали, это она нас "выбрала". Нигде в мире и никогда в истории не было такой проблемы с жильем, которую исхитрились создать в процессе строительства "светлого будущего". Квартирный вопрос испортил не только москвичей, он стал непреходящим кошмаром для подавляющего большинства россиян, поскольку цены на жилье абсолютно несопоставимы с уровнем доходов. А уже давно известно, что с милым рай и в шалаше, только если милый — атташе.

Но дело ведь не только в жилье, дело опять же в нашем неумении ладить с окружающими, в неспособности миром уладить самый пустяковый конфликт. За-

висит это еще от одного фактора: распределения обязанностей в семье. Ибо перекос в этой области, точнее, неравномерность распределения работы в домашнем хозяйстве является шестой причиной современных разводов. 10% браков распадаются в конце концов именно из-за этого, а трещат по всем швам чуть ли не 90% сохраняющихся. Сразу оговорюсь: на селе, где мужчинам хватает традиционных занятий, такой проблемы просто не возникает, потому что каждый занят своим делом.

Социологи, исследовавшие проблему разводов, не без удовольствия отмечают, что на отсутствие помощи супруга в домашних делах как причину конфликтов и разводов в исследовании указали всего 9% женщин. Можно предположить, что большинство мужей помогают вести домашнее хозяйство, поскольку одновременно выяснилось, что 40% мужчин делают по дому все, что потребует жена. Не обратили специалисты внимание только на одно: на глагол "потребует". К стати, совершенно напрасно.

Ну, а теперь несколько слов о браке по расчету. Прежде всего его не стоит путать с браками по традициям, которые заключались между нашими прадедушками и прабабушками и которые для кого-то сейчас являются утешением: вот, дескать, тогда все решала не любовь, а расчет, а жили дружно, разводов не было... Да, это был расчет, но не столько самих молодоженов, сколько их родственников. При этом рассчитывали не только и не столько материальный аспект — невеста-бесприданница теоретически во-

обще не имела шансов на замужество, — сколько аспект социальный. Дворянин, женившийся на купчихе из-за денег, вызывал в обществе презрение, равно как и купец, взявший за себя "благородную", "из чести". Крестьянам же, составлявшим, напомним, более 90% населения дореволюционной России, о любви думать было некогда, семьи создавали совсем по другим соображениям.

Насколько же будет прочен современный брак, заключенный по расчету, судить трудно. Все зависит от того, что подразумевает этот расчет. Одно дело — просто штамп в паспорте, проживание на одной жилплощади, но без интимных отношений. Решили люди, что вдвоем им будет легче прожить, чем поодиночке, вот и объединили свои жизни. Такой брак может длиться сколько угодно долго. Но совсем другое дело — корыстный расчет, да еще прикрытый имитацией чувств. Рано или поздно обман раскрывается и брак разваливается, потому что времена изменились, получить развод стало достаточно просто. Есть, правда, исключительно гибкие, адаптивные личности, которые легко в любой ситуации приспособиваются и способны правдоподобно притворяться всю жизнь, но таких очень немного. Браки по такому расчету ничем не отличаются от всех остальных. В смысле статистики разводов, конечно.

С чего начинается развод?

Попробуем обозначить основные стадии семейных конфликтов, так или иначе ведущих к

разводу. Первый этап — соперничество, борьба за власть в семье, выгодное распределение прав и обязанностей. Второй — видимость сотрудничества. Получив распределение ролей, не совпадающее с желанным, но поняв, что ничего лучшего "не светит", супруги начинают "играть по правилам", т.е. держаться в определенных рамках достаточно формального общения по принципу "не тронь меня, а то хуже будет".

Разница в поведении мужа и жены на этой стадии отчетливо прослеживается в отношении к гипотетическому разводу. Для женщины чрезвычайно трудно уйти, зато она с легкостью необыкновенной манипулирует словами: уйду, повешусь, найду другого. Для мужчины же само действие, в принципе, особого труда не составляет, но мучительно трудно разговаривать на эту тему. Даже не трудно, а... страшно. Они боятся непредсказуемой реакции, боятся безнадежно увязнуть в споре, где заведомо обречены на поражение. Но иногда количество переходит в качество — и муж уходит. Молча, по-английски, что само по себе — тяжелейшее оскорбление для женщины, лишейной возможности власть повыяснять отношения.

Что же получилось?

Смешного тут, конечно, мало, но почти треть разведенных... сожалеет о своем поступке. Более того, почти 80% разведенных мужчин теоретически согласны снова вступить... в тот же самый брак. Женщины, правда, такой

перспективой соблазняются значительно реже, но и они далеко не всегда в восторге от обретенной свободы:

"...Большой радости от того, что избавилась от мужа, не вижу. Одной жить тоже тяжело. Иной раз думаю, что не все сделала, чтобы не допустить конфликта, и конечно же, ничего не сделала, чтобы спасти семью. За это наказана одиночеством".

"...После развода было немало мужчин, с которыми хотела вновь создать семью. Но нынче мужчины осторожны, чуть начнешь налагать на них простейшие обязанности — сразу уходят. Да, если бы раньше имела такой вот опыт общения с мужчинами, никогда не затеяла бы дела о разводе. Мой-то был во всех отношениях лучше".

С сожалением вспоминают неудавшуюся жизнь и мужчины:

"Не потому пил, что пристрастился к зелью, а потому, что растерялся, не знал, как себя вести в подобной ситуации. Дети, пеленки, стирка, приготовление пищи — все это казалось немужским делом. Вот и освободился от брана, а оказалось, освободился от себя, от любви, от всего, что привязывает человека к жизни. Считаю, что все разводы имеют одну общую причину — неподготовленность нашу к семейной жизни".

Вторично вступают в брак лишь 27% женщин, из них только половина бывают счастливы. Получается, что находят свое новое счастье только 15% "разведенки". Участь остальных — одиночество (3/4 разведенных), или снова неудачный брак.

Итак, в большинстве случаев инициатором развода выступает женщина. Но инициатива, как всегда, наказуема. Проходит время, и она начинает понимать, как сложно вступить в новый брак. Особенно при наличии ребенка — ведь вероятность выйти замуж в этом случае в 3 раза меньше, чем без него. А еще, по расчетам специалистов, свыше трети разведенных женщин не могли устроить свою жизнь просто потому, что... женихов нужного возраста для них не было. Фактически их шансы еще ниже, так как не один возраст играет роль в выборе спутника жизни. Ведь в числе потенциальных "женихов" много сильно пьющих, находящихся в заключении (в числе 1 миллиона заключенных в России подавляющее большинство — мужчины). И совсем уже несправедливо то, что как бы плох ни казался отвергнутый муж, новая жена для него найдется гораздо скорее, чем новый муж для той, что затеяла развод.

Почему люди разводятся и почему они боятся это делать

Из-за чего уходит мужчина? Из-за того, что обожаемая некогда женщина осточертела до потери сознания, оттого, что дура, умная, неряха, чистоплюйная, хабалка, безответная овца, которая снесет что угодно. Короче, нет такой женщины, от которой не мог бы уйти мужчина. Впрочем, можно сказать и наоборот. Нет такого мужчины, от которого не уходила бы женщина. Разница в одном: женщина никогда не уйдет от мужа, пусть нелюбимого и

плохонького, "в никуда" — разве уж он будет последняя сволочь, алкоголик и бандит. Мужчина легче на подъем, он не боится общественного мнения, ему не страшно остаться одному — для мужика одиночество уже начало новой жизни, он способен сбежать от женщины, которая ему просто надоела.

Тем не менее супруги всегда боятся развода. Всегда страшно сказать: "Все, дорогая (дорогой), дальше я хочу жить уже без тебя". Не менее страшно то, что за этими словами последует. Отвратительна процедура развода в суде как прилюдное выяснение отношений. Ужасна неизвестность.

"Борис, не смей меня!"

Именно в такую историю влип трехкратный победитель Уимблдона 33-летний теннисист Борис Беккер, чей развод с темнокожей моделью Барбарой стал мировой сенсацией. Еще бы, ведь они считались идеальной парой. За семь лет у них родились два сына. Состояние семьи (106 млн. долл.), сколоченное в основном Борисом, позволяло супруге тратить в неделю больше, чем зарабатывал канцлер Германии за месяц. И вот вся мировая общественность, в азарте потирая руки, гадает: сколько же миллионов отступных получит бывшая фрау Беккер?

А все из-за того, что Борис изменил ей с ее лучшей подругой. Барбара — гражданка США. По законам штата Флорида (у Беккеров там дом) при разводе ей полагается 50% всего состояния. Однако свадьба была в Германии, и по брачному контракту,

составленному там же, Барбаре отписывалось всего 1,6 млн. "Не смей меня, Борис! — сказала Барбара. — Германия не в Техасе. Если хочешь воспитывать детей, давай договариваться". По последним данным, она успокоилась на 14 миллионах.

"Солдат Джейн" не ужилась с "Последним бойскаутом"

Брюс Уиллис развелся с Деми Мур в 1998 г. С тех пор он никак не может прийти в себя. Поговаривают даже, что беспорядное пьянство и чрезмерное увлечение наркотиками скоро пустят его по миру. Это, кстати, и была основная причина, по которой Деми ушла от него, забрав с собой троих детей. Брюс вышел из пьяного пике только через неделю. "А где жена, дети?" — спросил он у охранника. На что тот, недолго думая, представил его туманному взгляду документы о разводе. "А, это она написала мне письмо! Очень хорошо!" — не понимая, какими бумагами трясут у него перед носом, радовался Брюс. Все стало понятно через два дня, когда "мачо" всех времен и народов без уговоров подписывал бумаги на раздел имущества. Каждому досталось около 80 миллионов долларов, плюс какую-то сумму Брюс должен оставить своим детям в наследство.

Мик Джаггер был готов нанять киллеров.

На этот шаг его чуть было не толкнула бывшая жена Джерри Холл. Ей было бы смешно узнать, что убить собирались именно ее. А что, собственно, она такого сделала? Ничего. Просто при разводе с

Миком заявила, что претендует на 40 миллионов долларов отступных. За такие деньги жадный Джаггер развалил бы свою группу "Роллинг Стоунз", не то что согласился бы на убийство собственной жены.

В суде Джаггер заявил, что их брак был зарегистрирован на острове Бали. Дескать, индуистская романтическая церемония не имеет никакой юридической силы. Все ведь прошло неофициально, под пальмами... Странно только, что всех четверых общих детей Мик Джаггер зарегистрировал как "рожденных в браке". Тут-то его и поймали. Пришлось раскошелиться.

Семейный "Титаник" Джеймса Кэмерона утонул.

Прожив всего полтора года со своей женой Линдой Хэмилтон, Джеймс Кэмерон решил развестись. Причина проста: во время съемок "Титаника" он, вместо того, чтобы смотреть за тем, как бы Ди Каприо не утонул по-настоящему, приударил за юной актрисой. В результате Линда Хэмилтон отсудила у него 70 миллионов долларов плюс право на воспитание 5-летней дочери Джозефины.

Мячики Андре Агасси прыгали слишком "дешево".

Именно поэтому два года назад распалась пара Андре Агасси и Брук Шилдс. Видите ли, Брук стало не хватать тех трех миллионов долларов в год, которые в поте лица на теннисных кортах зарабатывал Андре. Разве можно жить с таким "не мужчиной"? — решила актриса и подала на развод. Брук почти до нитки обобрала Агасси, которому порой не хвата-

ло денег, чтобы заправить топливом собственный самолет. В итоге первая ракетка мира потерял почти все свое состояние.

"А с тобой, Джексон, я еще посчитаюсь". Подпись — Элвис Пресли

Майкл Джексон оказался очень дальновидным супругом. Взяв в жены не ного-нибудь, а саму дочь короля рок-н-ролла Лизу Пресли, он еще умудрился оформить брак в Доминиканской Республике, которая считается настоящим раем для желающих быстро развестись. Что он и сделал ровно через год. Адвокаты уверяют, что вся процедура развода занимает не больше 15 минут. Естественно, ни о какой тяжбе за имущество не может быть и речи. Можно даже в суде не появляться, достаточно присутствия там адвоката. Таким образом, Джексон ничего не потерял, зато сделал себе отличную рекламу. А 200 миллионов долларов — танова была бы сумма отступных, разведись они в США, — не перекочевали в карман семейства Пресли. Так что, Майкл, не старайся жить долго, все равно на том свете старина Элвис тебя обязательно найдет. За каждую слезинку дочери ответишь!

Развод принца Чарльза может стоить ему короны.

Леди Ди погибла. Но перед смертью она успела развестись с принцем Чарльзом, оставив ему сыновей. На таком решении настояла королева-мать. Однако скандал, который предшествовал разводу, солидно подмочил репутацию принца. Если бы он ее любил, она бы не погибла, — та-

ково мнение большинства англичан. В финансовом отношении королевская семья не потеряла ничего, но очень много потерял сам принц, тешивший себя мечтами о королевском троне. Не тут-то было. Быть монархом скорее всего придется старшему сыну Уильяму. При живом отце.

Где можно быстро развестись? На Гаити и в Доминиканской Республике. Законодательство этих стран позволяет судьям расторгать брак вне зависимости от места его заключения и гражданства супругов. В Доминиканской Республике процесс занимает всего 15 минут, на Гаити чуть дольше — 24 часа. Цены на услуги колеблются от 1500 до 10 000 долларов. У "нарибских разводов" есть один недостаток: их не везде признают. Исключение — Россия. Мы признаем все разводы, лишь бы они были совершены в соответствии с местным законодательством.

Где вообще невозможен развод? В Чили, на Мальте и на Филиппинах. В этих странах действует Семейный кодекс, принятый еще в XIX в. В Чили, например, развестись можно только одним способом — солгать под присягой. Для этого нужно всего лишь неверно заполнить брачное свидетельство, а потом в суде об этом заявить. Таким образом мысль о разводе должна зреть еще до свадьбы.

Самый короткий брак в истории России Это случилось в Нижнем Новгороде. Свадебный кортеж подрулил к ступенькам лестницы, ведущей к Вечному огню. Новоиспеченные муж и жена, горя желанием возложить цветы, начали было подниматься. И надо же такому случиться: супруг случайно наступил на подол свадебного платья. Молодая, не растерявшись, от всей души отвесила любимому звонкую пощечину. Любимый стерпел.

Поднявшись к Вечному огню, жена наклонилась, чтобы положить цветы, то же самое сделал бывший без букета любимый. Лепестки роз только легли на гранит, как парень достал из кармана свидетельство о браке и бросил его в огонь прямо на глазах у потерявшей дар речи жены. "Семейная пара" невозмутимо сошла вниз, каждый сел в свою машину, и те разъехались в разные стороны. Брак длился ровно 25 минут.

Кстати, об Интернете. По данным статистики, четверть разводов в США происходит из-за того, что "вторая половина предпочитает Сеть радостям семейной жизни".

И последнее — разводиться, увы, никогда не поздно. В 1984-м году американцы Саймон и Ида Стерн решили расстаться. Ей был тогда 91 год, а ему — 97... ■



«Я еще полечу в КОСМОС»

ВЛАДИМИР СТЕКЛОВ:

Двадцать с лишним лет назад театральная Москва узнала новое имя — Владимир Стеклов. Провинциальный, тогда мало кому известный артист быстро стал популярным. А уже позднее, когда готовился к полету в космос наравне с профессионалами-кос-

монавтами, его слава, едва не в самом прямом смысле, достигла космических высот.

— *Владимир Александрович, Москва, как известно, слезам не верит, это жесткий город. А вас, по-моему, даже полюбила. Как вам это удалось?*

— Да уж, здесь необходимо иметь острые лонги, иначе быстро раздавят. Москвичи — снобы, и отношение к провинциалам соответственное — дальше Садового кольца словно и жизни нет.

Я приехал в столицу взрослым человеком, уже перевалило за тридцать. В 1981 году Петропавловский драматический театр, где я служил, гастролировал в Москве. Меня увидел главный режиссер Театра имени Станиславского Александр Георгиевич Товстоногов и пригласил перейти к нему. И я ему очень благодарен.

— *Значит, вы — дальневосточник?*

— Нет. Родился в Караганде. Когда мне было всего полтора года, родители переехали в Астрахань, и я считаю этот город своей малой родиной. Там прошло мое детство, юность. Самые чистые воспоминания связаны с Астраханью. Рядом всегда находились хорошие люди, друзья.

Отца не помню, меня растили мама с бабушкой. Они были трудолюбивые люди, и меня воспитывали в любви к труду. Наверное, от них я такой работоспособный. Моя мама к творческой профессии не имела отношения, работала бухгалтером, но у нее был великолепный голос, пела потрясающе. К сожалению, у меня нет хорошего голоса, но зато я унаследовал ее артистизм. Ви-

димо, поэтому всегда любил театр, хотя об актерстве не думал, больше спортом интересовался. А в 9-м классе один приятель позвал меня в театральную студию. Я пришел просто так, на красивых девочек посмотреть. А когда попробовал играть, тогда артистическое во мне и проявилось, как будто ждало момента. С тех пор театр для меня — "одна, но пламенная страсть".

Потом окончил Астраханское театральное училище. Но сразу же призвали в армию, и я как актер потерял два года. А после возвращения не оказалось вакансий, и пришлось поработать реквизитором почти год, его тоже считаю потерянным. Вскоре перебрался в городок Кинешму, где смог играть все подряд. Только после этого оказался на Камчатке, в Петропавловске. Опыт большой, ничто не прошло даром, хотя в Москве пришлось начинать с чистого листа.

— *А сейчас в каком вы театре служите?*

— Когда меня спрашивают, где я работаю, обычно перечисляю четыре театра: "Сатирикон", театр Моссовета, "Школа современной пьесы", "Театр Антона Чехова". Антрепризы, конечно, не считаются. Просто людей интересует, к какому театру я приписан, должна же у человека где-то лежать трудовая книжка. Но, уверяю вас, если она нигде не лежит, можно чувствовать себя абсолютно свободным. И уж поверьте, это такое счастье.

— *Но вы работали в штате в Ленкоме у Марка Захарова...*

— Тогда Марк Захаров задумал поставить пьесу "Ромул Великий" и пригласил меня в нем

играть. Потом он решил вводить меня на роль Тевье-молочника в "Поминальной молитве".

— Вы заменили Евгения Павловича Леонова?

— Со мной решили выпускать спектакль, когда Евгений Павлович заболел. Но не повезло: за несколько дней до премьеры у меня сильно разболелась нога, пришлось срочно делать операцию. Это случилось весной, и премьеру перенесли на осень. За это время Леонов поправился, и мы играли так: первые два спектакля он, а я — третий. Потом мы с ним играли "Поминальную молитву" по очереди. Тогда Марк Захаров поверил в меня как исполнителя, я очень благодарен ему, что он доверил мне выступать не просто рядом, а на равных с таким великим артистом, как Евгений Павлович Леонов.

— Почему же вы ушли из театра? По силе таланта вы вписались в эту мощную труппу.

— Не все так просто. Я думаю, любой артист, оказавшись в этом театре, будет чувствовать себя неуютно. Дело в том, что актерское ядро в Ленноме, самые именитые его артисты, — довольно сплоченная команда. Они и себе никого даже близко не подпускают. Ходишь, играешь с ними рядом, а все равно чувствуешь себя чужим. Но я хорошо понимал ситуацию и не стремился вращаться в их среду. Я вообще стараюсь всегда трезво оценивать сложившуюся обстановку и говорю себе: если не зовут сами, значит и мне не надо.

Одновременно с работой в Ленноме я играл в "Школе современной пьесы" у Леонида Хейфеца



Вот что такое — искусство
и творчество. В творчестве
нет границ и ограничений.
Творчество — это искусство
жизни. Творчество — это
искусство жить. Творчество
— это искусство любить.
Творчество — это искусство
быть счастливым. Творчество
— это искусство быть собой.
Творчество — это искусство
быть человеком.



в двух спектаклях — "Антигона в Нью-Йорке" и "Бегущие странники", а также у режиссера Валерия Сарнисова в "Братьях Карамазовых". Руководство театра и кое-что из труппы это раздражало. Я их прекрасно понимал, но и мне не нравилось, что должен отпрашиваться и согласовывать свой каждый шаг. Еще раз скажу, что мне нужна была свобода и, тем более, не хотелось подводить руководство Леннома. Так что все совпало — я ушел.

— Сегодня вы играете сразу в нескольких театрах, много снимаетесь в кино и телесериалах, не говоря уж об антрепризах. Не всеядность ли это, желание все время быть на виду?

— Не хочется выглядеть несомненным, но что же делать, если я действительно востребован. Я сам никуда не стучусь, никого не прошу. Мне предлагают, а я либо соглашаюсь, либо нет. Но если получаю интересное предложение, обо всем забываю, готов мчаться куда угодно. Единственно, боюсь, чтобы эта страсть не обернулась суетой.

— Как же вам удается справляться с таким объемом работы?

— Жизнь летит, как в сверхзвуковом лайнере, годы уходят, силы тоже. Потому, наверное, стремлюсь успеть как можно больше сыграть на сцене. Еще так много ролей, о которых мечтал всю жизнь: дядя Ваня, Митя Карамазов, Ананий Ананиевич. Мне все интересно, я счастлив, когда перевоплощаюсь в других людей. Безумно люблю свою профессию. И грех отказываться, когда зовут играть такие режиссеры, как Михаил Козанов, Леонид Трушкин, Юрий Грымов.

— А еще, конечно, и материальная заинтересованность...

— Не без этого... Я бы покрыл душой, если б заявил, что работаю только из любви к искусству. У меня семья, дети, я для них опора. Хорошо знаю, что такое безденежье... Было время, когда еле сводил концы с концами. Очень боюсь повторения. Поэтому делаю все, чтобы мои дети не испытывали материального недостатка.

— У вас две дочки. Одна уже взрослая, сама мама.

— Да, от первого брака у меня дочь Грания. Она играет в театре "Сатирикон". Ее сын Данила — мой внук. Второй — Глафире — уже пять лет. Она похожа на маму. Жена Ольга по профессии стоматолог. Все мы дружим, очень любим друг друга, различия между детьми не делаем. Я вырос без отца и знаю, как важна для ребенка отцовская поддержка. Родные для меня важнее работы.

— Сколько ролей в кино вы сыграли? Какие запомнились особенно?

— Не считаю, поэтому не помню. А особенно люблю роль Василия Сталина в картине "Мой лучший друг — генерал Василий, сын Сталина". Еще нравилось играть Цыгана в "Чужая Белая и Рябой". Симпатичен поющий сапожник Капитан из "Му-му": это трагедия маленького человека.

— К сожалению, сейчас кинофильмы популярности не приносят, антера чаще узнают по телесериалам. Вам интересно в них сниматься?

— Нет, в сериалах несерьезно как-то все. Но работа в "Петербургских тайнах" оказалась

довольно интересной. Мой герой Назимир вроде бы мерзавец. Но хотелось, чтобы зрители поняли, что совершенное им зло — ради спасения любимой женщины. Постарался сыграть так, чтобы Назимир вызывал у зрителей жалость и сочувствие. Но не омерзение.

— Давайте поговорим о проекте "Нино в космосе". Вас и Ольгу Набо выделили из всех артистов. А лететь не пришлось...

— В картину Юрия Нары "Тавро Нассандры" я попал по результатам тестирования моих психофизических данных в Институте медико-биологических проблем. Около года мы с Ольгой ежедневно тренировались в Звездном городке наравне с космонавтами-профессионалами. Это был один из лучших периодов в моей жизни. От тренировок, особенно в состоянии невесомости, получил столько ярких впечатлений, удовольствия, восторга. Рядом со мной были замечательные инструкторы, наш экипаж: командир полковник Сергей Залетин и бортинженер Александр Калери. Оба — Герои России. Жаль, что в начале 2000 года наш полет не состоялся. Но я бываю в Звездном, вижу с космонавтами, мы продолжаем дружить. Надеюсь, что еще полечу. Фильма не вышло, зато богатейший опыт получил,

все полезно, все в копилку, и потом где-нибудь проявится.

— Ваши последние работы в театре?

— Продолжение чеховской "Чайки" — пьеса Бориса Анунина, тоже "Чайка". Играю в пьесе Евгения Гришновца "Город". Везде — потрясающие партнеры, у Михаила Козанова в спектакле "Играем Стриндберг-блюз", кроме артистов, заняты джазовые музыканты — знаменитый саксофонист Игорь Бутман и его квартет. Я очень люблю джаз и рад, что встретился с ними.

— Что бы хотелось еще сыграть?

— Много. Шенспира, Достоевского, Гоголя, Чехова. Я же всеядный.

— Отдыхать удается? Если да, то как?

— Люблю играть в футбол. Пока бегаешь, орешь, потом устанешь — "оттягиваешься" полностью. Я играю в команде Центрального спортивного клуба антеров — ЦСНА. Наши постоянные соперники — команда правительства Москвы. Часто играю против мэра, Юрия Михайловича Лужкова. А еще обожаю природу, когда можно посидеть у костра, погулять вдоль реки. Ну и конечно, побыть с женой и детьми. ■

Беседовала Алла ЛЮДЕН.

фото Ольги Чумаченко



Арбатский

Анастасия ЗАХАРОВА

Еще пару-тройку лет назад в магазинах, рассыпанных по узким арбатским переулкам, частенько можно было услышать старушечье перешептывание:

- Опять приходила...
- Ну, теперь жди покойника...
- Или пожара...
- Или повышения цен...

Пессимистические прогнозы всегда сбывались, но ничего удивительного в этом не было. Арбат — один из самых старых столичных районов не только по собственному возрасту, но и по возрасту большинства его жильцов, так что покойники здесь не являлись редкостью. Пожары вспыхивали не реже, чем в других местах Москвы, а уж о повышении цен и говорить не приходится: оно давным-давно стало неотъемлемой частью нашей изменившейся жизни. Но кто перед всеми этими неприятностями приходил? К кому? Все это оставалось загадкой.

Мало-помалу, однако, удалось выяснить, что когда в одном из так называемых "доходных домов", построенном в конце прошлого-начале нынешнего века на углу двух переулков, появляется "некто" или "нечто", добра ждать не приходится. В самом лучшем случае задержат пенсию или прорвет канализацию. В худшем же...

Наконец явление обрело имя. Естественно, речь шла о привидении. Или о призраке — кому как больше нравится.

Конечно, ничего из ряда вон выходящего в этом не было. Любой уважающий себя старинный дом просто обязан иметь собственный призрак или привидение. Это, по мнению, например, англичан, придает респектабельность. Так-то оно так, но англичане разводятся и любовно культивируют призраков, как правило, в фамильных замках, где жилплощадь на душу живого населения много больше наших заветных двенадцати квадратных метров, не говоря уже о пяти метрах загадочной санитарной нормы. И, кроме того, у нас еще совсем недавно почти все сохранившиеся старинные дома были либо коммуналками, либо помещениями для всяческих общественных организаций, куда без крайней нужды не сунется даже привидение. Впрочем, может, и совалялись, но по ночам их некому было видеть и пугаться. В коммунальных же квартирах...

Во всяком случае, дому на углу двух арбатских переулков достался чрезвычайно беспокойный призрак, приносивший сплошные неприятности. Без всякого, естественно, намерения на респектабельность. Толком описать его долгое время никто не мог: одинокие старушки-старонилки лишь крестились и лепетали что-то о "белом-белом, вот те крест, прямо на меня прет и бормочет, жалобно так бормочет, а потом на-в-ак завоет, и из меня душа едва вон не вылетела!".

ПРИЗРАК

Более молодые обитатели коммуналки в существование призрака верили слабо, а собственные непонятные видения (бывало, бывало!) относили за счет низкого качества спиртных напитков и недостаточности закуски. Правда, совсем еще юная мамаша-лимитчица, которой ночами напролет не давал уснуть грудной ребенок, поделилась один раз с соседками, что в комнате возникло нечто белое, зыбкое и потусторонним голосом произнесло: "Дитя пожалей, душеньку безвинную..." Поделилась, как выяснилось, на свою же голову, потому что соседки единодушно отнесли слова призрака к самой молодой мамаше...

Правда, одна из наиболее дряхлых обительниц подъезда вспомнила, что в прежние времена призрак нередко приставал именно с этими словами и именно к молодым матерям, которых раньше в доме было куда больше. И еще припомнила, что с представителями сильного пола призрак, наоборот, в беседы не вступал, а раздражался отчаянными воплями и невнятными проклятиями, после чего быстро исчезал. Приятного во всем этом, разумеется, было мало.

Поэтому, когда пошла первая волна расселения коммуналки в центре города, старушки благоразумно помалкивали о призраке: хотя собственная отдельная квартира мало кого прельщала, доплата предлагалась солидная, и терять эти деньги из-за бесплотного, хотя и довольно беспокойного существа никому не хотелось. Но и молчание — этаякая "омерта помосковски" — не слишком помогло. Соседние дома один за другим принимали новых обитателей в квартиры, познавшие "европе-

монт", а угловой дом стоял как заколдованный. Ждановское начальство поговаривало о сгнивших перекрытиях и аварийном состоянии здания, но жильцы были твердо убеждены: никто не хочет селиться в доме с привидением. Потому квартиры и не расселяют.

Нанонец, лед тронулся. По дому пронесся слух, что некто за большие деньги купил право надстроить так называемый "мансардный этаж" и создать наверху шикарные двухэтажные апартаменты. Счастливицам завидовали: четыре семьи с последнего этажа получили вполне приличные квартиры в пределах Москвы, а не на выселках. Что не помешало оставшимся жильцам проинформировать нового хозяина помещения, когда тот явился осмотреть свои владения, о местной достопримечательности — детолюбивом призраке. Реакция хозяина была вполне адекватной: он посмотрел на информаторов-добровольцев тяжелым взглядом, pokrutil пальцем у виска, сплюнул на пол и сказал одно-единственное слово:

— Убирайтесь.

Слово, правда, было другое, но смысл от этого не изменился.

Полгода после этого дом дрожал от фундамента до крыши в ходе перестройки. Лифт, перегруженный стройматериалами, то и дело выходил из строя. С завидной регулярностью нарушались водоснабжение, отопление, телефонная связь и подача электроэнергии. Впрочем, ремонт есть ремонт, и жаловаться несчастным старожилкам было некуда. Оставалось только терпеть. Призраку, наверное, тоже было мутно, потому что во время ремонта его

появление ни разу не было отмечено.

Всеми когда-то приходит конец. Двухэтажные апартаменты наверху дома были отстроены, и хозяин прибыл в последний раз перед завозом мебели и семьи полюбоваться на результаты. Откуда-то стало известно, что с собой у него была и выпивка, и закуска, и что намеревался он "впрыснуть" окончание ремонта со своими двумя приятелями прямо в пустой квартире на газетке. Оттуда взялся этот диний слух — остается только догадываться. Истина же заключалась в том, что хозяин и еще два человека действительно проследовали в лифте наверх в один из вечеров после окончания ремонта. И какое-то время там пробыли. А затем скатились вниз по лестнице с неприличной поспешностью, приговаривая: "Чур меня, чур". Выглядели они сильно напуганными.

Больше никто хозяина апартаментов не видел, а через какое-то время прошел слух, что он якобы разорился и апартаменты продал буквально за бесценок одному из своих кредиторов. Так это было или нет, сказать трудно, но ни мебели, ни новых жильцов на последнем этаже старого дома так и не появилось.

Зато появился и стал уверенно распространяться слух о том, что весь дом уже куплен — и за немалые деньги — каким-то акционерным обществом. Оно, общество, якобы расселит всех жильцов и переоборудует дом под гостиницу-люкс. Действительно, квартиры начали потихонечку пустеть. А в ходе этого процесса по дому гулял скромный, неприметный человек, которого больше всего на свете

интересовал таинственный призрак. Отрывочными, смутными и вовсе бредовыми сведениями о нем он исписывал блоннот за блоннотом, откровенно пренебрегая такой новомодной штукой, как диктофон. Впоследствии выяснилось, что блонноты заполнялись не зря...

Почти два века назад на месте усадьбы, сгоревшей во время наполеоновского нашествия на Москву, был построен прелестный деревянный дом, оштукатуренный "под камень", с колоннами по фасаду. Построил дом дворянин среднего достатка, которому внезапно полученное наследство позволило выбраться из деревни в первопрестольную. Означенный дворянин с немалым семейством справил новоселье и через два года скончался. Вдова же его со всеми чадами и домочадцами поспешно уехала обратно в деревню, продав дом себе в убыток. Ходили глухие слухи о том, что в доме "нечисто", но слухи так слухами и остались.

Несколько раз дом переходил из рук в руки, но финал всегда был одним и тем же: внезапная смерть кого-то из мужской половины семейства и паническое бегство остальных. В конце концов дом купил наной-то купец для своей зазнобы. Зазноба сбежала, по слухам, с гусаром, дом купило страховое общество, снесло и на его месте возвело пятиэтажное доходное здание с шикарными квартирами. Только жильцы в этих квартирах долго не задерживались.

Конец этому безобразию положила революция, после которой каждый, получивший воделенные "метры", сидел на них тише тихого и к перемене жилплощади

не стремился. Да даже если бы и стремился...

Французы говорят: "Ищите женщину" и, как всегда, бывают правы. Незаметному, скромному человеку с блоннотами удалось-таки раскопать старинную легенду, которая, возможно, соответствует действительности и позволяет как-то объяснить таинственные события в "нехорошем доме". Легенда восходит к тем временам, когда на месте доходного дома находилась старинная дворянская усадьба, исчезнувшая в огне.

В усадьбе жили два барина — старый и молодой, отец и сын. Отец, как водится, отличался крутым нравом и желал, чтобы все вокруг трепетало перед его волей. Сын был помягче, хотя тоже не ангел. И вот этот самый сын совершил самый естественный на свете поступок — влюбился. На свою беду, в крепостную девку, да еще ту, на которую "положил глаз" его грозный батюшка. Тем не менее парочка наслаждалась в объятиях друг друга, а опасность быть застигнутыми и сурово наказанными придавала любви особую остроту.

Гром грянул внезапно: девушку призналась своему любовнику, что беременна, а батюшка приказал сыну жениться на девице из благородной семьи с хорошим приданым. Сын осмелился возразить — и был изгнан из отчего дома. Согрешившая же девушка бесследно исчезла. Когда спустя несколько месяцев сын вернулся за своей любовницей, ему поведали, что ветреная красавица сперва услаждала старого барина, а потом сбежала с кучером, прихватив некую сумму денег. Несчастный обманутый любовник проклял всех женщин вместе и каждую по

отдельности, повинулся перед батюшкой и женился на той, которую ему сватали. Только брак не был счастливым: молодая жена стала сохнуть и чахнуть и через год отдала Богу душу, разродившись мертвым ребенком.

Это так подействовало на старого барина, что тот лишился рассудка. А придя в себя перед смертью, повинулся сыну, что обогал его возлюбленную. Девушку сперва держали под строгой охраной в особой комнате, куда доступ имел только доверенный слуга, а потом, перед самыми родами, перевели в подвал. Дворне же сназали, что сбежала-де с кучером, да еще и барина обокрала...

На этом исповедь оборвалась — старый барин приказал долго жить. Молодой барин кинулся в подвал и в дальнем углу его обнаружил следы свежей кирпичной кладки. Когда стенку разломали, фанелы осветили полуистлевший труп с крохотным скелетиком на груди. Молодой барин тут же, на месте, скончался от разрыва сердца, а дворня в ужасе разбежалась из проклятого дома. Через несколько месяцев в Москву вступили войска Наполеона — и город запылал. Погибла и усадьба...

Таинственный призрак, по свидетельству очевидцев и несколькими сохранившимся письменным преданиям, представлял собой женщину, скорее всего, молодую, с младенцем на руках. Один или два раза в месяц глухой ночью она бродила по дому, проходя сновозь стены, и, если встречала мужчину, начинала стонать и проклинать его. К женщинам же, особенно с детьми, относилась более бережно и просила только "дитя пожа-

леть". Нерадивые матери напрасно испытывали угрызения совести: скорее всего, она имела в виду собственное дитя, погибшее некрещеным. Оба они, заживо замурованные, умерли от голода.

Неизвестно, поверили ли новые хозяева дома в эту историю. Известно только, что здание реконструировать не стали, а "выпотрошили" его, оставив только стены. Что интересно, котлован под новый фундамент был вырыт глубже, чем это делают обычно, и какое-то время на дне котлована попилились несколько человек с самыми обыкновенными лопатами: то ли клад искали, то ли еще что.

Неугомонные арбатские старушки все так же шепотом пересказывали друг другу душераздирающие истории о найденных скелетах, обвитых цепями, о железных сундуках, битком набитых бриллиантами "буржуев недорезанных", и прочие сказки с довольно пикантными подробностями. Некоторые, перепутав время и место действия, а также, без словно, попав под мощное влияние средств массовой информации, утверждали, что в подвале старого дома были зарыты трупы любовниц незабвенного Лаврентия Павловича, которых там же и расстреливали.

Послушать старушек, так они еще пятьдесят лет назад точно знали не только "биографию" призрака, но и то, какого пола дитя произвела на свет несчастная, загубленная девушка. И молчали только потому, что "времена были другие". Что верно, то верно, во времена оные людей научили молчать даже о том, что они точно видели своими собственными глазами, а не только слышали в очере-

дах или от соседей. Зато теперь выясняется, что "арбатский призрак" проявил невероятную коммуникабельность перед 1937 годом, приставал ко всем без разбору накануне войны, а одной старушке просто-таки предрек хрущевскую денежную реформу, благодаря чему она старушка скопила несколько килограммов медных монет, выгодно поменяла их и безбедно прожила остаток жизни. Правда, о "павловской" реформе призрак предупредить поленился... или не нашел достойных кандидатов.

А если оставить в стороне шуточки и сплетни и отнестись к этой истории серьезно (да-да!), то вполне возможно, что призрак просит у живых только одного: христианского погребения ее и младенца. Она ведь не самоубийца, которую нельзя ни отпевать, ни хоронить по православным обрядам. Найти кости и захоронить по-христиански всего-навсего. Возможно, именно эта идея пришла в голову новым хозяевам здания, когда последовало распоряжение провести раскопки на дне котлована. О результатах раскопок, правда, ничего достоверного не известно.

Если же легенда — правда и прах несчастной по-прежнему находится в земле под домом, то совершенно не исключено, что в скором времени по коридорам шикарной гостиницы, пугая постояльцев и прислугу, будет проплывать белая тень с невнятными стенами. А мы — не англичане, призраки для нас — стресс, а не признак респектабельности.

Даже если призраки появляются в престижном доме престижного района. ■



Вот думаю не о том, и все. Несколько минут, и лопнут тросы на которых еще висит на высоте сорок седьмого этажа наша люлька, а я сижу на корточках и вспоминаю какие-то сентиментальные детские глупости. Мороженое он мне купил, подарил смешную плюшевую собачку с пищалкой в животе. Гуляли в детском парке, и все вокруг принимали меня за его дочь, а он шел довольный, сияющий и держал меня за руку.

Пожар начался неожиданно, мы просто пообедали и вдруг почувствовали в воздухе теплый дымок, гарь. Все бросились бежать, еще не зная, что выхода с этажа нет. Я доела пончик и допила свой кофе с молоком. Губы салфеткой вытерла. Он всегда повторял, что девочка должна быть аккуратной. А уже потом побежала и наткнулась у лифта на паникующую толпу.

Боюсь огня с детства, потому что не понимаю, как из сухой холодной спички, из зажигалки с прозрачной жидкостью и мертвого безобидного провода выползает странная, живая, переменчивая смерть. Но в тот момент я не испугалась, просто прижалась к стене и ждала, что будет дальше. Даже интересно стало, как в детстве. Почему я все время вспоминаю свое детство?..

Детство — это не только алкаши-родители, нищая квартира, холодные серые макароны, мат и пьяные истерики. Это еще и небо, и солнце, и друзья, и тайны, одна из которых — любовь. Ранняя, напрасная, ненормальная, но что вообще нормально в этом мире, если чувство любви в тринадцать лет считается патологией?

Мы были лишними. И мои родители, и я. Когда мне было лет пять, отец пытался уйти из семьи к другой женщине и не смог. Остался ради меня. Чтобы я выросла полноценным человеком. Это было благородно, похоже на подвиг, но никому не нужно, потому что у него не выдержали нервы, и первый стакан водки, на кухне, в одиночестве, стал началом его конца. Через год от безысходности запила и мать. Я удержалась, потому что у меня была любовь.

Он просто подошел на улице и спросил: “Девочка, как тебя зовут?” Ребенка алкоголика видно сразу, это на лице, в крови, в характере. Это — во всем. Он не просто почувствовал, он знал, что я потянусь доверчиво, пойду куда угодно за ласковым словом, за прикосновением, за крохотным подарком. Мне было тринадцать лет. Он был взрослым человеком и “прочел” меня, как простенькую детскую книжку.

Дня не прошло, а я уже не могла без его улыбки. Между нами лежали двадцать два года, его жена, его дети-подростки, его

ответственная должность в крупной фирме, но он звал меня Лолитой задолго до того, как дал прочесть Набоковский роман, и любил страстно и жадно, как в последний раз. Где мои тогдашние сто сорок пять сантиметров и две косички?.. Разве думала я, мечтающая стать взрослой и открыто пройти с ним по улице, что любил он во мне именно то, детское, быстро прошедшее? А новые мои манеры, модная стрижка, деловой костюмчик и очки в золотой оправе для него — как раз могила, в которой похоронена его мечта?

Он позвонил за день до пожара мне на работу, в офис, куда два года назад пристроил меня курьером. Я раскладывала документы, думала о своем и даже не сразу узнала его голос.

— Привет, Леся.

Ощущение острого лезвия, внезапно полоснувшего по чувствам, было ново и непереносимо. Он не назвал меня Лолитой. Какая я теперь Лолита?

— Гумберт, здравствуй...

— Ну, как жизнь молодая? — Он говорил со мной, но сам был далеко, где-то в другой жизни, и голос его звучал неестественно и гулко.

— Спасибо, хорошо. А как ты?

— Не жалуюсь.

Можно было не спрашивать, когда мы встретимся. Никогда. Ему неприятно и, возможно, больно видеть меня такой, какой я стала. А я гордая. Я и не спрошу.

Первое время в офисе я была прежней, носилась по этажам в джинсах и кепочке козырьком назад, жевала жвачку, хохотала по поводу и без, и он продолжал меня любить, несмотря на семнадцать лет — возраст для Лолиты невозможный. Приносил простые полевые цветы, водил в парк, катал на каруселях, покупал мне леденцы в жестяных баночках, игрушки, смешные открытки с котятами. Счастливым оттого, что я никак не повзрослею, он вел меня за руку сквозь пестрые тени деревьев и гордился этим. Мы были везде. Мы ничего не замечали. И иногда, все реже и реже, нам казалось, что в какой-то отдаленной точке времени пространства мы будем все-таки вместе и проживем золотую жизнь...

А потом я выросла.

— Леся! Леся! Не стой столбом, живо, вон туда, к окну!.. — Рослый начальник схватил на бегу тонконогий металлический стул и швырнул его прямо в центр огромного сияющего стекла, которое немедленно, будто с облегчением, разорвалось на тысячи празднично сверкающих кусочков.

— Сорок седьмой этаж, — сказали за меня мои губы.

— Люлька, — почти спокойно и радостно ответил шеф, хватаясь за опустевшую раму.

Я вспомнила. Рабочие мыли окна, стоя в этой самой люльке. Заглядывали к нам и хохотали. А потом уехали, бросив ее между этажами.

Не помню, как прыгали, как кричали от страха высоты и все равно прыгали, потому что сзади поджимало нечто более страшное, чем сорок семь этажей свободного полета. Не помню, как чьи-то руки поймали меня, тяжелую. Помню лишь, как взрывались стекла и вышлепывали в воздух веселый киношный огонь с черным искусственным дымком. Ерунда какая. Еще секунда, и голос режиссера скажет всем спасибо, а пиротехники натащат огнетушителей и живо убьют слепящего, воющего, непонятного монстра. Сумка моя на стуле осталась, там паспорт, в котором написано, что мне уже девятнадцать. Половина зарплаты там. И фотография улыбающегося Гумберта со мной, маленькой, на руках.

— Леся, Лесенька, не бойся... — Толстая бухгалтерша теребит мое плечо, а сама трясется так, что выпученные от ужаса глаза вот-вот выскочат из орбит. Из рта у нее кипит слюна, помада размазана по щеке, потекла тушь, но она замечает только меня, и я испуганно отстраняюсь.

— Да не боюсь я, не трогайте!..

— Лесенька у нас молодец. — Шеф хорохорится, ему нельзя трястись, он мужчина. Нас в люльке семеро. Тросы натянуты так, что поют, ноют, подвывают от напряжения. Три этажами выше потрескивает угрожающе на краю крыши стальная лебедка. Блоки заклинило от тяжести, люльку не поднять и не опустить. В небе салат из плоских свинцовых туч, серой цветной капусты ватных облаков, комочков беловатого дымка и ярких голубых осколков. Я смотрю туда. Дым вливается в этот салат, смешивается с ним, а пламя ревет на этажах, и некуда, совершенно некуда деться. Над нами огонь, под нами много-много метров ужасающей пустоты.

Снизу орут в мегафон: "Сохраняйте спокойствие, через пятнадцать минут прилетит вертолет и снимет вас оттуда! Все хорошо, ситуация под контролем".

Плохо лишь то, что пятнадцать минут нам не продержаться. Сотрудники покидают здание, кто-то вылез на крышу и носится там, размахивая руками, свешивается вниз и тут же отскакивает от жара и дыма. Те, наверху, спасутся. Лишь мы между небом и землей понимаем, что люлька оборвется.

— Люлька оборвется, — спокойно произносит начальник и вытирает рукавом пот с красивого мужественного лица. У него зеленые глаза с искоркой и темные волосы. Он чем-то похож на Гумберта. Позавчера у него родился ребенок, девочка, и до самого пожара с молодого лица шефа не сходило выражение мечтательной задумчивости.

— Ну, вот и все, — отзывается менеджер Анатолий Петрович и нежно, осторожно обнимает толстую бухгалтершу, гладит ее, загораживает руками от беды. У них любовь, я-то знаю. Курьер всегда все знает.

Бухгалтерша начинает голосить, это невыносимо бьет по ушам и нервам, и мне хочется завизжать, затопать ногами,

ударить ее, лишь бы она заткнулась хоть на секунду, но двигаться нельзя. Топни ногой — и полетишь вниз. Вместе со всеми.

— Сколько килограммов выдерживает эта бандура? — Компьютерщик Сережа смотрит только на шефа, ни в коем случае не вниз.

— Я не знаю, — шеф тоже смотрит только на Сергея. — Кто-то мне говорил, что, в принципе, до полутонны. Или меньше? Черт, я же не интересовался, я не...

— Погодите. — Сережа сосредоточенно считает в уме. — Нас семь человек... Кто сколько весит? Только честно?.. — Голос у него заметно дрожит от напряжения.

— Во мне где-то восемьдесят пять, — неуверенно говорит начальник.

— Я точно знаю. — Анатолий Петрович все не выпускает рыдающую бухгалтершу. — Семьдесят шесть. А ты сколько весишь, солнышко?

— Девяносто четыре. — Толстуха отвечает чуть слышно, оборвав крик и закрыв глаза.

— А я, наверное, не более шестидесяти, — подает голос секретарша Наташа, худая, высохшая и давно не молодая тетка, почему-то не заработавшая себе отчества.

— Прибавьте мои восемьдесят семь, — сдержанно басит менеджер по кадрам Галина Семеновна.

— А ты, Лесик? — Сергей наклоняется ко мне и нежно касается моей щеки.

— Шестьдесят пять. — Я никак не могу сосчитать, сколько получилось, и это меня пугает.

— Итого, — Сережа заводит глаза, — если прибавить мои семьдесят три, получается... получается... пятьсот сорок один килограмм.

Теперь я знаю, как звучит всеобщий вздох. Никакой другой звук просто невозможен, потому что все, как один, поняли: кто-то должен прыгать. Именно прыгать туда, в бездну, тогда тросы выдержат вес остальных.

Кто?

Героев-то нет. Я не верю, что кто-то в такой ситуации способен добровольно умереть, чтобы спасти даже не родственников, не друзей, а просто коллег по работе, которых и любишь-то не очень, и не жалко тебе их, по большому счету.

А без героя нам сейчас нельзя. Иначе прославимся все. По-смертно.

... Он сказал, повернув меня к себе лицом на потайной дорожке парка и осторожно глядя мои волосы:

— Леся, я никогда не верил, что такое в жизни возможно. Я тебя люблю. Ты моя судьба, моя жизнь, моя нежность... ты ведь всегда со мной будешь? Если мне придется переехать, поедешь

следом за мной? А если заболею, стану инвалидом, будешь ухаживать?..

— Я не могу быть с тобой, у тебя же жена, дети... — бормотала я без всякой уверенности в голосе, жмурясь от его ласки.

— Жена! Дети! — Он нервно засмеялся. — О чем ты говоришь! Я же люблю тебя, я никогда никого раньше не любил и любить не буду, ты — вообще единственно возможный для меня исход, а ты мне — дети!..

Он меня любил, и только моя вина в том, что я не сумела вечно оставаться для него ласковым ребенком с большими бантами в светлых косах. Я верю в это. Потому что верить в то, что он просто подонок, я не имею права.

Я рассказала о нем отцу. Уже после того, как встречи сначала стали редкими, а потом прекратились, после слез у молчащего телефона, бессонных ночей и приступов невыносимой режущей тоски. Просто вклинилась между двумя запоями и рассказала, глупо шмыгая носом на тощем отцовском плече и путаясь в словах.

Когда-то папа был интеллигентным человеком, обожал читать, ходить в театры и на концерты, преподавал в университете, а в тот день от него несло перегаром и давно не мытым телом, он зарос и поседел, но это был мой отец, и он когда-то тоже любил. Он не мог меня не понять.

— Знаешь, — он отстранил меня и закурил вонючую дешевую сигарету, — глупости все это... дешевка... любовь-морковь. Где она, эта любовь? Пшик. А его, по-хорошему, посадить бы надо. Тринадцать тебе тогда было?.. Он же извращенец, педофил, таких в тюрьме сразу Машками делают... Лолита! — Он фыркнул с презрением и плюнул на стертый пол. — А как подросла Лолита, так и все? Поиграли, и будет?.. Попался бы он мне, да куда там... меня самого соплей перешибить можно.

— Папа, — я еще не отчаялась найти понимание, — но если забыть о возрасте... он же меня любил... мы бы вместе были... я сама виновата...

— Вместе? — Он весь скривился от моих слов, не только лицо, но и все тело его превратилось в мятую, изжеванную газету. — Не так-то это просто — вместе! Мало хотеть, надо мочы!.. Это тоже подвиг, подвиги ведь не только на войне случаются. Мочь надо, натуру иметь, характер! На меня посмотри. Смотри, смотри, нечего нос воротить!..

Я смотрела на него. Он весь дрожал, седой, костлявый, жалкий старик практически без зубов и волос, страшный, грязный, опустившийся, а ведь ему было всего сорок два года.

— Нравится? — почти злорадно спросил он.

— Нет, папа.

— А ты помнишь, какой я был раньше?

— Нет, папа. — Я не обманывала его, я действительно не помнила.

— Вот так. — Он удовлетворенно откинулся на спинку шаткого стула, и вдруг из его мутных глаз выбежала на морщинистые щеки стайка прозрачных слезинок, каких-то чистых, детских, беспомощных.

— Но почему ты сейчас не уйдешь? — Я сняла эти чистые капли ладонями и поцеловала отца в лоб. — Я выросла, что тебя держит?..

— Дура, — без всякой злости сказал он. — Поздно уже. Это только ты думаешь, что любовь может быть вечной. А она вышла замуж, совсем недалеко живет, мальчик у нее... Хороший мальчик. Может быть, мой, все-таки?.. Ладно, не слушай. Уйди от меня, не могу я, когда ты вот так смотришь.

С матерью я вообще не говорила. Женщины деградируют быстрее мужчин. С ней уже не о чем было говорить.

...Солнце. Все-таки лето на дворе, хоть и холодное. Тросы-то выдержат, а на лебедку надежды нет. Что поднимали в этой люльке? Раствор, кирпич, рабочих. До полутонны. Да и то наверняка не грузили под завязку. И люлька старая, вся краской заляпана, цементом, тросы какие-то разломаченные. Не иначе как святой дух нас еще держит. А вертолета не видно.

У начальника дочка родилась. Так радовался, чуть на месте не прыгал, когда из роддома позвонили. За цветами помчался, глаза светились. Это сейчас он застыл, как статуя, а час назад сиял за своим столом маленьким солнышком. Он может прыгнуть. Просто потому, что он мужчина. Не мужик, не самец, не существо мужского пола, как большинство. Он — мужчина. Он подумает еще минуту и прыгнет, а его молодая жена узнает все только из новостей, и жизнь ее в этот миг останется навсегда.

Анатолий Петрович. Бог его знает, на что он способен. Темная лошадка. Известно только, что бухгалтершу любит, каждый обед воркуют, как голубки. Встретились два одиночества в пятьдесят лет. Всю жизнь искали. И встретились в нашей конторе. Если прыгнет, толстухе не выжить. Станет, как моя мать. Или вообще — вслед за ним. Нельзя. Каждый из них в ответе не только за себя.

Мы все в ответе не только за себя. Мы в ответе за тех, кого приручили. Жаль, что великий Сент-Экзюпери писал свою сказку не для Гумберта.

Главное, чтобы они не поняли, зачем я встаю. Так спокойно сидела. Не орала, не плакала, смотрела себе в небо. Суций ангел.

Сергея прыгнет запросто, про него говорят, что он без башни. А у него больная мать. И больше никого. Мать останется в пустой квартире и будет ждать сына, пока не сойдет с ума.

Женщин не рассматриваем. Ни одну. Точно. Просто потому, что бухгалтерша до чертиков влюблена. Может быть, впервые в

жизни. Секретарше Наташе такое не придет в голову, она рассчитывает на мужчин. И всегда рассчитывала. Даже когда от нее со скандалом уходил муж, она ни секунды не сомневалась, что он будет и дальше содержать ее и детей, делать в квартире ремонт и мчаться по первому зову решать ее проблемы. А он взял и не примчался. Не захотелось ему.

Галина Семеновна старая, ей и прыгнуть-то не дадут, даже если она вдруг захочет. Но это из области фантастики. Никогда.

Курьеры все знают. А я — именно курьер. На эту должность меня устроил Гумберт, и я никогда не пыталась ее сменить.

Эх, Гумберт, Гумберт, несчастный, любимый, глупый человек. То, что я сейчас сделаю, я сделаю не только для тех шестерых, что останутся в люльке. И не только для своих родителей, чтобы им было чем гордиться до очередного запоя. И даже не для себя, чтобы не мучиться совестью за чью-то жизнь. Я сделаю это для тебя. Это единственное, что я могу сделать.

Ведь после нашего с тобой расставания, когда утихла немного жуткая душевная боль, я стала другой. В девятнадцать лет я вдруг осознала, что счастье или то, что принято вкладывать в это понятие, для меня уже в прошлом и никогда не повторится. Такое бывает раз в жизни. Мне скучно. Если бы ты знал, как мне скучно и какие у меня теперь пустые, взрослые глаза! В выходные я лежу на диване и тупо смотрю телевизор. Меня не интересуют мужчины. Я не читаю книг. У меня нет друзей. Я все больше погружаюсь в зыбучий песок равнодушия, а дни летят все быстрее и быстрее. Меня это почти не волнует. Рано или поздно мои родители умрут, и я заведу себе кошку. Потом еще одну. Когда их число дойдет до десятка, на меня начнут жаловаться соседи и показывать во дворе пальцем мальчишки. А еще через несколько лет я стану странной, толстой, одинокой, неопрятной теткой, без работы, денег, близкого человека и смысла жизни.

Я не переживу, если однажды ты встретишь меня такую на улице и отвернешься с брезгливым отвращением.

Может, меня спасла бы другая любовь. Но как можно поверить в заветные три слова, если человек, который столько лет произносил их, глядя тебе в глаза, легко и бездумно вышвырнул тебя, как использованную салфетку?..

Ну вот!.. Господи, как они смотрят!.. Знаете? С надеждой. Все — с надеждой!.. И лишь в одних глазах отчаяние — у Сергея, потому что он тоже решил, но не успел. Или потому, что...

Мама, папа, протрезвейте, пожалуйста, посмотрите сегодня новости. Там будут показывать, как я, балансируя на шатком бортике, крепко зажмурилась, сложила руки рыбкой и нырнула вниз, на волю. Потом, когда встретимся, расскажете мне. Я-то этого уже не увижу.



**Светлана
БЕСТУЖЕВА-ЛАДА**

В этом номере мы зананчиваем публикацию материалов о снах и сновидениях. В заключительной статье постараемся научить вас правильно спать. Ну и, конечно, правильно толковать те сны, которые вы наверняка увидите.

В объятиях Морфея

Неприятности и стрессы, преследующие человека днем, конечно же, мешают ему заснуть ночью. Наши простые советы помогут вам обрести здоровый и сладкий сон.

Знаете ли вы, что неполноценный сон гораздо чаще является виновником насморка с кашлем, чем промокшие ноги и сквозня-

ки? А все дело в том, что сон — это не просто отдых, а и подготовка организма к дневному сражению с патогенными вирусами, бактериями и грибами. Хронически невысыпающиеся люди чаще других страдают от кровоизлияний в мозг, сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Потеря четырех часов сна снижает быстроту реакции почти вдвое. А

это приводит к несчастным случаям на дороге и производстве. У хронически усталых людей накапливается множество проблем и в личной жизни. Часто человек, имеющий проблемы со сном, переживает из-за этого так сильно, что не может нормально заснуть, и проблема бессонницы превращается в еще один дополнительный фактор стресса, который окончательно лишает покоя. Образуется самый настоящий порочный круг. Но разорвать его вполне возможно.

Искусство спальни

Для полноценного отдыха очень важна окружающая обстановка. Ни телевизору, ни компьютеру в спальне не место. Создайте небольшой уголок, предназначенный только для сна и занятий любовью. Оптимальной температурой воздуха считается 18°C, относительная влажность — 50%. Повесьте темные плотные шторы или жалюзи: ведь мешать засыпанию может даже свет луны или уличных фонарей. Дело в том, что на свету замедляется процесс выработки "гормона сна" — мелатонина, и организм настраивает себя на бодрствование.

Зеленая аптека

Статистика свидетельствует: представительницы слабого пола гораздо более чувствительны к факторам, вызывающим нарушения сна. Стоит ли удивляться тому, что почти каждая третья женщина принимает снотворное. Правда, прием подобных препаратов опасен тем, что может расстроить циркадные ритмы. Другое дело природные средства. Вероятность нарушения циркадных

ритмов при их приеме существенно меньше. Кроме того, прием натуральных средств, как правило, не вызывает нежелательных побочных действий. **Валериана** (взятая отдельно или же в комбинации с мелиссой, хмелем, зверобоем) поможет вам при легких расстройствах сна, обусловленных повышенной раздражительностью и нервным возбуждением. Препарат **зверобоя** является одним из самых эффективных лекарственных средств при лечении депрессии. Могут помочь они и при нарушении сна. **Хмель** успокаивает, вызывает чувство приятной усталости. Все эти травы значительно облегчают засыпание.

Сила привычки

Хотя сон и является естественной физиологической потребностью каждого, он тоже должен войти в привычку. Доказано: тот, у кого выработан ежедневный ритуал отхода ко сну, страдает бессонницей крайне редко. Примите **ванну**, выпейте чашку лекарственного **травяного чая**, почитайте **книгу**. Занятия спортом, даже если они проходят на свежем воздухе, лучше закончить задолго до отхода ко сну. Физические нагрузки, конечно, утомляют, но они же и ускоряют процесс обмена веществ в организме. Избегайте вечером, а тем более поздним вечером, тяжелой еды. В идеальном варианте ужин должен состоять из легкоусвояемых молочных продуктов и не быть обильным. А после 18-19 часов вообще не стоит принимать пищу.

Здоровый сон во многом зависит от того, на чем спишь. Са-

мое главное требование к матрасу — он должен принимать форму тела. Если матрас слишком мягкий, то позвоночник будет "скручиваться", а если слишком жесткий — то "сплющиваться". Жесткий — это тот матрас, который оставляет хотя бы небольшой воздушный зазор между своей поверхностью и спиной лежащего человека. На идеальном матрасе позвоночник лежащего на боку человека образует прямую линию. Матрас подбирается индивидуально — с учетом возраста, веса, роста, телосложения и, если таковые есть, заболеваний человека.

Чаще всего сон пропадает из-за перевозбуждения — состояния, в котором мы не можем отрешиться от мучающих нас мыслей и забот. Поэтому какие-либо монотонные упражнения, выполняемые в уме, помогают оставить беспокоящие мысли и уменьшить содержание в крови гормонов стресса.

Теплеет и тяжелеет...

Сейчас стало модным овладевать техниками осознанных сновидений. Потренировавшись, вы можете овладеть приемами аутогенной тренировки. Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища. Представьте перед глазами фон нейтрального цвета (серого, серо-голубого, салатного). Концентрируйтесь поочередно на какой-либо одной части тела, начиная со стопы или кисти. Отдых и расслабление сопровождайте проговариванием про себя фразы: "Моя нога теплеет и тяжелеет..." Если не получается сразу, попробуйте научиться рас-

слабляться в ванной, погружая тело в теплую воду. Запомните ощущение тепла и расслабления.

Стаканчик за...

Нет, это совсем не то, о чем вы, вероятно, подумали. Ведь алкоголь разрушает естественные механизмы расслабления и сокращает время глубокого сна. На ночь лучше всего выпить стакан теплого молока с медом.

Ну, а теперь — вперед за приятными сновидениями.

Птицы, рыбы

Аист — подарок; гнездо аиста — утешение.

Воробей — воробьи во сне всегда предсказывают поворот в судьбе, а также свидетельствуют о том, что у тебя неподходящее окружение.

Ворона — обычно они снятся к печальным событиям. Их нарканье означает что-то неблагоприятное влияние на тебя. Иногда предупреждает об измене любимого человека.

Голуби — к болезни; клюют — к потере.

Гуси — покупать — прибыль; продавать — убытки; ощипывать — разочарование; убивать — большое наследство; жарить — визит гостей или веселая вечеринка.

Журавль — видеть во сне стаю журавлей, летящих на север, — знак плохих перемен или разочарование. Но если они летят на юг — это предвещает радостную встречу со старыми друзьями. Влюбленным такой сон обещает верность друг другу. Видеть журавлей, опускающихся

на землю, — предвестие необычных событий.

Индейна — полоса удач; есть — к разочарованию.

Нукушка — несчастье в семье, личной жизни.

Нурица — случайная гостя; много кур — гости; если клюет зерно — к приобретениям или деньгам.

Ласточка — ласточка во сне сулит поной и гармонию в семье. Раненая или мертвая ласточка означает печаль.

Лебедь — сон о белом лебедь, плывущем по спокойной воде, предвещает радостные события и приятные волнения. Черный лебедь на чистой воде — знак того, что не следует соглашаться принимать сомнительные предложения. Ну а если увидишь летящих лебедей — жди скорого исполнения всех своих начинаний.

Орел — успех в делах.

Петух — измена.

Попугай — летает — вести из-за границы, в клетке — лживые сплетни.

Птица — гость или весть; убить или ранить птицу — к большой неудаче; яркое оперение — удача в любви.

Рыба — щупать мертвую — к болезни; есть — беспокойство, заботы; видеть в воде живую — удача в делах, надежды; поймать живую — большой успех; рассыпающаяся, ускользающая — неожиданная удача, неожиданное приобретение.

Скворец — дорогой подарок.

Сова — если во сне ты слышишь тревожный глухой крик совы — это предупреждение о том, что может случиться нечто дурное. Тому, кто увидел такой сон,

следует опасаться за свое здоровье. Наверное, пора принимать витамины. Сова снится, обычно, и к клевете, и к оговорам. Мертвая сова означает, что ты удачно избежишь тяжелой болезни.

Сойка — приснившаяся сойка сулит новые знакомства с интересными людьми. Сон, в котором ты ловишь сойку, означает увлекательные, но бесплодные занятия. Мертвая сойка снится к неурядицам в доме и другим неприятностям личного характера.

Сокол — сокол во сне — это завистники. Следует пристальнее присмотреться к тем, кто нависает тебе в друзья.

Соловей — ласкающее слух пение соловья сулит крепкое здоровье тебе и твоим близким. Особенно благоприятен этот сон для влюбленных. Внезапно умолкнувший соловей — знак, что тебя ожидает небольшая размолвка с друзьями.

Сорока — сорока всегда сулит затяжные ссоры. Чтобы избежать их, постарайся тщательнее обдумывать свои слова и поступки.

Утка — ложная весть.

Ястреб (оршун) — хитрый человек чинит тебе препятствия.

Насекомые

Бабочка — к свиданию; порхает на солнце — знак радости.

Блохи — для женщины блохи во сне — предупреждение о том, что близкий человек ее огорчит, а друзья станут клеветать. Если она видит блох на своем возлюбленном, то сон говорит о его коварстве и неверности.

Жуки — видеть их во сне на своем теле — предвестие мелких

неприятностей. Давить их — хороший знак.

Клещ — видеть во сне, что по телу ползают клещи, — к неприятностям и болезням. Возможно, тебе придется посидеть у постели больного. Если ты видишь клещей на стволе дерева, значит, недруги предпримут на тебя нападку.

Номар (убить) — знак везения.

Моль — семейные неприятности; ревность.

Мошара — к неудачам, которые, однако, не оставят по себе дурных последствий.

Муравьи — тебя ждет благополучие и достаток.

Муха — одна — к печали; много — к веселой вечеринке или пикнику с приятелями.

Осы — тебе удастся посрамить врагов; быть ужаленным — ты станешь объектом зависти.

Паук — друг, удача; плетет паутину — к деньгам; ползает по стене — успех в сокровенном; убить паучка — несбыточные надежды.

Паутина — интриги, западня; если ты во сне смахиваешь паутину — готовься услышать небоснованные обвинения.

Пчелы — пчелы снятся к удаче. Особенно благоприятен сон, в котором пчелиный рой тебя преследует. Укус пчелы предупреждает, что кто-то из друзей тебя обидит.

Саранча — саранча означает, что в твоей жизни возникнут осложнения. Если саранча снится девочке, то наяву у нее появится донучливый поклонник. Саранча, сидящая на овощах, предвещает нежелательное для тебя событие. Если саранча покрывает по-

ле — это к болезни. Тучи саранчи, закрывающие солнце, — предвестие страшных событий.

Таракан — готовься принимать гостей.

Пресмыкающиеся и земноводные

Глисты — к новому знакомству.

Жаба — злой человек, много жаб — болезнь.

Змеи — сны о змеях — предупреждение о любых формах зла. Извивающиеся или падающие на кого-то змеи — свидетельство того, что ты станешь испытывать угрызения совести. Если ты во сне убиваешь змей, — значит, научишься умело пользоваться любой, самой малой возможностью в своих интересах и в итоге одержишь победу над врагами. Проходить во сне среди змей — означает, что ты будешь испытывать страх перед каним-то человеком. Если змеи жалят — в жизни ты поддашься злобным чувствам, и враги смогут помешать тебе осуществить задуманное. Если во сне ты видишь, как змея кольцами обвилась вокруг тебя и хочет ужалить, значит, ты будешь испытывать бессилие перед врагами или тебе угрожает болезнь. Змеи, свернувшиеся в странные клубки, предвещают неприятности. Если во сне ты увидишь, как змея подняла голову на тропинке, где только что прошел твой друг, то наяву ты раскроешь заговор против вас обоих.

Лягушка — (прыгающая через дорогу) — опасайся врагов.

Рак — снится обычно к дальней дороге.

Удав — опасный враг.

Черви — ползущие по траве — новарство друзей.

Черепаха — к душевному дискомфорту.

Ящерица — к тебе набивается в друзья крайне неприятная особа.

Библийские и сказочные персонажи

Ангелы — явление во сне ангелов предвещает нечто, способное смутить и обеспокоить тебя. Если сон приятен, то жди хороших новостей от друзей. Сон также может предупреждать о сплетнях, которые затронут твои дружеские отношения.

Бог — если ты видишь себя поклоняющимся Богу, то тебе пора подумать о своем поведении. После этого сна старайся не отступать от десяти заповедей. Есть хороший повод еще раз вспомнить о них! Если во сне Бог благосклонен к тебе, у тебя появится старший друг, который во многом поможет тебе. Вообще тебе следует знать, что во сне Бог чаще говорит с теми, кто грешит, чем с теми, кто этого не делает. Это в духе божественного свода законов — поправлять знамением заблудшее дитя.

Богоматерь — счастливое, радостное событие.

Вампир — грядут тревожные события. Однако если вампир приснился тебе во время болезни — это к скорому выздоровлению.

Волшебник — сулит влюбленным разочарования и ссоры.

Дракон — дракон во сне — своего рода предостережение от конфликтов и неприятностей.

Дух — если во сне ты говоришь с Духом, жди обмана от

тех, от кого ты меньше всего ожидаешь.

Дьявол — для тех, кто готовится в дорогу и для спортсменов, — это сигнал к осторожности и осмотрительности. Дьявол под маской элегантного представительного человека со множеством дорогих сверкающих украшений — предостерегающий знак. Тебе не следует принимать никакие предложения, исходящие от малознакомых людей, иначе можешь попасть в ловушку.

Знаки Зодиака — приснившись во сне знаки Зодиака предвещают тысячу приятных неожиданностей, а также ничем не омраченное благополучие дома.

Привидение — не испугаться во сне привидения — значит услышать приятные новости, отличный знак для затеянного дела.

Рыцарь — защита, покровительство.

Русалка — вестница судьбы, исполнения желаний.

Смерть — если в обычном виде (с косой на плече) — знак больших перемен в жизни.

Сфинкс — в скором времени получишь ответы на все интересующие тебя вопросы.

Фея — удача, исполнение желаний.

Фокусник (маг) — если показывает фокусы — тебя ждут успехи в делах; жонглер — к подаркам, тем большим, чем больше предметов в воздухе.

Чудище — страх, сомнение.

Фрукты, овощи, ягоды

Ананас — означает благополучное будущее. Успех последует

очень скоро, если во сне ты собираешь ананасы или ешь их. Если же тебе снится, что тебе довелось уколоться, нарезая ананас к столу, то, скорее всего, тебя поначалу огорчат именно те дела, которые в конце концов принесут радость и успех.

Апельсин — сюрприз.

Арбуз — неожиданный отъезд.

Бананы — снятся обычно к встрече с неприятным человеком. Если во сне ты ешь бананы — наяву рискуешь предпринять новые шаги и принять на себя новые обязанности. Гниющие бананы предвещают хлопотное дело. Если же ты продаешь бананы, то твое внимание займут пустяки, которые поглотят много драгоценного времени.

Виноград — есть виноград — это сон, говорящий о том, что тебе предстоит закалить волю, пройдя через серьезные препятствия; если же ты видишь гроздь, висящие в изобилии среди листвы, то добьешься выдающихся результатов в задуманном. Для женщины — один из самых многообещающих снов. Сохранение красивой виноградной лозы сулит успех и счастье. Засохшие виноградные лозы не предвещают ничего хорошего.

Груши — к потере.

Дыня — плохое здоровье и неудачное развитие дел. Есть во сне дыню означает, что какой-то твой опрометчивый поступок принесет дурные последствия. Если ты увидишь дыни на бахче — значит, неприятности неожиданно обернутся для тебя успехами.

Землянина — если ты увидишь во сне землянику, получишь радостное известие; в уче-

бе достигнешь успешных результатов. Есть во сне землянику — знак разделенной любви.

Капуста — видеть капусту во сне — всегда плохо, это знак всевозможных беспорядков.

Лимон — горе.

Лук — чистить — успех в трудном деле.

Малина — есть — к болезни, обычно простудной.

Морковь — тебя ожидает заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.

Огурцы — для женщин обычно означают несерьезных поклонников или сплетни в связи с любовными отношениями.

Перец — несчастье.

Помидоры — тайная любовь.

Редька — обман.

Сливы — зеленые сливы среди зеленой листвы предвещают лишения, которые не заденут тебя лично, но коснутся кого-то, кто имеет к тебе непосредственное отношение. Видеть во сне сливы или есть их — значит, в жизни стремиться к мимолетным удовольствиям. Если тебе снится, что ты собираешь сливы, то наяву исполнение желаний не принесет радости.

Цветная капуста — если во сне ты ешь цветную капусту, то готовься к упрекам за небрежное исполнение своих обязанностей. Цветная капуста, растущая на грядке, означает, что после периода неудач и лишений откроются блестящие перспективы.

Яблони — болезнь; есть — разочарование, гнев; собирать — домашние неприятности; видеть — обольщение.

Ягоды — слезы; есть — болезнь.

Деревья и растения

Береза — радость.

Бузина — куст бузины, усыпанный яркими ягодами, снится к счастью в личных делах. Возможно, тебя где-то ждет сельский дом, где ты отдохнешь и у тебя будет время о многом подумать в тишине. Но, может быть, судьба предложит интересное путешествие. Это — один из самых счастливых снов.

Бунет — прекрасный яркий бунет во сне предвещает приятные, радостные встречи. Видеть увядший бунет — к болезни и неприятностям.

Венок — венок из свежих цветов сулит скорые успехи в делах, увядший — знак болезни и угасающей любви. Венок невесты предвещает долгожданный и счастливый финал неопределенного и затруднительного положения.

Васильки — к свиданию.

Верба — к печали.

Горох — сон, в котором ты ешь горошек, обещает здоровье и благополучие. Наблюдать во сне уборку гороха — значит быть уверенным в том, что ты на верном пути и очень скоро будешь наслаждаться результатами своих трудов.

Горчица — увидеть зеленеющее горчичное поле — к удачам и к богатству. Есть во сне приготовленную горчицу — к пустой трате денег и умственному напряжению.

Дуб — дубовая роща во сне сулит исполнение желаний. Хорошим знаком являются сны, в которых ты видишь дубы, усыпанные желудями. Сломанный дуб снится к неожиданному неприятному известию. Если дубы снятся влюб-

ленным, это означает, что они скоро встретятся, и обстоятельства будут им благоприятствовать.

Дерево — залезть на дерево — потери, неудачи; фрунтовое — успех; рубить — потеря; сажать — богатство; с плодами — благополучие; цветущее — успех в делах; обрубленное или вывернутое с корнем — болезни, горящее — убытки.

Елка — подарок.

Желудь — желуди всегда снятся к приятным событиям и будущим приобретениям. Если ты подбираешь желуди с земли — наяву твои усилия будут вознаграждены по достоинству.

Жасмин — приснившийся жасмин сулит острые приятные переживания, которые — увы! — слишком быстро пролетят.

Зерно — увидеть во сне зерна — один из счастливейших снов, обещающих благополучие и счастье.

Заросли — к переменам в личной жизни; колючие, густые — следует вдумчиво отнестись к переменам.

Наштаны — перебирать наштаны во сне — к встрече с человеком, который станет другом на всю жизнь. Есть во сне наштаны — предвестие недолгой печали, которая сменится хорошим настроением.

Недры — зеленые и стройные недры сулят успехи в каком-то начинании. Засохшие и больные недры означают отчаяние.

Клевер — если снится, что ты гуляешь по прекрасно пахнущему цветущему клеверному полю, — это благоприятный сон. Судьба пошлет тебе исполнение заветных желаний. Если же клеверное поле увядшее — сон не-

благоприятен. Вскоре тебе придется о чем-то с горечью пожалеть. Увидеть во сне цветок клевера — к процветанию.

Крапива — если во сне ты бродишь в зарослях крапивы и боишься обжечься, — ты будешь преуспевать во всем. Если же получаешь ожог, то будешь испытывать недовольство собой.

Колосья — исполнение желаний.

Кувшинки — на воде — тебе удастся провести несколько чудных дней на отдыхе; собирать — тратить время и силы попусту.

Лен — к успеху во всех начинаниях.

Лес — увидеть во сне лес — к переменам в делах. Зеленые леса сулят удачу, облетевшие — перемены к худшему. Лесной пожар снится к благополучной реализации планов.

Лилия — лилии означают суровое испытание болезнью или горестями. Лилии с пышной листвой сулят влюбленность и скорую последующую разлуку. Если лилии увядшие — это произойдет раньше, чем можно предположить. Если ты вдыхаешь во сне аромат лилий — тебя посетит печаль, благодаря которой многое проявится.

Листья — зеленые — богатство; удача; для любящих — знак удачи; жухлые, падающие — разочарование, ссоры.

Орехи — дрязги; колоть — странная, неприятная встреча; есть орехи — сильные тревоги; собирать — денежные заботы.

Плоды — на дереве — успех; на вечеринке — очень удачный сон, если не ешь их; зеленые — поспешность; перезрелые — губительное промедление.

Пшеница — просторные поля пшеницы, увиденные во сне, сулят блестящие перспективы в учебе. Незрелая пшеница говорит о том, что судьба будет к тебе благосклонна; зрелые колосья обещают любовь и счастье. Крупные чистые зерна пшеницы сулят изобилие.

Рис — означает сердечную дружбу. Кроме того, он сулит успех в делах. Если во сне ты ешь рис, то в твоём доме будет царить тепло и уют. Рис, в котором много соринки, означает ссору с друзьями или болезнь. Если во сне готовить рис, в скором будущем появятся новые обязанности, благодаря которым будет достигнуто уважение окружающих.

Рожь — символ блестящего будущего. Кофе из ржаных зерен — знак того, что в жизни ты будешь руководствоваться умеренностью и рассудительностью.

Розы — если видишь цветущие розы, тебя ждет радостное событие в жизни и верность любимого человека. Если снится, что срезаешь свежие розы, значит, скоро ждет новое увлечение. Увядшие розы говорят о неудачах в любовных делах. Аромат роз во сне обещает чистую, ничем не омраченную радость, а нераскрытые розовые бутоны — успех в делах и благополучие. Засохший розовый куст — знак того, что болезнь грозит твоим близким. Алые розы — символ исполнения надежд.

Ромашка — препятствие.

Роща — неприятность.

Смола — это знак вероломства. Если снится, что твои руки или одежда в смоле, — жди беды; возможно, это будет болезнь.

Тополя — зеленеющие тополя во сне — добрый знак. Если женщина видит себя рядом со своим возлюбленным под топодем, то сбудутся ее самые заветные желания, друзья станут ей надежной опорой, а отличное здоровье поможет ей радоваться жизни. Засохшие или облетевшие тополя предвещают наступление поры разочарований.

Трава — препятствие; зеленая — надежда.

Хризантема — белые хризантемы — символ утрат; хризантемы любого другого цвета сулят радость и удовольствия. Букет хризантем означает, что, быть может, из-за гордости ты пожертвуешь любовью. Если, глядя на цветы, ты почувствуешь, что у тебя захватывает дух от их красоты, то это значит, что предстоит пережить острый душевный кризис.

Цветение — цветущие кусты и деревья символизируют наступление поры благополучия.

Цветы — свежие — обещают радость и достаток, белые — печаль, увядшие — сулят неприятности. Если девушка во сне получает букет, составленный из разных цветов, — у нее будет много поклонников.

Черемуха — отвергнутая любовь.

Шиповник — опасность.

Шишки — еловые — нежданное счастье.

Щавель — беда.

P.S. На этом, уважаемые читатели, мы заканчиваем публикацию "Сонника". Желаем вам успехов во всех ваших делах и, конечно, только приятных и радостных сновидений. ■

Мальчин Моцарт играл Баха на скрипке перед императором. Мальчин Котов играл Баха на баяне на деревенской свадьбе.

Услыхав по радио "Ростовские звоны", оставил Донецкое музучилище и поехал в Москву — послушать эти звоны живьем.

Со второго курса Московской консерватории сбежал в Ленинград, к манекенщице, которую отбил у подпольного миллионера.

А когда все же сыграл свой диплом — Вторую рон-симфонию Котова, сидевший в комиссии Арам Хачатурян кричал: "Бешеный темперамент!"

...Легенды о Валерии Котове дошли до меня еще до нашего знакомства. В том числе и та, что судьба собственной музыки (по мнению профессионалов — блистательной) композитора Котова не слишком волнует. Ибо с тем же энтузиазмом он творит и в иных сферах. В одном тихом городке воздвиг фонтан "Тристан и Изольда" — на тему вечной любви; фантастически декорировал дискотеку, предварительно (что-

бы дойти до сути!) разучив и сплясав все, что последние полвена танцует молодежь; а с некоторых пор поселился в компьютере, где уже с десятком сайтов охотятся за рисунками Котова, которые он, посмеиваясь, каждый день запускает в "паутину"...

И вот настал день, когда мои виртуальные представления об этом вечном вундеркинде оформились в некоторую реальность: меня позвали на выставку художника Валерия Котова.

Рисующий музыку

Я вошел в зал и сразу попал в поток необыкновенно динамичных рисунков. Со всех сторон шли, бежали, резвились, играли, танцевали сотни человеческих фигурок, мчались свирепые быки, гарцевали лошади, летели птицы, наплывали знакомые и незнакомые лица... А из вихря этого головокружительного мироздания внезапно явился Котов — легкий и стремительный, нудрявый, смеющийся, — радостно

П о п р и н ц и

объяснив: "Я рисую все, что шевелится!"

— Движения человека — это фантастика. Я только финсирую. В день по тысяче рисунков — на



улицах, в магазинах, в метро. Да еще на ночь не одну сотню. Вчера вечером видел балет — вот он.

И подсев к столу, на котором лежат пачки свежих рисунков, с ловкостью фокусника раскладывает передо мной, быстро меняя, изображения движущихся балерин. Они мелькают, как кадры кино: пять сотен движений! И ни одного повтора.

— То же самое я делаю в музыке. И там и тут веду линию. Это как песня: мне хочется петь — и я пою. Если бы я не был художником, то не был бы и музыкантом.

Восьми лет от роду Котов написал холст "Три богатыря". Отцу, колхозному зоотехнику, кто-то привез "Школу изобразительного искусства" — одиннадцать томов дореволюционного издания. Эту "школу" чуть не с самых пеленок отец преподал Котову. А затем вместе копировали пере-



Александр Солнцев

движников для клубов и столовых во всей округе.

— Меня до самой школы, уходя на работу, запирали на ключ — рисуй! К десяти годам решили, что пора и мне взять в руки баян. Через год я уже играл на свадьбах. Меня ждала карьера клубного баяниста. Но вскоре мы переехали в Авдеевку, под Донецк. Я поступил в Донецкое музыкальное училище, первый раз в жизни попал на симфонический концерт, услышал Сорокову симфонию Моцарта... И, на-

верное, с этого дня кое-что начал понимать.

— Что же именно?

— Как стоит жить.

Если не опускаться глубоко — так, что уже барабанные перепонки лопаются — ничего не выйдет. Позже нашел у Марины Цветаевой: "Неважно, сколько поднять, важно — как напрячься". Это о глубине чувств. То, о чем пели еще трубадуры: на первом месте у творца — "нежная дума", то есть любовь, которая (как утверждал Данте), "вращает солнце и светила".

— И что же? С тех пор все по любви?

— Все про любовь.

С тех пор Котов все делал не так. Считают, к примеру, что он бросил Донецкое музучилище. На самом деле просто дове-

рился чувству: услышав в ростовских колоколах божественную музыку, отправился туда, где она звучит. В Москву приехал за полгода до экзаменов в консерваторию. Приютили в Союзе композиторов — взяли в курьеры. В приемной Хренникова стоял проигрыватель. По утрам, когда никого не было, ставил Чайковского и дирижировал. За этим странным занятием как-то застал Андрей Эшпай и на полном серьезе спросил: "Репетируешь?" Потом консерватория. Утром в класс Хачатуряна, вечером в архитектурный, в класс рисования. Там встретил Таню, ле-

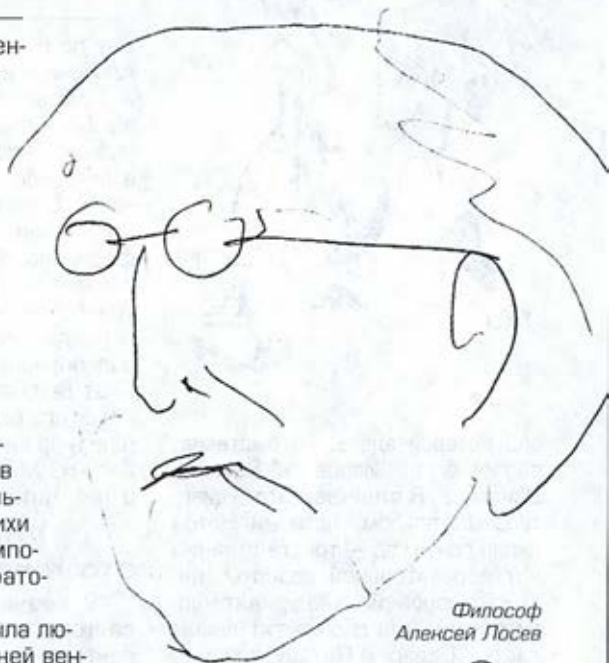
рился чувству: услышав в ростовских колоколах божественную музыку, отправился туда, где она звучит. В Москву приехал за полгода до экзаменов в консерваторию. Приютили в Союзе композиторов — взяли в курьеры. В приемной Хренникова стоял проигрыватель. По утрам, когда никого не было, ставил Чайковского и дирижировал. За этим странным занятием как-то застал Андрей Эшпай и на полном серьезе спросил: "Репетируешь?" Потом консерватория. Утром в класс Хачатуряна, вечером в архитектурный, в класс рисования. Там встретил Таню, ле-

нинградскую манекенщицу. Будучи в гостях у богатого друга, она забегала к художникам — попозировать из любви к искусству. Сманила Котова в Питер. Хотели выгнать из консерватории, но вмешался Хачатурян — перевели учиться в Ленинград. Оттуда, после защиты диплома, Котова увезла обратно в Москву поэтесса Ольга Седанова, на стихи которой молодой композитор написал ораторию...

— С Седановой была любовь до гроба. Мы с ней венчались. А потом я влюбился... в Китай. Сначала в китайский цирк, потом в маленькую китайку на улице — прозрачную, как стрекоза... И, конечно, в китайский рисунок — тушь на шелке, где ничего уже исправить нельзя, где художник, как сапер — не может ошибаться. Я сходил с ума: читал все подряд о Китае, изучал китайскую философию, взялся за иероглифы. И тут Седанова взорвалась. Поставила ультиматум: "Брось Китай — или я тебя брошу". В конце концов она меня бросила.

— И как теперь живетесь с Китаем?

— Благодаря ему, я стал нотографиком. Взгляни сюда, — Котов открывает книгу "Анализ музыки Вебера" и показывает страницу, на которой каждая нота будто нарисована — живет,



Философ
Алексей Лосев

дышит, сияет. — Это мой каллиграфический пример музыки Вебера, один из первых опытов. Эту страничку писал неделю.

С тех пор он "нарисовал" сорок (!) больших партитур — целую библиотеку произведений искуснейшей нотографики, обра-



Норридный бык



зец которой здесь, на выставке, являет балет "Исповедь" Эдисона Денисова. Я открываю этот удивительный альбом, который Котов писал почти год — триста страниц нот поразительной красоты, китайско-европейский вариант каллиграфии, и читаю на титульном листе: "Валерию Котову, тонкому умному музыканту и лучшему нотографу Европы. Эдисон Денисов".

Рядом, открытая нараспашку, лежит другая партитура. Разворот страниц, как арена: ноты, рассыпанные вокруг — зрители, а в центре — самый настоящий бык, весь в бандерильях. И до меня вдруг доходит — это же коррида!

— Да, это "Коррида", балет, написанный мной по мотивам серии моих рисунков: человек и бык. Меня самого удивило, когда ноты в музыкальной кульминации вдруг сошлись в фигуру быка.

— На этой выставке быки, словно загнанные, мечутся по залу, — замечаю я. — Почему именно такой образ?

— Я с юности бредил Испанией. В консерватории писал курсо-

вые по испанским композиторам Альбенису и Гранадосу, по Глинке и Римскому-Норсанову, привезшим из Испании потрясающую музыку: "Арагонскую хоту", "Ночь в Мадриде", "Испанское наприччио". Очевидцы рассказывают, что Глинка блестяще танцевал фламенко. Я в Испании не был, фламенко изучал по книгам, картинам, легендам. Так узнал, что коррида возникла на условиях равноправия человека и быка. Поэт Гарсиа Лорка наблюдал закат этого равенства. Мы же пришли к арене, залитой кровью животных. Музыка моей "Корриды" о том, что бык обречен.

"Работа — это молитва делом"

В жизни нередко встречаются люди, наделенные сонмом талантов. Как правило, они не реализуются — таланты мешают друг другу. Многогранность Котова, на мой взгляд, имеет некое таинственное сцепление. Музыкант и художник, живущие в нем, помогают друг другу разрушать стереотипы во имя сохранения архетипа — изначальной сущности творчества.

Израильский культурный центр заказал Котову увертюру к еврейским праздникам. Сочиняя ее, он выучил иврит.

Кто-то из новых богачей предложил Валерию сделать оригинальную композицию бильярдной. Создавая ее, он разыграл целиком всю бильярдную партию. 26 метровых графических листов свидетельствуют об этом поистине космическом сражении. Солнце в образе бильярдного шара под ударами ния рассыпается в брызги, обломки ния

разлетаются в бильярдном космосе, как кометы. Линии, круги, квадраты, треугольники мечутся в завораживающем геометрическом танце...

— И кто же тут победил?

— А побеждает всегда художник, — откликается Котов. — Потому что создает образ. Этот бильярд, эти точки, брызги, пятна — и есть вся наша жизнь.

— С каких пор ты считаешь себя художником?

— С того дня, как мне об этом сказал великий Шварцман. Михаил Матвеевич был первым, чей портрет я отважился написать.

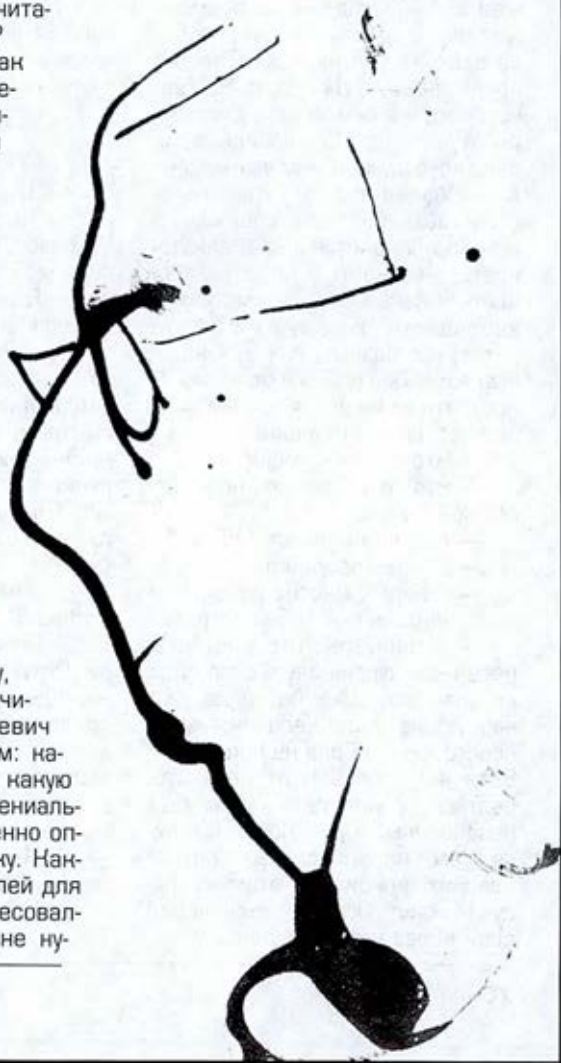
Я видел легендарную графику Шварцмана, но не знал его самого. И вот передо мной образ человека, за миниатюры которого, исполненные цветными карандашами, предлагались состояния.

— Такой концентрации человека и художника я больше никогда не встречал. Он был велик во всем, и я учился у него всему — даже тому, как он карандаш затачивает. Михаил Матвеевич все на свете делал сам: какую мебель он строил, какую одежду шил! Он был и гениальным экспертом: мгновенно определял любую подделку. Както я попросил у него клей для грунтовки. Он поинтересовался — какой именно мне ну-

жен. Оказалось, у него целая библиотека о клеях и красках. "Работа — это молитва делом", — говорил он.

На выставке десятки портретов. В том числе, известных лю-

Евгений Примаков



дей. Но, увидев их на портретах Котова, кажется, что вижу в первый раз. Будто, наконец, разглядел то, что раньше не замечал.

— Я рисую лица, которые меня волнуют. Даже Гитлера. С одной стороны — страшный человек, с другой — неудачник, с третьей — "человек толпы", — как точно заметил Ортега. Но вот я еду во Франкфурт по шоссе и мне говорят: этот асфальт положен в 1943 году — во времена Гитлера, с тех пор ни разу не было ремонта... А написав Гитлера, принимаюсь за Фридриха Ницше, которого и в самом деле боготворю. Александра Солженицына писал, не будучи с ним лично знаком. Удивительное лицо: непостижимым образом сошлись в нем черты крестьянина и аристократа, жесткость и доброта, зоркость и наивность, прагматизм и вдохновение. У меня 30 его портретов, все разные, как музыкальные вариации на одну мелодию. В портретном жанре я тот же композитор плюс интуиция.

— Что дает интуиция?

— Это те же знания, но на огромной скорости.

— А если не читал "ГУЛАГ"?

— Это невозможно.

— Говорят, многие известные люди заказывают тебе портреты.

— Я пишу тех, кто мне интересен как художнику. Такие лица не упускаю даже на улице. Нужен образ. Если человек — раб своего лица, образ не получится. Если же способен от него оторваться, полететь... Таким был незабвенный Юрий Лотман, я писал его на уникальных "лотмановских" лекциях; в этом же ряду Михаил Осокин, создавший свой образ на телеэкране.

Я гляжу на Владимира Путина. Написан 9 марта с телеэкрана, в тот день, когда стал премьер-министром.

— Я нарисовал его в пять минут, едва он появился на экране. Блаженное лицо, под которым таится растерянность. Образ человека, на которого нежданно-негаданно свалилась высшая власть.

А я невольно думаю о том, как не похож этот, с портрета художника (в полном смысле слова — человек!), на того, которого нынче тиражируют по всей стране.

Человек, стань птицей

— Кто-то сказал, что в портретах Котова есть "сатанизм". Чем, мол, иначе объяснить такое видение?

— Для меня сатанизм — когда человек плохо рисует. А все, что талантливо — только от Бога. Человек должен все делать талантливо: есть, двигаться, смотреть на солнце, на вещи, на друзей. Видел аристократов? Эти люди не думают — как себя вести, а мы любуемся ими. Талантливый человек — это аристократ духа.

— Чем же кормится этот аристократ?

— Почитай Григория Сковороду. Он утверждает, что человеку надо делать только то, к чему он сроден. Ведь все просто: занимайся тем, от чего получаешь удовольствие. Рисуй, если нравишься, и благодари Бога, что нужное сделал легким.

— Что самое важное в человеке, когда ты пишешь портрет?

— Степень его увлеченности. Сосредоточенность. Не люблю,

когда глаза бегают — как разлитое вино. Любое содержание должно быть в форме. Ощущать, что состоишь из Космоса. Ты сосуд, в котором есть все. И все это работает.

— А как ты относишься к женщине? На мой взгляд, именно женщина определяет состояние мужчины на данный момент. А порой и на всю жизнь. У тебя третья жена: после манекенщицы и поэтессы пришел и, кажется, насовсем, к физичке Маше.

— Более того, ради Маши сходил к патриарху и расторг свой церковный брак. Почему раньше венчался? Потому что уверен: запрет — очень важная вещь, когда его нет — человек растекается. И я начал было растекаться, но —

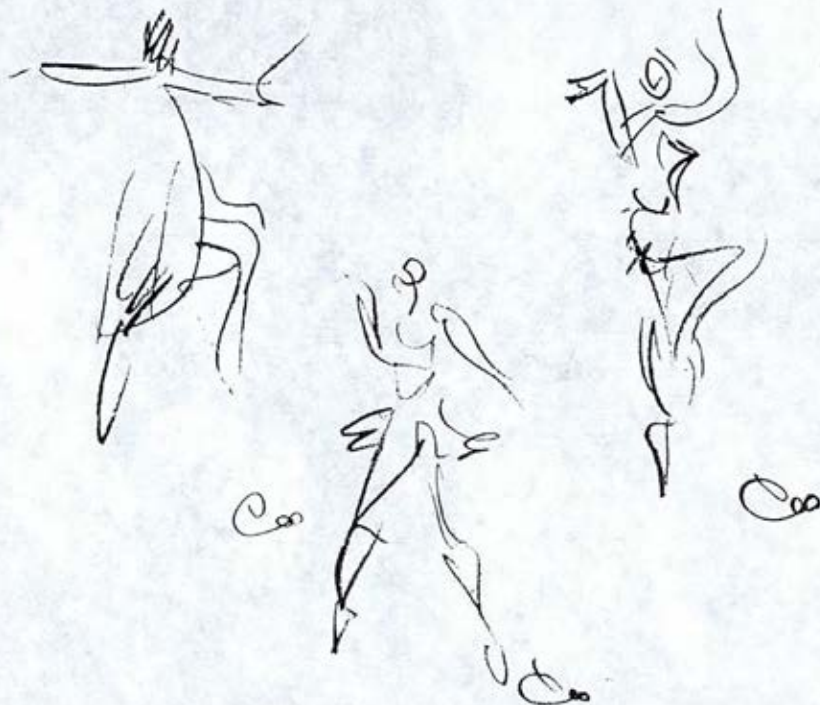
встретил Машу. С ней очень легко: десять лет живем, ничего не разъясняя друг другу. И опять Скворода: "Благодарю Бога, что нужное сделал легким". Это основной принцип любви. Жаль, что далеко не все так живут.

— Они знают об этом?

— Нет, не знают. Думают, что живут. Но не знают, что такое любовь. Любовь — это касание. Мы входим в старинный дом, ручка двери резная, очень красивая, сделана мастером, который любил свое дело. И эта любовь запечатлена навечно.

— Ты пишешь людей — и это от любви?

— Мы окружены любовью. Открой глаза — и увидишь. Мы окружены красотой... ■







Знак металургического завода, 1907.

Владимир Васильевич

русс



АНЮИ

Ирина
ОПИМАХ

удак и мистификатор Руссо создавал картины вне зависимости от царивших правил и стилей, так, как велело его собственное "я". Он выплеснул на холст яркие фантазии, выразил глубоко самобытное видение мира и сумел в творчестве обрести поразительную свободу.

История его жизни — во многом миф. Простой, малообразованный, ничем не выдающийся сорокалетний чиновник таможи (кстати, отсюда и его прозвище — Таможенник) вдруг становится одним из самых ярких художников Франции; он столь же гениальный, сколь и невежественный — открыватель нового направления в живописи! Судьба такого человека неизбежно должна была стать легендой.

Анри-Жюльен-Феликс Руссо родился 20 мая 1844 года в Лавале, главном городе департамента Майенн. О Руссо говорили, что он принадлежал к самому низшему сословию — крестьянскому. Однако на самом деле его отец, Жюльен Руссо, был жестянщиком. Семья обитала в доме у ворот Бешерес, сооруженных еще в XV веке и выходящих на соборную площадь Лавала. Здесь же, у ворот, находился их магазинчик и мастерская. Отец Руссо, по-видимому, был вполне зажиточным ремесленником. Потому что из воспоминаний Жанны Бернар, внучки Таможенника, можно узнать, что брат художника владел великолепными картинами, на которых изображены Жюльен Руссо, его жена и предки. Понятное дело, в первой половине XIX века позволить себе заказать такие портреты могли далеко не бедные люди.

Мать Руссо, Элеонора Гюйяр, — дочь капитана Жана Батиста Гюйяра, погибшего при покорении Алжира.

Анри Руссо — третий ребенок в семье; у него были две старших сестры, Мари и Элеонора, и младший брат, Жюль.

О детстве и юности Руссо известно мало. Когда ему исполнилось семь лет, дом, где он родился, пришлось продать, чтобы оплатить отцовские долги. Тем не менее родители смогли найти средства и определить Анри в лицей. Он слыл не очень прилежным

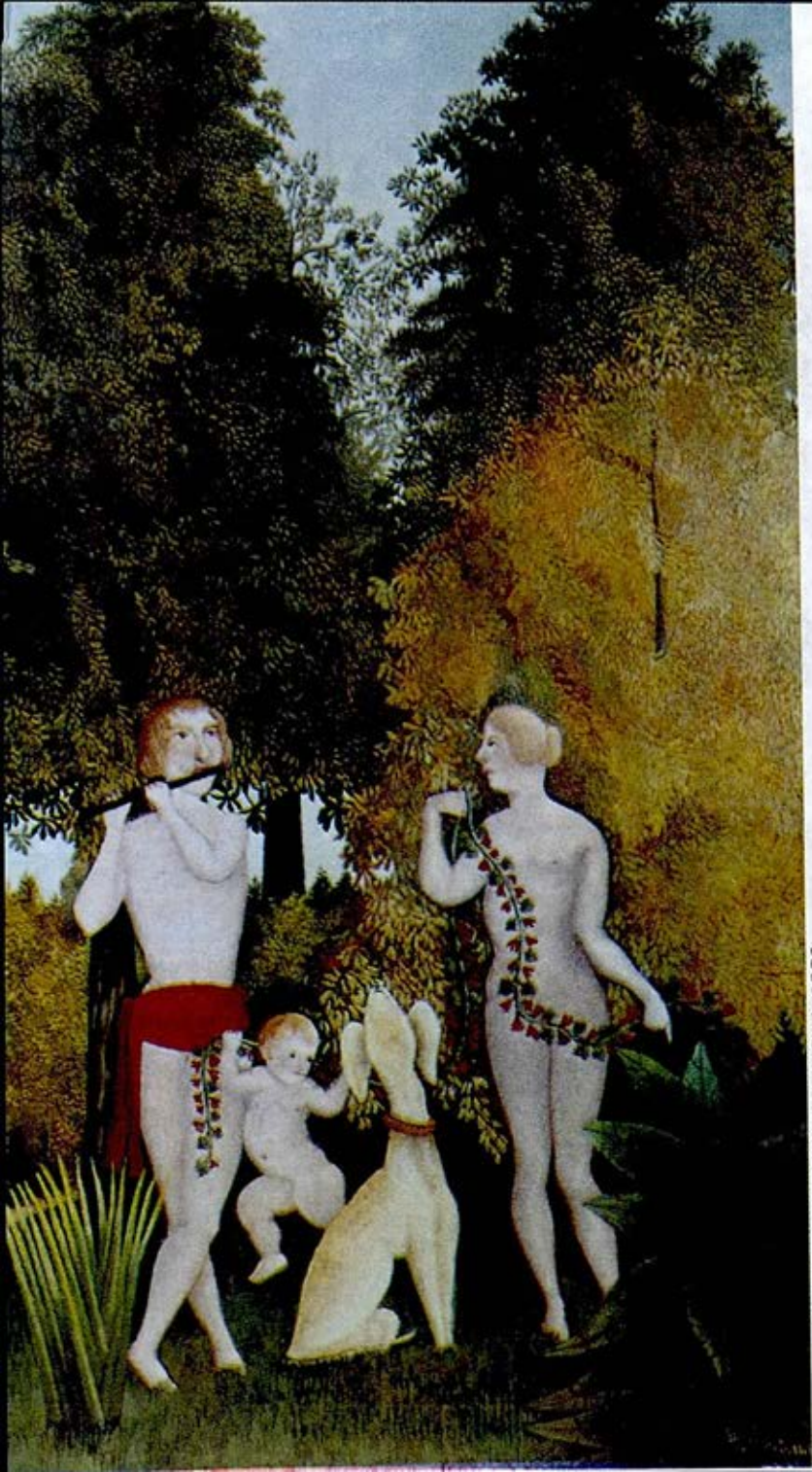




учеником, однако сумел отличиться в пении и арифметике. Проявлялись ли уже тогда его художественные способности? Очень может быть, но, как писал он в автобиографической справке, составленной спустя тридцать лет, “из-за отсутствия достаточного состояния у родителей был вынужден заниматься сперва не той карьерой, к которой меня влекла склонность к искусству”. Но молодой Анри точно знал, что жестяное ремесло не для него, и, порывая с семейной традицией, в 1864 году поступил в армию. Его зачислили в 52-й пехотный полк, где он приобщился к музыке, играя в военном оркестре.

Руссо отслужил четыре с половиной года, демобилизовавшись в 1868 году. Точно не известно, принимал ли он участие в мексиканской кампании — его воспоминания о непроходимых лесах Мексики и экзотических зверях появились, когда Руссо вошел в круг художников и литераторов, именно тогда он принялся рас-

Рыбак. 1909.



Счастливы́й кварта́т (Адам и Ева). 1902.



Дом в Паринском пригороде. 1902.

сказывать о своих военных приключениях. Скорее всего, это тоже часть легенды.

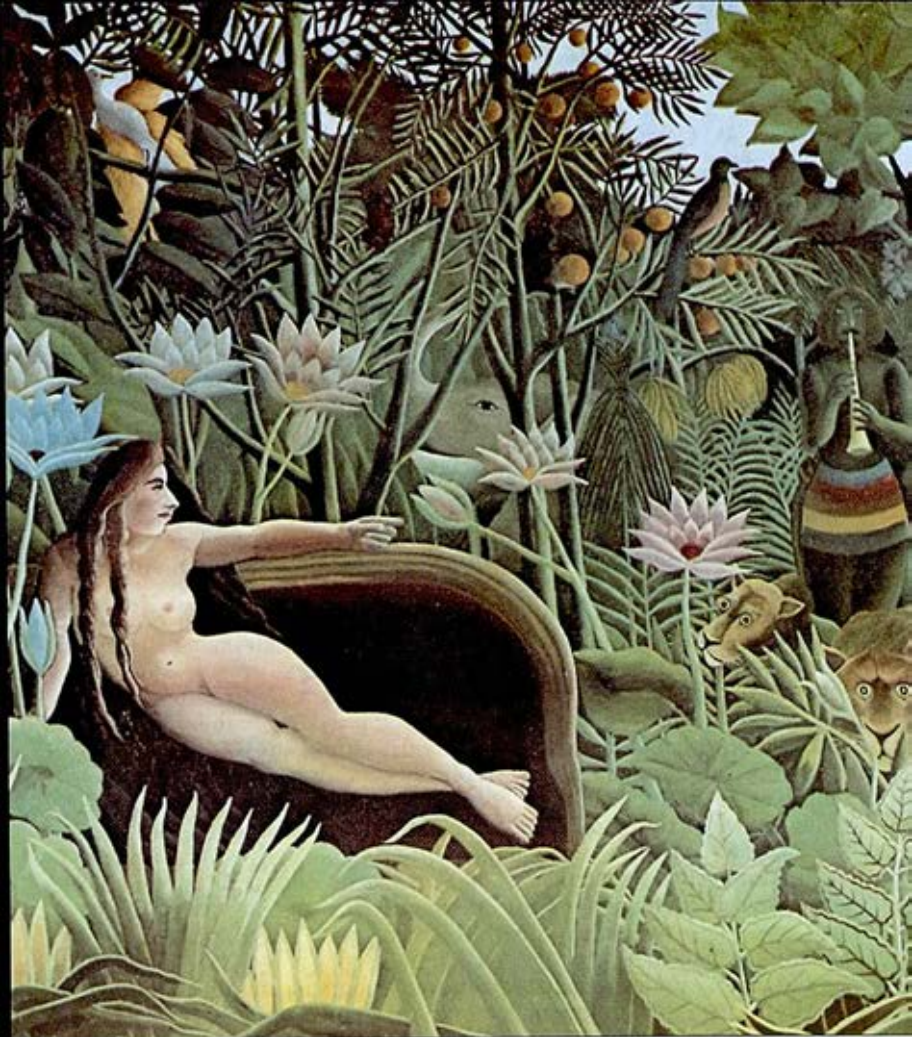
В 1869 году Руссо женился. Его избранницей стала Клеманс Буатар, дочка торговца мебелью. В честь молодой жены Руссо — недаром он считался в армии хорошим музыкантом — сочинил очаровательный вальс, который так и назвал — “Клеманс”. Дед Клеманс был родом из Праги, а в легендах о Руссо она превратилась в таинственную польку Ядвигу. На одной из своих последних картин “Сон Ядвиги” Руссо изобразил жену лежащей на диване посреди девственного леса, соединив на полотне два мифа своей жизни — загадочную Ядвигу и мексиканские дебри.

Уйдя из армии, Руссо нашел место клерка у судебного пристава. Работа ему не нравилась. “Нелегко было с его добрым сердцем заниматься наложением ареста на имущество несчастных людей”, — писала Жанна Бернар. И Руссо ушел, возможно, из-за душевной доброты, а скорее всего, как полагал его друг Максимилиан Готье, ему просто стало безумно скучно целыми днями корпеть над бумагами, просиживая штаны в пыльной конторе. И тогда кузен Клеманс, инспектор парижского налогового управления таможни, помог Руссо устроиться в это учреждение в качестве чиновника второго класса.

Во время франко-прусской войны Руссо — в армии. По окончании боевых действий ему вручили свидетельство о проявленном героизме.

Клеманс родила Руссо девять детей. Семеро умерли в раннем возрасте, сын дожил только до восемнадцати лет, осталась у Руссо одна дочь. Полагают, что причина страшных детских смертей — чахотка Клеманс, с которой врачи никак не могли справиться.

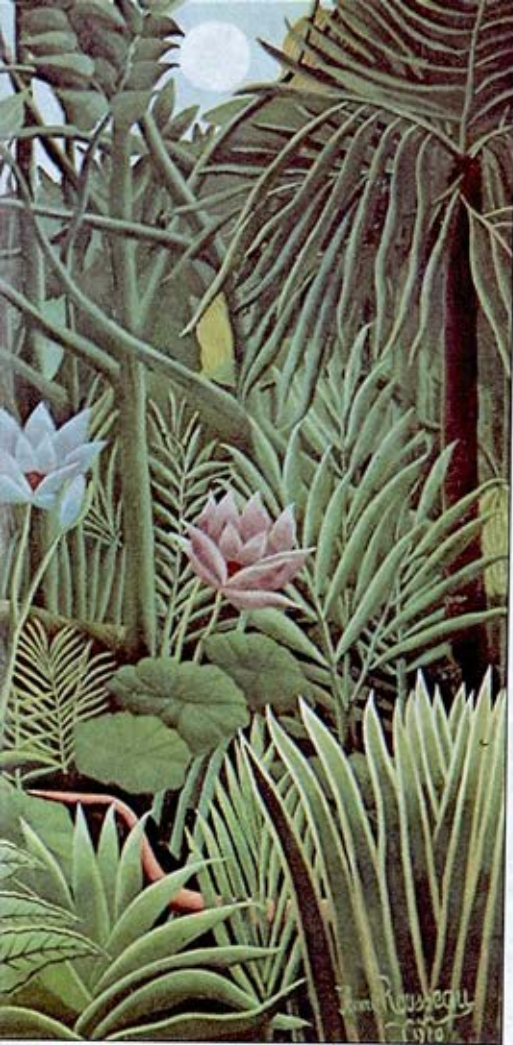
На службе Руссо прослыл странным, даже чудаковатым. Малообщительный, молчаливый, не реагирующий на шутки коллег, он был постоянным предметом розыгрышей. Так, однажды, на



Соч. 1910.

рынке сослуживцы установили среди винных бочек скелет, двигавшийся с помощью привязанных к костям веревок. Увидев скелет, Руссо окликнул его и очень вежливо предложил что-нибудь выпить. Над ним стали смеяться, а он признался, что верит в привидения, и рассказал о своих встречах с обитателями потустороннего мира.

Начальники Руссо тоже считали его простофилей и весьма недалеким человеком, которому нельзя поручить что-либо серьезное, поэтому у Руссо оказалось много свободного времени и тратил он его на рисование. Когда он по-настоящему увлекся живописью, сказать трудно, но его первые работы появились в 1880 году. Он не боялся обратиться за советом к известным в те времена париж-



ским художникам — Жерому, Бонна, Клеману. “Они рекомендовали мне продолжать занятия живописью, и я принялся за дело”, — вспоминал Руссо.

В сентябре 1884 года он получил удостоверение копииста, дающее право посещать галереи Лувра, Люксембургского дворца, Версаля и Сен-Жермена. Руссо много работает, и вот — победа — в 1885 году две его картины, “Итальянский танец” и “Закат”, выставлены в Салоне!

Специальное жюри Салона, занимавшееся отбором полотен, поддерживало традиционных академических живописцев, здесь царили официально признанные и довольно скучные художники. Конечно, картины самоучки Руссо посетителям выставки понравиться не могли. “Одну порезали ножиком, затем меня лишили надежды получить премию, в результате я выставил картины на выставке группы отверженных (на Салоне независимых), со-

стоявшейся в июне”, — писал Руссо в своем дневнике. Так Руссо окончательно оставил надежды пробиться в официальном Салоне и по совету Синьяка, которому работы Руссо понравились, примкнул к лагерю художников, создававших новое искусство, искусство нового времени.

Уже тогда в картинах Руссо чувствовалась рука зрелого мастера. Выставленное в Салоне независимых полотно “Карнавальная вечер”, доброе и удивительно поэтичное, стало одной из его лучших работ. Правда, картина вызвала у посетителей выставки неоднозначную реакцию — порой недоумение, а иногда и откровенный смех. Однако настоящие знатоки — среди них, кстати, были Синьяк, Писсарро, Гоген — оценили работы Руссо довольно высоко.



Спящая цыганка. 1897.

В 1888 году умерла Клеманс. Руссо остался один с двенадцатилетней дочерью. Врачи посоветовали отправить девочку в деревню, что он и сделал: отвез ее в Анжер, где жила семья его брата. Руссо очень скучал без дочери, и только занятия живописью могли отвлечь его от скорбных мыслей. «Они редко виделись, живо-



пись поглотила его целиком, — писала Жанна Бернар, — он верил в себя, в свое творчество, в то время как все родственники были настроены весьма скептически. В нашей семье понятие “художник” всегда связывалось с распущенностью”. И неслучайно в семье Руссо никогда не держали его картин.

После смерти жены Руссо уходит со службы. Теперь у него нет никаких обязательств, он предоставлен самому себе, свободен и может целиком отдаться искусству. Он получает небольшую пенсию, однако на эти деньги трудно жить, и приходится подрабатывать. Руссо дает уроки рисования и музыки, расписывает вывески, украшает витрины, иногда пишет портреты на заказ.

В те годы, когда публика насмехалась над картинами Руссо, Париж считался столицей европейской художественной культуры, центром нового искусства, с большим трудом пробивавшего себе дорогу в будущее. Многие художники, которыми мы сейчас так восхищаемся, и чьи работы занимают достойное место среди шедевров мирового искусства, считались полубезумными неудачниками, а их картины вызывали лишь ухмылки и издевательства. В 1894 году после смерти большого почитателя импрессионистов Кайотта его коллекция картин, завещанная государству, будет принята с чувством брезгливости, а сам факт ее принятия вызовет громкий скандал в обществе.

Теперь работы Руссо каждый год выставлялись в Салоне независимых. Однако публика не понимала, не чувствовала новизну и поразительную оригинальность его полотен. Он стал знаменитостью, но в его странных, красочных, словно нарисованных ребенком картинах люди видели лишь чудачество, неумение писать и с удовольствием потешались над ними. “У нас еще до сих пор стоят в ушах раскаты хохота, раздававшиеся у полотен Руссо, — писал критик Гюстав Кокио, сам высоко ценивший Руссо. — Его картины прятали от зрителей, комитет по развешиванию отправлял их в самые отдаленные уголки выставочного зала... Но, разумеется, шутники и балагуры, придя на выставку, тут же отправлялись на поиски холстов Руссо и, в конце концов, их обнаруживали — и тогда взрывы хохота сотрясали здание”.

Члены комитета, смущенные такой реакцией публики, стали подумывать даже о том, чтобы не выставлять его картины. Однако за художника вступился Тулуз-Лотрек, и публику решили не лишать удовольствия похихикать при взгляде на творения Руссо.

Он много работает, развивая свой особенный стиль, на первый взгляд, неуклюжий, но обладающий мощной выразительностью. В 1891 году Руссо пишет портрет писателя Пьера Лоти и первое экзотическое полотно — “Буря в джунглях”. В то время экзотика





входила в моду: Лоти в своих книгах воспевал заморские страны и морские путешествия, а Гоген отправился за впечатлениями в Океанию. Сам же Руссо, по-видимому, никогда не покидал пределов Франции. И то верно, чтобы писать джунгли, совсем не обязательно бывать там — важно иметь фантазию, а ее у Руссо хватало с избытком.

В 1893 году художник знакомится с писателем Альфредом Жарри, довольно забавным персонажем — истинный представитель парижской богемы, блестящий, остроумный, он страстно обожал всяческие розыгрыши; про него рассказывали разные истории, например, как он освободился от службы в армии, изобразив “раннее слабоумие”.

Встретились они на выставке независимых. Жарри, подойдя к картинам Руссо, выразил свое восхищение и тем самым тут же завоевал дружбу художника. Между ними не было ничего общего: Жарри — двадцать лет, Руссо — пятьдесят, Жарри — молодой,

Артиллеристы. 1893.

полный сил, веселый, любимец женщин, а Руссо — неуклюжий, неразговорчивый чудаков. Единственное, что их роднило — они оба из Лавала. И вот Жарри решил заняться продвижением Руссо. Вряд ли ему уж так нравились картины нового друга — скорее, его привлекла к себе сама личность художника, такого наивного простофили, рисовавшего странные, порой просто немыслимые картины, и, несмотря на насмешки, упрямо продолжавшего их выставлять. И Жарри решает — да ради Бога, пусть над этим мазилой все потешаются, зато я буду его превозносить до небес!

И он просит Руссо написать его портрет. Жарри позирует в окружении своих любимых “домочадцев” — совы и хамелеона. Руссо старается изо всех сил — для достижения сходства даже обмерил лицо модели. Картину выставили в Салоне независимых в 1893 году, а позже Жарри, на досуге любивший пострелять из револьвера, использовал ее в качестве мишени.

Благодаря Жарри, Руссо все больше превращается в фарсовую фигуру. Его картины приобретают для музеев “уродцев”, художника непрерывно разыгрывают, смеются над его доверчивостью и наивностью. Но при этом его искусство постепенно становится и предметом серьезных критических работ. О нем пишут в газетах: “Руссо исходит только из самого себя; он обладает редким по нынешним временам качеством — самобытностью. Он устремлен навстречу новому искусству”. О картине “Война, или всадница раздора” один из критиков отозвался так: “Какая одержимость! Какой кошмар! Какое тягостное ощущение неизбывной печали!”

Руссо продолжал искать дополнительные заработки — когда подворачивался случай, писал на заказ портреты. Иногда составлял документы и давал юридические советы людям, жившим по соседству, а то и играл на скрипке на углу своего дома. Руссо, по видимому, был действительно музыкально одарен, ведь недаром его взяли в оркестр, концертировавший в саду Тюильри. Кстати, в 1886 году Руссо наградили почетным дипломом Литературной и Музыкальной академии Франции за сочиненный им вальс. Правда, его соседи наверняка не испытывали к нему большого почтения. Впоследствии, когда в суде шло разбирательство его дела о мошенничестве, в полицейском отчете написали следующее: “Его нравственность и порядочность крайне сомнительны, довольно часто к нему приходят различные дамы, в обществе которых он кутит у себя дома”.

Одна из этих дам, и последняя — Розали-Жозефина Нури, вдова некоего Тансоре. Их отношения длятся не один год, но только 2 сентября 1899 года Руссо — ему тогда перевалило за пятьдесят пять — сочелся законным браком с мадам Нури, цветущей дамой сорока семи лет.

В марте 1890 года Руссо выставил в Салоне независимых свой автопортрет, который назвал “Автопортрет-пейзаж”. Он изобразил себя на фоне разукрашенного яркими флажками корабля, уважаемым художником, убеленным сединами, с пронизатель-

ным, все понимающим взглядом. На нем — рембрандтовский берет, в одной руке — палитра, в другой — кисть. На палитре два имени — Клеманс и Жозефина, имена его первой, умершей, жены и второй, будущей.

Чтобы поправить благосостояние, Руссо и Жозефина открыли лавочку канцелярских товаров. На ее стенах постоянно висели картины Руссо — художник надеялся найти покупателей на свои шедевры.

Он продолжает много писать, иногда и на заказ, выручая за свои работы небольшие суммы. В 1901 году выставил в Салоне независимых картину “Неприятный сюрприз”, вызвавшую восхищение Ренуара. “Какой прекрасный тон на полотне Руссо!.. Там, напротив охотника, обнаженная женщина. Уверен, она понравилась бы даже самому Энгру!”

Стоит сказать, что Руссо был всесторонне одаренным человеком. Он не только сочинял музыку, писал картины, его еще привлекали и литературные занятия, особенно драматургия. Уже первая его пьеса — смешной водевиль — свидетельствует, что чувство юмора ему отнюдь не чуждо. А в 1899 году написал в соавторстве с некоей дамой Барковски драму “Месть русской сироты”. Руссо предлагал свои пьесы театрам, но безуспешно. Однако прошло время, и в 1945 году в Париже поставили “Месть русской сироты”, а в 1947 его водевили опубликовали в Женеве.

В 1903 году Руссо снова овдовел.

А год спустя он показывает публике вторую из своих экзотических работ — “Нападение тигра на разведчиков”, и к нему, наконец, приходит настоящая слава.

Потом произведения в таком роде стали следовать одно за другим. В 1905 году Руссо выставляет на “Осеннем салоне” три картины. Он любит объяснять свои экзотические видения. Одна из работ, “Проголодавшийся тигр”, сопровождалась таким текстом: “Проголодавшийся тигр набрасывается на антилопу и пожирает ее; пантера с нетерпением ждет, когда и ей перепадет лакомый кусочек. Стервятники вырвали кусок плоти из несчастного животного, проливающего слезы. Солнце заходит”.

В тот год в “Осеннем салоне” участвовали Матисс и Дерен, Вламинк и Ван Донген — художники, которых позже назвали фовистами. И на их фоне Таможенник выглядел просто великолепно. Его критиковали, но о нем говорили! Руссо вызвал такой острый интерес, что популярнейший парижский журнал “Иллюстрасьон”, кстати, довольно враждебно относившийся к академическим художникам, опубликовал репродукцию “Проголодавшегося тигра”. Руссо становится знаменитым. В его небольшой квартире на улице Перрель теперь появляются художники, писатели, торговцы картинами. В 1906-1907 годах он знакомится с Пикассо и Максом Жакобом, Вламинком и Аполлинером. Критики пишут о нем длинные статьи и пытаются понять феномен его искусства. Им восторгаются. Но при этом и посмеивают-



Тропеза льва. 1907.

ся. Он им так симпатичен, хотя и мало понятен, что они придумывают его, сочиняют ему жизнь. Руссо становится героем легенды о талантливом и наивном художнике-самоучке из самого низшего сословия, достигшем высот искусства, по сути ничего не зная о живописи. (На самом деле все совсем не так — Руссо часто посещал Лувр, прекрасно знал искусство Возрождения, был знаком с творчеством современных французских художников, почитал Курбе и не любил только Матисса.) «Очевидно, было бы ошибкой считать, что Руссо — единственный творец своей легенды. У него были друзья, поэты, которые принялись приукрашивать его



картину под впечатлением рассказов матери художника Робера Делоне о ее путешествии в Индию. Вильгельм Уде, близкий друг Руссо, критик, впоследствии ставший знатоком искусства примитивистов, рассказывал, как художник выбирал тон для листьев. "Может, мне стоит для красоты сделать эти листья темнее, чем те? Как ты думаешь?" — спрашивал Таможенник своего друга, восхищавшегося его наивностью и простодушием. Таким Руссо и был. "Прямодушие, искренность, страсть и гений — видел ли кто-нибудь более красивый человеческий пейзаж?" — писал Уде.

реальную жизнь. Ты ведь пошел служить в армию в 1863-м? — говорили они. Но тогда ты не мог не участвовать в Мексиканской кампании! Признайся, ведь именно в Мексике ты видел этот девственный лес и голодного тигра, пожирающего антилопу?" — писал Максимилиан Готье. А Руссо, слушая такие разговоры, со временем и сам стал привирать — чтобы доставить собеседникам удовольствие.

В 1906 году Руссо приступил к большому полотну — "Заклинательница змей". Таможенник писал

Руссо входит в моду. К нему идут заказчики, появляются деньги. А работает он, как говорят, очень много — “с утра до вечера”, пишет Уде. Но никто из его новых друзей и не догадывается, что этот гениальный самоучка еще и мотается по всей Франции под вымышленными именами, раскручивая некую махинацию, и уже очень скоро полиция, раскрыв мошенничество, посадит его на скамью подсудимых.

В октябре 1907 года Руссо встретил своего старого друга Луи Соваже, чиновника отделения Банка Франции в городке Мо. И вот у Соваже возник преступный замысел, а в свои сообщники он почему-то выбрал Руссо. Соваже рассказал художнику, что некие мошенники, злоупотребив его доверием, похитили все его сбережения, и теперь он остался без гроша. Конечно, старый друг не откажется помочь. Но грабители — могущественные банкиры, поэтому, чтобы вернуть деньги, придется использовать чисто банковские приемы. Руссо с готовностью согласился.

От всей этой аферы Руссо не выиграл ни франка. Зато Соваже стал обладателем вполне приличной суммы. Как только банковские служащие обнаружили утечку денег, Банк Франции разослал по всей стране уведомления о мошенничестве. Следователи довольно быстро выяснили, что в дело замешан Руссо. 9 декабря полиция пришла в его квартиру с обыском. Его арестовывают. Руссо потрясен, что Соваже его так подставил, и во всем сознается, однако чистосердечное признание не спасает его от заточения в тюрьму. Соваже тоже арестован. Он по всем пунктам подтвердил слова Руссо и, к его чести, всячески старался выгородить друга. “Я не объяснил ему — говорил он, — что наносу ущерб Банку Франции, а дал лишь понять, что просто пытаюсь отомстить моим ростовщикам”.

Руссо не понимал, насколько серьезно его преступление — а ему грозила каторга! Через три дня после ареста пишет первое письмо следовательнице с просьбой выпустить его на свободу — ведь он должен продолжать писать картины! Руссо говорит, что он — известный на весь мир художник и всю жизнь работает, как проклятый, что он совсем не кутила, не мошенник, что всего лишь поддался влиянию Соваже по мягкости характера и душевной доброте.

Следователь, получающий все новые и новые письма, постепенно убеждается в его невиновности. Однако Руссо оказывается в своем доме только 31 декабря — его временно освобождают из-под стражи.

Расследование дела продолжается, а художник возвращается к своим обычным занятиям. В 1908 году он выставил новую картину в Салоне независимых — “Игроки в футбол”. Кроме того, открыл курсы, где преподает студентам различные искусства. Теперь на двери его квартиры висит табличка: “Уроки сольфеджио, игры на скрипке и кларнете. Декламация. Академия рисунка и живописи”. В одной из типографий печатается специальный про-

Портрет-пейзаж. 1890.



спект. Там можно прочесть: “Анри Руссо, преподаватель Филотехнических курсов Парижа, проживающий по адресу: ул. Перрель, 2-бис. Прием учеников будет ограничен, так как преподаватель стремится к быстрому успеху... Плата за обучение — 8 франков в месяц. Родители могут присутствовать на уроках с детьми...”

По-видимому, Руссо оказался неплохим преподавателем, и очень быстро его курсы становятся популярными. Среди учеников — дети булочника, бакалейщика, хозяйки молочной лавки, а также “старые маразматика, которые рисовали целыми днями, сидя возле добродушного патрона”, как писал А. Баслер.

Руссо теперь устраивает у себя дома литературно-художественные вечера, куда приглашает учеников, их родителей, знакомых художников и литераторов. И каждый раз пишет специальные программки. Первым номером всегда шло исполнение “Марсельезы”. Затем кто-нибудь из мальчиков декламировал стихи, девочки танцевали, а потом сам маэстро брал в руки скрипку и играл что-то свое любимое. На таких вечерах бывали и торговцы с улицы Перрель, и Пикассо, Аполлинер, Макс Жакоб и многие другие представители литературных и артистических кругов Парижа того времени.

Однажды Пикассо обнаружил у хозяина лавочки подержанных вещей на улице Мартир картину Руссо “Портрет женщины” и купил ее за совершенно смешную цену — пять франков (кстати, тогда сам великий испанец продавал свои рисунки по франку за лист). Этот счастливый случай натолкнул его на мысль устроить в честь Руссо большой банкет у себя в мастерской — в известном “Бато-Лануар”, в “Плавучей прачечной”, где кроме Пикассо снимали комнаты Хуан Грис, Ван Донген, писатели Макс Жакоб, Андре Сальмон и многие другие талантливые художники и литераторы, приехавшие за славой и успехом в Париж, эту мировую столицу искусства. Тот вечер стал яркой иллюстрацией жизни парижской богемы начала XX века и надолго запомнился всем, принимавшим в нем участие.

Вряд ли устроителями банкета двигало желание выразить Руссо свое почтение и уважение. “Эта идея привела всю нашу компанию в восторг, ведь представлялась отличная возможность разыграть Таможенника!” — писала Фернанда Оливье, тогдашняя подруга Пикассо.

Мастерскую Пикассо украсили гирляндами, а в глубине комнаты, напротив большого окна, поставили трон — стул на ящике. Трон предназначался для виновника торжества. Сверху на стене висел лозунг — “Честь и слава Руссо!” Напротив — та самая картина Руссо, которую Пикассо так дешево купил. Гости — литераторы, критики, художники и коллекционеры — некоторые даже приехали специально из Нью-Йорка, Сан-Франциско и Гамбурга, расселись за стол — длинную доску, уставленную на козлах.



И вот раздался стук в дверь — сначала робкий, потом более сильный. Дверь открыли, и на пороге показался Руссо — в мягкой шляпе, с тростью в правой руке и скрипкой в левой. Он огляделся по сторонам, и все увиденное привело его в полнейший восторг.

Публика ждала ужина, но его все не приносили — оказалось, что Пикассо ошибся, и заказал все на следующий день. Гости отравились покупать еду. Несмотря ни на что, хорошее настроение не покидало Руссо. Постепенно приглашенные стали возвращаться, груженные продуктами. Не забыли, конечно, и о напитках. Вскоре всеми овладело неудержимое веселье. Морис Кремниц встал на стул и спел песню в честь Руссо.

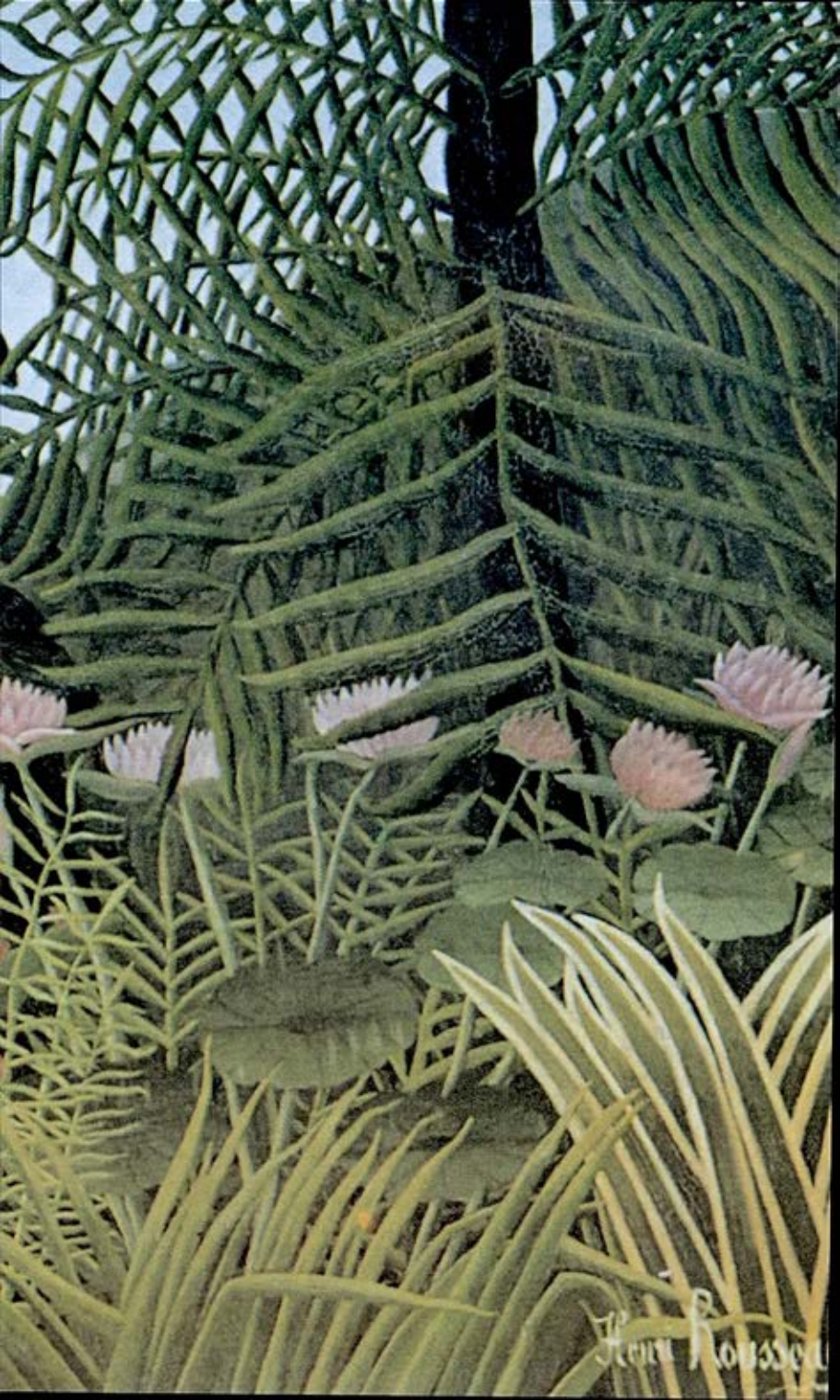
А потом и сам Руссо взял в руки скрипку и исполнил пару своих пьесок, а когда гости пожелали танцевать, заиграл вальс “Клеманс”. Вдохновленный происходящим, Аполлинер экспромтом сочинил длинную оду в честь художника.

Публика всячески развлекалась — все непрестанно говорили, ели, пили, танцевали, пели. Руссо, не выдержав столь мощного потока положительных эмоций, тихонько заснул, сидя на своем троне. Трудно описать, как закончилась эта вечеринка, известно только, что один гость, датчанин, проблуждав по “Плавучей прачечной” больше суток, попал к Пикассо снова как раз тогда, когда лавочник принес заказанный ужин, и славно подкрепился.

Нолландия галереи Нью-Йорк. 1908.



Нападение ягуара на негра. 1910.



Henri Rousseau

В октябре 1908 года Руссо приступил к большому портрету Аполлинера, известному под названием “Муза и поэт”. Он тщательно обмерил нос, рот, лоб и руки поэта, а чтобы Аполлинер не скучал во время сеанса, пел ему смешные песенки.

Руссо работал и жил в своей мастерской. Когда ему говорили — наверное, здесь спать не совсем удобно, он с изумительной, какой-то детской наивностью, отвечал: “Понимаешь, проснувшись, я могу улыбнуться моим картинам”.

В начале 1909 года Руссо и Соваже должны были явиться перед судом присяжных. Адвокат Гилерме, защищавший Руссо, собирался построить речь, представив своего клиента как поразительно доверчивого и не совсем нормального человека. Сам Таможенник не переставал подбрасывать свидетельства своего слабумия. Так, про него рассказывали, что когда его попросили позвонить по телефону, он вдруг стал орать как безумный. “Зачем вы так кричите? — спросили его. “Но ведь люди, с которыми я разговариваю, так далеко отсюда!” — объяснил Руссо. Правда, иногда опытный адвокат задумывался, а не мистифицирует ли всех художник?

И вот 9 января начался суд. Журналисты приготовились хорошо посмеяться над старым чудаковатым художником. Свидетели со стороны адвоката, друзья Руссо, ярко выступили в защиту художника, а один из них, Максимилиан Люс, даже представил присяжным и публике картину Руссо “Веселые шутники”, как доказательство его гениальности. Но в газетах появились заметки, что его картины даже хуже детских рисунков, что его пора посадить в сумасшедший дом. Адвокат же утверждал, что Руссо — один из талантливейших художников Франции, а в заключение своей речи сказал: “Господа, верните Руссо, этого необыкновенного человека, искусству!” Таможенник, которому речь явно понравилась, повернувшись к Гилерме, спросил: “Теперь, когда ты закончил, я могу идти домой?”, что, естественно, вызвало бурную реакцию собравшихся в зале.

Суд признал Руссо и Соваже виновными в подлоге. Соваже приговорили к пяти годам заключения и штрафу в размере 100 франков, а Руссо — к двум годам тюрьмы и такому же штрафу. Однако суд разрешил Руссо воспользоваться законом об отсрочке наказания, на что тот тут же откликнулся с благодарностью: “Благодарю Вас, господин судья. Спасибо! Я нарисую портрет вашей супруги!”. Так закончилось судебное заседание.

В 1909 году Руссо снова влюбился. Теперь его избранницей стала продавщица, 54-летняя вдова Эжени-Леони. Он очень трогательно ухаживает — дарит цветы, проводит с ней много времени, даже, по словам Делоне, спит у нее под дверью, не в силах уйти от своей прелестницы. Отец красавицы, тоже бывший чиновник таможи, дает ему понять, что Руссо, малюющий странные картины, да еще судимый, не годится в мужья его дочери. Тогда Руссо просит своих друзей написать бумагу, в которой бы удосто-

верялась его добропорядочность. Такие документы ему с удовольствием предоставляют Аполлинер, Воляр и Уде, но ничего не помогает. И Руссо отваживается на последнее средство — пишет завещание в пользу своей Леони, оставляет ей все свое имущество — деньги, драгоценности, картины. Однако подпись и дату предусмотрительно не ставит.

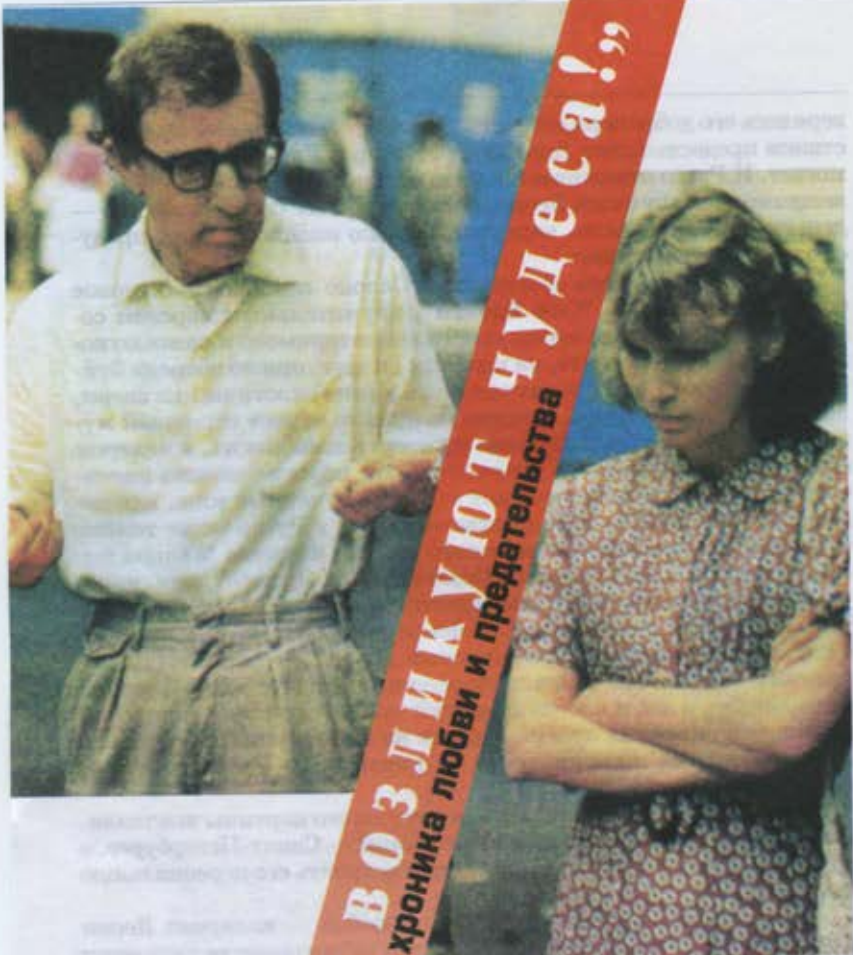
В 1910 году Руссо выставил в Салоне независимых новое большое полотно — “Сон Ядвиги”, изумительным образом соединив самые разные черты своего неповторимого и самобытного стиля. В лунном свете, на красном диване, прямо посреди буйного леса, в котором бродят какие-то дикие экзотические звери, лежит нагая женщина, а рядом на флейте играет странный музыкант. Картина поразительно красива и живописна, и недаром считается вершиной его творчества. На полотне можно насчитать более пятидесяти оттенков зеленого, а черные тона, как отмечал Гоген, просто неподражаемы. Цвет у Руссо — не только средство, но элемент поэтического языка, недаром Мальро писал, что в Руссо есть что-то от Верлена. “Сон Ядвиги”, как, впрочем, и все произведения Таможенника, вызвал массу вопросов. Так, например, посетители Салона спрашивали, каким образом в глухом лесу мог оказаться красный диван? Руссо объяснял поразному — однажды сказал, что женщина спит у себя в доме, на этом диване, а лес и все остальное ей просто снится. А как-то заметил, что поместил красный диван на картину исключительно из соображений живописности — диван ярко красного цвета, ведь так красиво!

Слава Таможенника крепнет, и вот уже его картины выставляются за рубежом — сначала в Риме, потом — Санкт-Петербурге, а одна нью-йоркская галерея планирует устроить его персональную выставку.

Сама же знаменитость страдает от любви — коварная Леони по-прежнему не допускает его к себе. Он забрасывает ее письмами и делится переживаниями с друзьями.

В конце августа 1910 года Руссо поранил ногу. Поначалу он не обращал на рану внимания, а она стала гноиться. Началась гангрена. Когда его положили в больницу, было уже поздно. Адвокат Гилерме, и после суда продолжавший общаться с Руссо, рассказывал, что в последние дни своей жизни Руссо словно скинул маску простоватого наивного чудака, и все увидели, что Руссо — значительная, глубокая личность. А не ломал ли Руссо комедию, дурача всех нас? — задумывался мсье Гилерме.

Руссо умер 2 сентября 1910 года. На шестьдесят шестом году. Похоронили художника 4 сентября в общей могиле на кладбище Банье. О смерти Руссо сообщили всего нескольким друзьям, и за его гробом шли лишь семь человек (среди них — Синьяк). Через полтора года Кеваль и Делоне взяли в аренду на 30 лет место его захоронения и установили надгробный камень с эпитафией Аполлинера.



“Да возликуют чудеса!”
хроника любви и предательства

Наталья ДРОБОТЬКО

В три года она уже сидела на съемочной площадке на руках у голливудской знаменитости Джона Уэйна, расправляя нарядное платье, чтобы из-под него не виднелись трусики...

В восемнадцать — Сальвадор Дали поил ее ароматным лике-

ром “Мирабель”, кормил мотыльковыми крылышками и, обрушивая барьеры ее сознания, дарил “куски луны” и вещи, еще более немислимые....

Вместе с Полом Маккартни и Джоном Ленноном она постигала тайны трансцендентальной медитации в Индии...

А в Америке снималась у культового режиссера Романа Полански в его скандально-нашумевшем фильме "Ребенок Розмари"...

А еще.... ее любили Фрэнк Синатра и Андре Превин... И предал Вуди Аллен.

Бывают дни, которые могут перевернуть всю жизнь. И никто не подснажет, как жить дальше. И тогда, словно канатоходец, начинаешь медленно двигаться вперед, мысленно держа в руках спасительный шест равновесия... шаг за шагом, шаг за шагом, лишь бы не оступиться.

О, это смятение чувств, эта горечь, оседающая куда-то на самое дно... Все напоминало какой-то дурной сон. Но пробуждения не было. Была реальность, выступавшая все отчетливее, как спадающая дымка предрассветного тумана. Впереди ожидало самое неприятное... предстоял разговор с мужем.

Подойдя к телефону, Миа набрала номер, превозмогая противную дрожь в руках. И когда услышала собственный голос, он показался ей чужим: "Приезжай немедленно".

Потом она села, стараясь справиться с мыслями. Фотографии все еще лежали на камине. Их положили так, чтобы она могла их заметить. Это были снимки обнаженной Сун-И, ее дочери. Квартира принадлежала ее мужу — Вуди Аллену, и никто из посторонних зайти не мог. Зная, что сегодня заедет Миа, он оставил их на видном месте. Оплошности быть не могло, ведь Вуди терпеть не мог беспорядка.

"Наное гадное сегодня число, — подумала Миа, — 13 января". И

книга, которую она машинально взяла с полки несколько минут назад, по иронии судьбы, имела провидческое название: "Дурная натура человека".

Она не знала, сколько времени прошло, может быть, впала в забытье от перенесенного стресса, но когда подняла глаза, на пороге уже стоял Вуди Аллен. У него было время подготовиться к разговору. И он выпалил сразу то, о чем думал в последние часы.

— Я люблю Сун-И, — сказал он. — Я хочу на ней жениться.

— Забирай ее и уходите оба, — выдавила Миа машинально.

Но Аллена на большее не хватило. Мужество оставило его. Теперь он казался растерянным и даже жалким.

— Подожди, — сказал он. — Я так думал, пока ехал в машине.... В действительности, я хочу вовсе не этого...

Он начал путаться. И правда, ведь не каждый день на его долю выпадал подобный разговор. Это на съемочной площадке он мог менять реплики у актеров, переигрывать сцены. Но сейчас, в этой комнате, происходило нечто иное, реальное. Он и она. И это не было кино.

— А ведь я верила тебе. И не думала, что когда-нибудь ты станешь покушаться на моих детей, — произнесла она. По ее щекам потекли слезы.

Где-то в глубине души Миа отметила, что он не уходит. Если бы хотел, ушел бы сразу. Вместо этого он принялся ходить по комнате, описывая какие-то немыслимые круги.

— Мне плохо, — говорил он нервно и очень быстро. — Но я люблю тебя. Я скажу Сун-И, чтобы она на

меня не рассчитывала. Я обещаю: отныне ты не найдешь человека, более преданного тебе, чем я.

Он то и дело повторял эту мысль, в разных интерпретациях, переставляя слова и фразы. Вдруг он подошел совсем близко, наклонился и стал ловить губами ее слезы, целуя и баюкая, как мать баюкает ребенка, плачущего от обиды после резкого, сорвавшегося с ее руки, шлепка.

Позади были 12 лет жизни, 13 фильмов и, конечно, дети... Сама того не осознавая, Миа начала всхлипывать, отвечая на его поцелуи. Бежали минуты, но никто не брался нарушить это неожиданно наступившее равновесие сил. И все же она первая пришла в себя и уговорила его уйти. Он опять стал что-то бормотать в оправдание: говорил, когда выходил за дверь, когда распахнулись двери лифта и даже тогда, когда кабина заскользила вниз.

"Я не могла вырвать его из своей жизни, — скажет потом Миа, — и в то же время не могла его больше видеть".

Переступив порог собственного дома, она нашла в себе силы передать Сун-И следующие слова: "Скажите ей, что я по-прежнему ее люблю. Ей нужно это знать".

Ей хотелось защитить дочь от того, что предстояло пережить им троим. Материнский инстинкт взял вверх над эмоциями.

Воспоминания приходят ночью

Она лежала, устремив глаза в потолок: мысли то уходили, то вновь возвращались. Она уже и сама не знала, что труднее пережить ей: ночь или день. Потому что Вуди теперь повадился звонить по но-

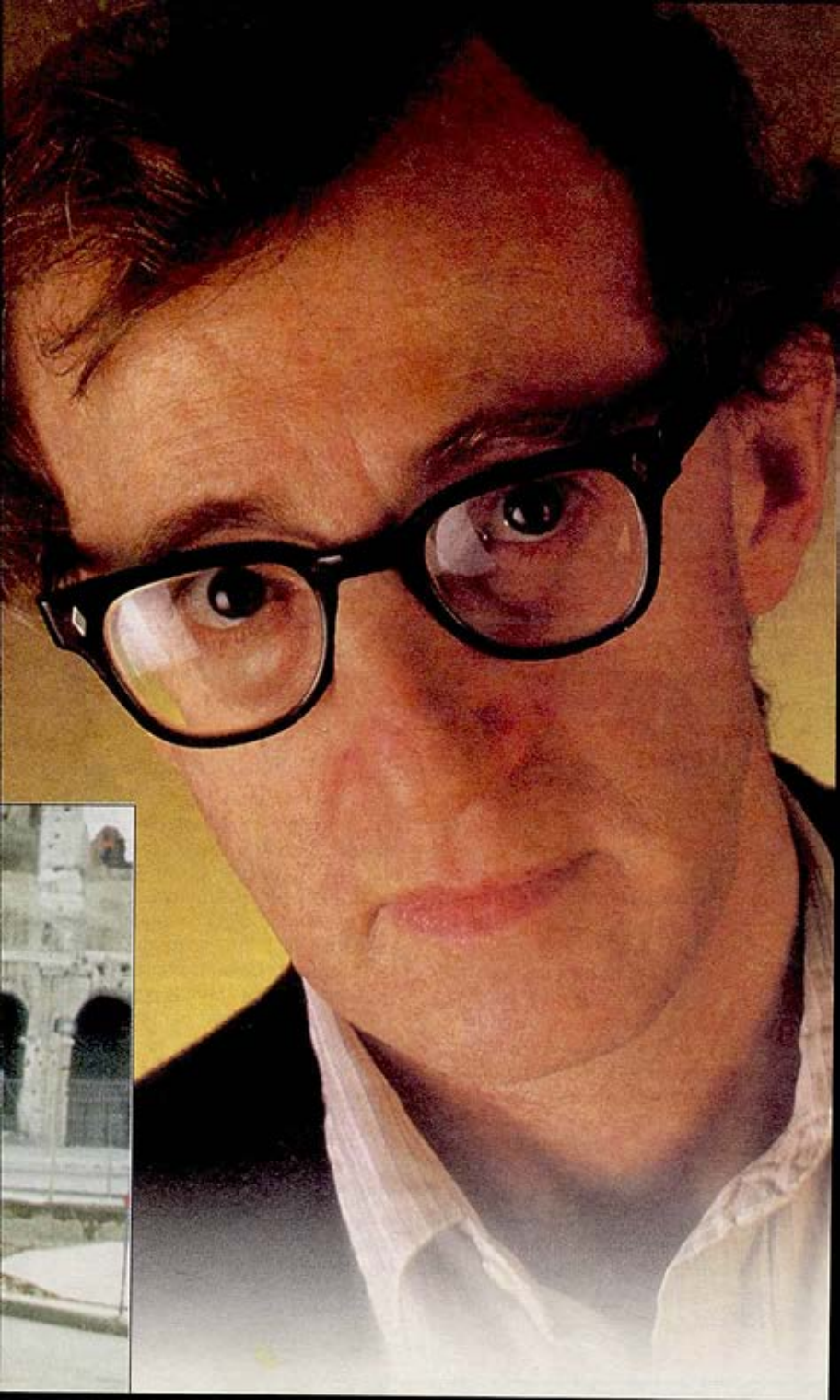
чам. По несколько раз, и выдержать это было невозможно.

Сегодня она отключила телефон. Ей надо было, наконец, принять решение... Но прежде... И вдруг, как на экране, замелькали перед ней кадры хроники, сценария ее жизни, написанного чьей-то неведомой рукой.

... Ее настоящее имя — Мария де Лурд Вийе Фэрроу. Она родилась 9 февраля 1945 года, в Лос-Анджелесе. Детские годы прошли в роскошном доме на Беверли-Хиллз, где в самом центре двора красовался зеркальный пруд с плавающими в нем золотистыми рыбками. Дом был окружен садом, взрывающимся от обилия красок: апельсини, лимоны, оливы, магнолии и множество цветочных клумб.

Родители Миа были знамениты и очень красивы. Ее мать, кинозвезда Морин О'Салливан, сыграла в шумевшем сериале "Тарзан", который после выхода на экраны превзошел ожидания даже





самых опытных продюсеров, побив все рекорды популярности.

Присутствие мамы всегда внушало ей ощущение безопасности и счастья. Она ловила благоухающие ароматы ее духов, вслушивалась в шорох ее изысканных, шелестящих нарядов. Отец Миа в юности много путешествовал. Потом стал писать книги, сценарии для Голливуда, и очень в этом преуспел.

Кроме Миа в семье подрастало еще шестеро малышей, для которых родители устраивали всякого рода развлечения: с клоунами, фокусниками, пряничными доминками и маленькими пони. А как было весело, когда по улицам Беверли-Хиллз проезжали автобусы с туристами, которые буквально вываливались из окон, стараясь рассмотреть голливудских знаменитостей. Детей это очень забавляло. Обмазав себя кетчупом, они вопили что есть мочи, изображая популярные вестерны.

А потом пришли другие воспоминания. И она словно услышала собственный голос.

"... Мне было одиннадцать лет, когда я впервые увидела Фрэнна Синатру. В тот день мы с отцом обедали в ресторане, и Фрэнк, подойдя к столику, отвесил мне какой-то комплимент. Кто мог подумать, что спустя восемь лет произойдет еще одна наша встреча, которая изменит мою жизнь.

Я уже снималась в маленьких ролях на киностудии, когда однажды почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Так мы познакомились с Фрэнком еще раз. На первое свидание он прислал за мной самолет, доставивший меня на его виллу. Я предстала перед ним в соломенной шляпке, с моим любимым нотом, которого держа-

ла под мышкой, и кошачьим обедом — двумя бутылочками детского питания.

Мне было 19 лет, и я еще ни разу не ложилась в постель с мужчиной. У меня и романов-то не было. И когда я впервые почувствовала себя в объятиях Фрэнна... все во мне вдруг "слилось в молчание за пределами слов.

Наш роман восприняли по-разному. Больше частью нам приходилось скрываться от "папарацци". Еще бы, ведь Синатре стукнуло уже 50, а мне было всего 19. Если учесть мой небольшой рост (метр шестьдесят) и вес — до сорока килограммов, то я походила, скорее, на его дочь.

К тому же в памяти многих еще свежи были безумные сцены ревности, которые он занатывал Аве Гарднер. Что греха таить, он сильно любил ее и называл единственной женщиной, способной довести его до отчаяния. Ава навсегда разбила его сердце. После разрыва Фрэнк долго искал утешения среди голливудских красоток, но выбор его пал почему-то на меня.

Многие восприняли наш брак как очередное чудачество Фрэнка. Да и я в свои двадцать еще мало что понимала. К примеру, бриллианты, которые он дарил мне в огромном количестве, вызывали у меня только уныние. Из всех украшений я предпочитала деревянные бусы.





Все кончилось спустя 16 месяцев. В один из дней я неожиданно получила по почте конверт, в котором меня уведомили, что Фрэнк подал на развод. Я догадалась, причиной явился мой отказ приехать и участвовать с ним в съемках фильма "Детектив" (но в это время я сама снималась у Романа Полански и не могла оставить группу). Что ж, почти по Шекспиру (с точностью наоборот). Потому что "дикая кошка Катерина" не примчалась по первому зову мужа. А Фрэнк этого терпеть не мог.

Я была зеленым, незрелым подростком, когда вошла в жизнь Фрэнка. Он ввел меня в свой непро-

стой мир и я по-настоящему прилепилась к нему. Возвращение обратно, в пустоту, казалось мне ужасным. Я не представляла себе будущего. Что мне оставалось делать? Изменить имя? Выдрать волосы? Растолстеть? Переехать в другой штат? И тогда я выбрала точку на карте: мой путь лежал в Индию.

Я провела в Индии несколько месяцев, постигая тайны медитации под руководством знаменитого гуру. Сюда же приехала группа "Beatles". Мы подружились, и вечерами я слушала их замечательные импровизации.

Вернувшись в Америку, я встретила с Фрэнком, и мы провели

ночь. Мы старались скрепить наши отношения непрочными обещаниями, но у нас так ничего и не вышло. В августе 1968 года мы развелись. Этот день отдавал чем-то вороватым и тошнотворным.

Когда из-за превратностей судьбы мне приходилось несколько раз снатываться на краешек пропасти... именно тогда приходили в действие великие силы моей жизни. И волей-неволей верилось, что явятся мне новые берега.

"Да возликуют чудеса", — говорила я себе.

Андре

Так и случилось. В мою жизнь скоро вошел другой человек, не менее талантливый. И вновь в моем доме зазвучала музыка. Андре Превин был серьезным музыкантом, дирижером, композитором. С ним я впервые ощутила радость материнства: у нас появились дети, сначала близнецы — Мэттью и Саша, а затем Флетчер. Но, видимо, прав был мой отец, когда говорил: "Ну где же ты, Миа, видела счастливую актрису?"

Постоянные гастроли моего мужа вскоре поставили наш брак под угрозу. И... наступил час, когда мне самой пришлось зарабатывать на жизнь в тоскливом свете повседневности. Мне опять предстояло начать жизнь сначала, но эта моя сегодняшняя жизнь отличалась от прошлой: я, увы, уже не была подростком, уютно расположившимся под маминым крылышком, меня не опекала киностудия, не ожидали посланные Фрэнком самолет и лимузин. Даже Андре больше не скрашивал вечера своей музыкой.

Второй раз в жизни я, собрав волю в кулак, подписывала документы о расторжении брака.

Сун-И

Вот тогда-то я впервые обратила свое сердце к тем, кто нуждался в утешении. Я взяла на воспитание троих детей. Одной из них была кореянка Сун-И.

Ее подобрали на одной из улиц Сеула. На вид ей было лет пять, но она почти не говорила. Бритоголовая, с болячками на губах — такой я увидела ее впервые на фотографии, присланной из корейского приюта. Я полетела в Сеул.

Хорошо помню тот день, когда я купила для нее два прелестных платьица и полосатую ночную рубашечку. Прежде она никогда не видела таких красивых вещей и даже не представляла, как же развязать эту цветастую ленточку, которой были перевязаны подарки.

Я прижала ее к себе и услышала, как бьется ее сердце. Громко и часто... Так бьется оно у перепуганных котят. Вся усталость, связанная с перелетом, все формальности, все отошло куда-то прочь. У меня появилось чувство, что она, моя дочь, ждала меня здесь, в Сеуле..

Мы вернулись в Нью-Йорк. Прошло немало времени, прежде чем она привыкла к зеркалам, вращающимся дверям, коврам и еще многим-многим вещам, о существовании которых она не подозревала. Все, что ей нравилось: скрепки для бумаг, обертки от жвачек — она попросту прятала в трусы. Терпеливо, день ото дня, я занималась Сун-И, вселяя в нее чувство уверенности.

Образ жизни, который я отныне вела, скорее походил на затворничество. Отыграв в вечернем спектакле на Бродвее главную роль, я спешила домой, чтобы броситься на постель и поскорее уснуть. Ведь уже в семь утра надо было подниматься и тормозить старших детей, отправляя их в школу.

Лишь изредка я позволяла себе немного расслабиться: выпить и поболтать с подругой, поужинать с друзьями. "Да возликуют чюдеса"... — молила я.

Признаться откровенно, в тот вечер я не испытывала особого желания встретиться с Майклом Нейном в фешенебельном ресторане "Элайн", где нас должен был ждать Мик Джаггер. Была среда, и будь моя воля, я бы с радостью завалилась с книжкой в постель. Но Майкл был неумолим. И я сдаюсь".

"Мне казалось, что мы всегда будем вместе"

... Осенним вечером 1979 года именно здесь и произошла встреча Миа Фэрроу и Вуди Аллена. В общем-то, ничего грандиозного не произошло. Не упало небо, не разверзлась земля. Просто встретились двое, посмотрели друг другу в глаза и подняли бокалы с вином "Шато-Мутон Ротшильд"... Ей было 34 года, ему — 44.

Впрочем, в разговоре Миа польстила этому чуть неловкому, суетливому человеку, сказав, что уже давно в ее сумочке, в записной книжке, лежит его фотография. Снимок и впрямь трогательный: Вуди под зонтиком. Попав на обложку журнала, он вскоре переночевал в сумку Миа. Уж больно ей захотелось когда-нибудь взгля-

нуть на него еще раз. Почему? Кто знает?!

Некоторое время спустя Миа получила от Вуди приглашение на ужин. В старинном роскошном особняке собрался весь бомонд Нью-Йорна, дефилирующий вверх и вниз по сияющим лестницам. После ужина Миа, в знак вежливости, письменно поблагодарила Аллена. И надо же... на этот раз он пригласил ее пообедать, но уже только вдвоем.

Каждый из них теперь ожидал уик-энд, чтобы встретиться и побродить по музеям, сходить в кино, в оперу, поужинать в самом дорогом ресторане (у Вуди была слабость к престижу). Время пролетало так незаметно, и случилось, что они поднимались из-за стола только тогда, когда официанты начинали тарыхтеть стульями... "Роллс-ройс" Аллена дождался их в условленном месте.

Наверное, они и сами не заметили, как пронеслись эти годы. И Вуди, снимая фильм за фильмом с участием Миа, вдруг обнаружил, что дважды успел стать отцом: сначала в 1985 году, удочерив прелестную белокурую малышку-американку Дилан, а затем в 1987, когда Миа родила ему сына Сэтчела.

Миа и Вуди продолжали жить в разных домах, и только по вечерам вся семья собиралась вместе, у Миа, обсуждая сценарии, делаясь новостями. Вуди играл на кларнете... "Мне тогда казалось, — вспоминала она, — что ничего лучшего в моей жизни уже никогда не будет. Что мы всегда будем вместе".

Так и жили, растя детей и снимая кино, до тех пор... пока... Сун-И, ее дочь, не влюбилась.

Не влюбилась в Вуди Аллена.

Вуди

Вуди сам не помнил, как вылетел на улицу и торопливо зашагал прочь от дома. В мозгу все еще стучала одна-единственная мысль: "Ну вот, все позади. Миа знает. Но этого ли он хотел на самом деле? Черт, — подумал Вуди. — Следовало бы немного выпить". И он, подождав такси, направился в один из ресторанов, где у него был зарезервирован столик.

И пока он едет в машине по улицам Нью-Йорка, попробуем разобраться, кто же он на самом деле, Вуди Аллен? Глядя на этого, слегка подпрыгивающего, спешащего в никуда мужчину, худосочного, невысокого, с рыжеватыми редеющими волосами, с бледным, веснушчатым лицом и толстыми линзами очков, сидящих на крупном носу, никто бы не подумал, что он — мировая знаменитость: сценарист, режиссер, актер, обладатель "Оскара", музыкант, виртуозно владеющий игрой на кларнете и органе, автор многочисленных сборников юмористических рассказов. И все же до чего удачно он может манипулировать своей внешностью, награждая ею поголовно всех своих героев.

Он появился на свет 1 декабря 1935 года в иммигрантском квартале Бруклина, в семье Мартина и Нетти Кеннигсберг. Многочисленные родственники, как и положено, обрадовались появившемуся чаду, искренне выразив надежду в его феноменальные способности. Но годы шли, а очкастый и затюканный "вундеркинд", увы, ничем не проявлял себя. В школе он был абсолютно равнодушен, и скорее воспринимал ее как досадную необходи-

мость, которая когда-нибудь кончится. Более всего его интересовали "мыльные оперы", которые он слушал по радио изо дня в день, на ходу придумывая для них различные концовки. Впрочем, некоторое утешение приносили его музыкальные способности: он с упоением играл на кларнете — на радость маме.

Первой, оглушившей всех новостью, потопившей надежды многочисленной родни, стало позорное выдворение юного отпрыска из городского колледжа за прогулы и последовавший вскоре за этим провал на экзаменах по режиссуре в Нью-Йоркском университете.

Набив первые "шишки", бруклинский парнишка решил, что ему следует идти другим путем, и для начала поменял свое звучное имя Аллан Стюарт Кеннигсберг на Вуди (в честь любимого кларнетиста). После чего сел за письменный стол и принялся строчить шуточные объявления в разделы светской хроники, а также сочинять пародии, которые, неожиданно для всех, стали пользоваться огромной популярностью. Вскоре его юмористические скетчи зазвучали с эстрады, и Вуди сам стал участником развлекательных телешоу.

Как ни странно, но при всей своей неказистости у Вуди был талант очаровывать женщин. Его первой женой стала Харлен Роузен, простая, но довольно соблазнительная школьная подружка. И хотя, по признанию Вуди, "они были слишком молоды для семейной жизни и постоянно выясняли отношения", тем не менее, прожили вместе шесть лет.

После развода Вуди в течение двух лет пребывал в объятиях актрисы Луизы Лассер, по его словам, "элегантной штучки из Манхэттена", пока на его пути не встретилась Дайана Китон, певица и киноактриса. (Она появилась на большом экране, сыграв в "Крестном отце" жену Майкла Харлеоне — Кей Адамс.) Высокая, стройная, с осиной талией и развевающимися длинными волосами, она всегда выглядела очень экстравагантно. Их семейный и творческий союз продлился восемь лет и увенчался шестью фильмами. Историю их любви Вуди Аллен воплотил на экране в фильме "Энни Холл" ("Оскар").

Кто-то, говоря об Аллене, очень тонко подметил, "что за толстыми стеклами его очков скрывается любовная мощь лесного кота". А ведь и правда, и застенчив, и вроде не уверен в себе, и шага не делает без посещения психоаналитика, и уж точно никому не придет в голову просить его позировать для статуи Аполлона, ... а вот женщины к нему так и льнут. В чем же секрет Вуди Аллена?

"Мне случалось делать вид, — как-то признался он, — что я прекрасно разбираюсь в древнегреческих философах, или являюсь горячим поклонником Родена, чтобы поддержать разговор и понравиться заинтересовавшей меня женщине". Что ж, "хитрый лис" знает: женщины любят ушами...

Узы любовного треугольника

...Вуди сидел за столиком, потягивая любимое вино, и приводил в порядок собственные мысли.

Конечно, верх брала мужская логина, и Вуди, как мог, защищался под натиском взбунтовавшейся совести. В чем его вина? В том, что влюбился? Неужели он единственный мужчина, поддавшийся очарованию восхитительной девушки?

Это был как удар молнии. Они сидели с Сун-И на спортивном матче, а затем заехали к нему. То, что произошло дальше, было каким-то наваждением. Он потерял контроль над собой, и Сун-И очутилась в его объятиях. Он давно стал замечать на себе ее взгляд из-под темных, как ночь, густых ресниц.

В тот вечер они стали любовниками. И никто из них не вспомнил о Миа.

И все же... почему это случилось именно с ним? Может, потому, что однажды он уже пережил на бумаге нечто подобное, прожив жизнь героя, попавшего в подобную переделку — "любовный треугольник", где действующими лицами стали мать и дочь (правда, в иной последовательности).

И выходит, что этот рассказ, написанный двенадцать лет назад (кстати, в тот год, когда он впервые увидел Сун-И с мороженым в руках и в вязаной шапочке), ждал своего часа, как на сцене, в первом акте, висящее на стене ружье?..

Удивительное совпадение — он описал в этом рассказе и место действия — Центральный парк, и героя — как две капли воды похожего на него самого, и героиню, которые были прекрасны и обрарованны.

"То, что Конни, на которую мне суждено было положить глаз, ответила взаимностью, стало чудом, не имеющем аналогов в западной час-

ти Центрального парка. Обаяние ее живого ироничного ума состязалось с притягательной распутной чувственностью, таившейся в каждом изгибе ее тела. То, что она остановит взгляд на мне, тощем, носатом драматурге и паникере, сравнимо разве что с рождением восьмерых однойлицевых близнецов.

После часового обмена флюидами моя кровь хлынула по артериям в известных направлениях. Подогретое вином нахальство тут же подготовило почву. И оказалось, что мне, любимой жертве неврозов и угрызений совести, принадлежит эта ночь. С пути, который свел нас с Конни, свернуть было невозможно, и через час мы метались в самозабвенном па-де-де среди простыней, подчиняясь хореографии любовной страсти. Никогда прежде у меня не было такой бурной и успешной ночи любви. Когда она уже лежала в моих объятиях, утоленная и обессиленная, я размышлял, как именно судьба собирается взывать свои неотвратимые налоги. Какой кошмар предстоит мне встать на себя?

Первый месяц прошел без осложнений. В постели она не признавала запретов и любила эксперименты. Мог ли я, слабак, не затрепетать при одной мысли о сладких девичьих запахах?

Волшебная сказка закончилась в один день. Мое сердце разбила совсем другая женщина — ее мать. Мой мозг жужжал и мигал, пытаясь состряпать какой-нибудь план. Как правило, мы отправлялись с ней в музей или на концерт, говорили о литературе, о жизни.

Я совершенно потерял голову. Мне хотелось рассказать о своем смятении Конни, просить прощения, чтобы вместе развязать му-

чительный узел... Я любил сразу двух. Они оказались дочкой и матерью. Я был близок к нервному срыву. Жизнь действительно суицидальный хаос.

В тот же день я рассказал обо всем Конни. Я готовился к взрыву, но его не произошло. Я предвкушал разные реакции — от презрительной насмешки до нескрываемого бешенства — но Конни...

"Неужели это писал я?" — без энтузиазма подумал Вуди.

Изгой

В ту бессонную ночь Миа приняла решение. Не кто иной, как сама Сун-И должна сделать выбор, с кем остаться. Сун-И выбрала Вуди.

Когда-то, будучи еще совсем маленькой восьмилетней крошкой, она безумно ревновала маму-Миа к этому "нолющему" очкастому дяде, который и играть с детьми толком-то не умел. Когда он появлялся в их доме, ей хотелось спрятаться куда подальше.

Но детство кончилось. И все, что случилось, как говорят, случилось. И как прозорливо написал Вуди в уже упомянутом рассказе: "... огромные заголовки передовиц в бульварной прессе возникли перед взором и начался кошмар".

Америна и впрямь отвернулась от Вуди Аллена. Его биограф — Джон Бакстер и тот не упустил случая зацепить Вуди, заметив, что "даже рыжие интеллектуалы-очкарики способны иметь бурную личную жизнь". В прессе и по сей день появляются ехидные комментарии типа: "... из фильма в фильм этот 67-летний "подросток" целуется с девочками-малолетками, и из

фильма в фильм они становятся все малолетней". А критики и во все не стесняются в выражениях: "этот бесконечно грустный и безысходно сексуально озабоченный брайтонский умник затаскивает к себе в постель самых обворожительных красоток Голливуда".

Что поделывать, ни одна картина Вуди Аллена не обходится без страстной любви и душевных терзаний. При этом он уверяет (может, на собственном опыте), что мужчины гораздо романтичнее женщин. Он вкладывает в уста своих героев мысли, которые волнуют его самого: "Я не стану влюблюсь моложе, — уверяет один из таких героев, — и пока не поздно, хочу заниматься любовью в Венеции, обмениваясь взглядами над бокалами с красным вином". А ведь именно в Венеции 23 декабря 1997 года, спустя пять лет после случившегося, он женится на Сун-И.

Похоже, в этом браке Вуди не испытывает каких-либо неудобств. Еще бы, ведь его 27-летняя супруга досконально за все годы изучила его привычки. И теперь уже вдвоем они появляются в лучших отелях и ресторанах Америки, а чаще Европы. Теперь ей он играет по вечерам на кларнете и рассказывает о Роде-не... Вот, правда, в кино пока не снимает.

Миа

Говорят, что разлуну тяжелее переносит тот, кто остается на перроне. Разрыв с Вуди Миа вспоминает как мучительную пытку. Почти каждый вечер ей приходилось тогда встречаться с ним на съемочной площадке

(они как раз заканчивали съемки своего совместного, тринадцатого, фильма "Мужья и жены", где Вуди, кстати, играл профессора, влюбленного в юную студентку), а утром — вновь видеть его, но уже в зале суда, где рассматривалось дело о лишении Вуди Аллена опекунаских прав на детей.

Миа выиграла процесс. Но более оставаться в Нью-Йорке не могла. Вместе с детьми она уехала в Ирландию, на родину своих предков.

Она по-прежнему снимается в кино, и по-прежнему воспитывает детей.

"Я провела свое детство в большой семье, и это всегда казалось мне естественным, — говорит она. — Я люблю шумную семейную толчею. Семеро моих детей уже выросли, теперь я воспитываю еще столько же. Мы живем настоящим: школьными занятиями, потерей молочных зубов, уходом за домашними животными.

Воспоминания о Сун-И до сих пор отдаются во мне острой болью, ведь я не видела ее много лет. Что ж, она сделала свой выбор. Но для меня она навсегда останется моим ребенком. Я часами перебираю фотографии и до сих пор не могу избавиться от щемящего чувства потери. И хочется спросить у нее, как же она может спать с Вуди, отбрав у своих братиков и сестричек отца и друга?...

Что касается моей личной жизни, то я прекрасно понимаю одно: мои шансы на встречу с мужчиной слишком ничтожны...

И все же: "Да возликуют чудеса!"... ■

друг искренний, враг явный

Любовь РУСЕВА





Собираясь в Персидский поход, Петр Великий перед отъездом в Астрахань прибыл в Сенат и, указав на первого в России генерал-прокурора Ягужинского, объявил:

— Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и желания. Что он за благо рассудит, то вы и делайте, а хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим и государственным выгодам, вы, однако ж, то исполняйте, и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления.

Полуполяк, полулитовец Павел Иванович Ягужинский родился в 1683 году в семье бедного органиста. Отец его покинул родину и переехал в Москву, когда мальчику было всего четыре года. Сначала Ягужинский устроился органистом при лютеранской церкви в Немецкой слободе, потом перешел на военную службу и дослужился до майора. У него было два сына: Иван и Павел. Первый ничем особенным не отличался, зато второй с детства поражал окружающих живостью характера, красотой, остроумием и чрезвычайной одаренностью.

Красивого мальчика с неправильными, но очень живыми и выразительными чертами лица заметил и взял к себе в пажи фельд-маршал граф Федор Алексеевич Головкин. Благодаря покровительству вельможи Павла вскоре определили во дворец камер-пажом. В 1701 году ему представилась возможность заговорить с царем, который поразился его начитанностью, образованностью, правильной, ясной и образной речью. Петр, искавший полезных людей, зачислил Ягужинского в гвардию, а вскоре сделал его и своим денщиком¹.

Особенно Петр I ценил в молодом человеке чрезвычайную храбрость, способность при любых обстоятельствах сохранять присутствие духа и редкое для того времени качество: всегда говорить правду, невзирая на личность, и отстаивать свое мнение, которое считал справедливым, будь то перед друзьями или самим государем.

Кроме того, Павел Иванович никогда не предавал своих друзей и не покидал их в беде. Красноречиво характеризует этого человека и тот факт, что когда разразился скандал с фавориткой Анной Монс, приближенные отвернулись от опальной семьи. Один Ягужинский остался верен дружбе и продолжал посещать Монсов. В то же время впоследствии, когда в силу вошел брат Анны, и все спешили к фавориту императрицы на поклон, Павел Иванович там не появлялся.

Честолюбивый, пылкий, образованный красавец, знаток музыки и прекрасный танцор, к тому же веселый, добрый и чрезвычайно обходительный, стал душой общества. Ягужинский сумел

¹ Денщики были единственными придворными служителями, которых имел при себе Петр I. Они дежурили при монархе поочередно и, в сущности, выполняли функции дежурного адъютанта. Название самого слова происходит от слова "день".

расположить к себе не только монарха, но и тех сильных людей, в руках которых была карьера начинающего службу молодого иностранца.

Петр Алексеевич, высоко ценя своего талантливую сподвижника, захотел как-то облагодетельствовать его и дать возможность разбогатеть.

— Хочешь ли, Ягужинский, получить нынешний день знатный подарок? — Царь хитро улыбался, глядя на своего любимца.

— Кто б сего не хотел?

— Так слушай же: старик Репнин ныне недомогает. Поезжай к нему и спроси от меня о здоровье. Но умеи угодить старинной его боярской суетности. Оставь лошадь у ворот и взойди на двор пеший и непременно без шляпы. Вели о себе доложить, что ты прислан от государя спросить о здоровье его сиятельства. Тебя будут просить к нему, но ты скажи, что не достоин увидеть очей его боярских, и не прежде взойди, как по двукратному зову, а, взойдя, с раболепным видом, ставши у дверей, поклонись ему об ручку, и если старик велит тебе сесть, отнюдь не садись, говоря, что ты не достоин толикой чести. И я уверяю, что не отпустит он тебя с пустыми руками.

Павел Иванович поступил точно по наставлению. Князь, тронутый таким к себе уважением государева посланца, стал ему задавать вопросы.

— Пьешь ли что, друг мой?

— Не пью, ваше сиятельство.

— А сколько ж тебе лет, мой друг? Давно ли у государя на службе, давно ли его величество жалует тебя?

На все вопросы царский посланник отвечал смиренно, не поднимая глаз, да с поклонами. С каждым ответом его тон становился все более и более учтивым, а поклоны все более низкими. Иван Борисович Репнин был настолько очарован почитательностью, вежливостью и вниманием Павла, что стал расхваливать его, в особенности же за почитание к старикам и заслуженным людям.

— Я не оставлю похвалить тебя и государю, — закончил свою восторженную речь больной.

— Благодарю вас, ваше сиятельство, за столь высокую милость! — Ягужинский поклонился чуть не в ноги. — Я во всю жизнь свою буду хвалиться таковым счастьем. Что ваше сиятельство прикажете мне донести государю?

— Донеси, друг мой, что мне, слава Богу, есть получше, и что я сам лично благодарить буду его величество, что вспомнил меня, старика. Да побудь еще у меня, друг мой, и поговорим что-нибудь.

— Не смею ослушаться повеления вашего сиятельства, — последовал низкий поклон.

— Поди-ка, Федор, в мою опочивальню, — обратился старый боярин к дворецкому, стоявшему за его креслом, — там, в ореховом шкафчике, в среднем ящичке лежит мешочек с червонными. Возьми и принеси его мне.

Дворецкий пошел было, но князь остановил его.

— При нем еще поднос серебряный... На тот поднос, — добавил хозяин, когда слуга взялся за дверную ручку, — поставь кубок вызолоченный с крышкою. Высыпь в него червонцы из мешочка и принеси ко мне.

Ягужинский понял, что царь не ошибся, и продолжал беседовать в еще более учтивом и “раболепном” тоне. Репнин совсем растаял и велел снова позвать дворецкого.

— Да поставь-ка на тот же поднос еще чару золотую.

Когда поднос с дорогими подарками принесли, царский посланец был чрезвычайно “удивлен” и “смущен” неслыханной милостью. Князь взял поднос и, поддерживаемый дворецким, подошел Ягужинского к своему креслу.

— За то, что ты так умен, возьми сие себе. Да не оставляй и впредь почитать людей знатных, старых и заслуженных. Тогда Бог и царь тебя не оставят.

Павел Иванович учинил земной поклон и стал отказываться от подарка.

— Ваше сиятельство, сия неслыханная милость приводит меня в замешательство. Боюсь я и вас прогневить отказом, и государя принятием столь великого и не заслуженного мною подарка.

— Возьми, возьми, друг мой, и не опасайся ничего. Коль скоро можно будет мне выехать, то буду у государя и скажу, что я принудил тебя это взять. Право, государь умеет выбирать людей. Сам Бог его, царя, государя, наставляет...

Репнин не только щедро одарил Ягужинского, как и предвидел царь, но и вынужден был признаться, что государь умеет выбирать людей, хотя являлся противником нового направления в русской жизни и не питал теплых чувств к иностранцам, искателям счастья, каким был Ягужинский.

С этого подарка начался рост его благосостояния. В 1706 году Павел Иванович получил от царя в вечное владение остров на Яузе рядом с Москвой. Вскоре он стал капитаном Преображенского полка. Настоящим же богачом его сделала женитьба. Обходительный любимец царя покорил не только Репнина, он нашел покровителей и среди других крупных родовитых москвичей. Полюбив Анну Федоровну Хитрово, дочь одного из старейших бояр, Ягужинский перешел в православие и женился на ней. Получив за невестой огромное приданое, он сразу сделался одним из богатейших людей в России.

Карьера этого любимца фортуны была стремительной. Он постоянно сопровождал царя в военных походах и в его поездках за границу. Петр I произвел его в генерал-адъютанты, что соответствовало тогда рангу полковника, и действительным камергером. Царь настолько благоволил к Ягужинскому, что многие были уверены: его фавор затмит Меншикова.

Павел Иванович был не только правдивым и честным человеком (из-за чего часто конфликтовал с Александром Даниловичем,

которого считал казнокрадом), но и чрезвычайно добрым. При жизни Петра Алексеевича он мог не раз повредить Меншикову, но никогда не пользовался удобными для того случаями.

Разносторонние способности и знания Ягужинского, его честность и исполнительность, проницательность и дар слова позволяли Петру Великому использовать его в различных делах, особенно на дипломатическом поприще.

В 1713 году царь отправляет Павла Ивановича в Копенгаген в помощь опытнейшему дипломату Долгорукому. Он должен был склонить датского короля к соединению флотов. Вскоре Ягужинский со свойственной ему прямотой сообщил Петру I, что приезд его в Данию только вредит делу. "С министрами дело идет так гнило, что и сказать нельзя, друг друга дрожат, боятся, а Выбей и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой приезд сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не хотят верить, чтоб я был прислан без больших денег, и думают, что мы с князем Долгорукиком крепимся и без крайней нужды денег им объявить не хотим".

Однако 6 марта 1714 года соглашение было достигнуто, Ягужинский добился от короля решения атаковать и разорить общими силами Карлскрону и шведский флот. Однако Фридрих IV впоследствии изменил этому договору и при посредничестве Англии и Франции заключил со Швецией мирный трактат, что послужило причиной разрыва дружбы между русским и датским дворами.

После Копенгагена Павел Иванович производит разведку шведского флота у Ревеля, где подкупает шпионов. В 1715 году он снова в Ревеле, откуда с новым дипломатическим поручением мчится к прусскому королю вести переговоры с ним. Мы видим его на переговорах со Швецией на Аландских островах, в Вене, где сумел совершенно оттеснить враждебную нам Англию. Правда, Ягужинский жаловался на медлительность австрийского правительства по вопросу заключения нужного нам договора. Новая его поездка в Берлин всполошила венцев, что сделало их гораздо разговорчивей. Кстати, Петр использовал этот прием не раз, когда посылал своего любимца. Если переговоры затягивались, он отзывал его, что служило прекрасным стимулом к достижению цели.

24 апреля 1721 года Петр послал Ягужинского на Ништадтский конгресс для окончания споров со Швецией по вопросу прохождения границы между двумя государствами. Царь настолько спешил завершить затянувшуюся Северную войну, которая длилась уже более двадцати лет, что согласен был заключить мир даже ценой уступки Выборга. Остерман, находившийся уже в Швеции, знал о намерении монарха уступить чрезвычайно важную в стратегическом отношении крепость в случае, если противник упрется. Дипломат во всех своих реляциях уверял Петра I, что шведы, доведенные до крайности, согласятся уступить нам Выборг.

И Остерман, рискуя головой, пошел на хитрость. Он уговорил своего друга генерала Шувалова, бывшего в то время комендан-

том Выборга, в случае приезда Ягужинского задержать его у себя. Остерман рассчитал верно: Павел Иванович, склонный к веселью, не мог отказать гостеприимному хозяину и не принять участие в бале, который продлился двое суток. Между тем, хитрый дипломат воспользовался этим временем и объявил шведам, что получил с нарочным повеление заключить мир в 24 часа.

Хитрость удалась — шведы согласились уступить Выборг. Мирный трактат тогда же был заключен и подписан. Прибыв к месту переговоров, Ягужинский узнал, что договор уже вошел в силу. Это поразило его громовым ударом. Павел Иванович, отдавая должное ловкости Остермана, никогда не мог простить ему этой обиды. Хотя внешне они жили согласно между собой.

Эта неудача Ягужинского не изменила к нему отношения императора. В январе 1722 года Петр I оказал Павлу Ивановичу высшее доверие, каким не пользовался тогда ни один вельможа.

Для искоренения всех зол, неразрывных с привычками закоренелого самоуправства, Петр Алексеевич учредил при Сенате должность генерал-прокурора, другими словами, “стряпчего от государя и государства”. Этим стряпчим Петр назначил Павла Ивановича Ягужинского. Генерал-прокурор был обязан “сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потери времени, по регламентам и указам отправляя... Генерал- и обер-прокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего... И понеже сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет”.

Должность генерал-прокурора, помимо опытности в государственных делах, большой одаренности и энергии, требовала еще и полного доверия государя. Безусловно, в выборе кандидата на нее главную роль сыграли два качества Ягужинского, выделявшие его из тогдашней вельможной среды: неподкупность и независимость характера.

В Сенате по старшинству должность эта была последней, но по значимости — первой. Генерал-прокурор именем императора контролировал все, что там происходило. Ягужинский имел решительное влияние на мнение сенаторов. Сопоставить круг действий генерал-прокурора в наше время можно с обязанностями министра юстиции.

Генерал-прокурор являлся связующим звеном между государем и Сенатом. Он же заведовал сенатской канцелярией. Деятельность Ягужинского продемонстрировала, что зачастую его взгляд на вещи был более широким, чем у большинства его современников. Когда однажды Сенат не захотел назначить прокурорами в надворные суды дворян Отаева и Кутузова, генерал-прокурор заявил, что он “не признает за ними никакого явного пороку и мнит в том быть некоторой страсти”, а потому “и принимает в том ответ пред его величеством на себя”.

Независимый в своих поступках, прямой и честный Ягужинский часто восставал не только против сената и коллегий, но и против сильных мира сего, даже против особ царской фамилии, перед которыми он никогда не тушевался и не позволял нарушать законность, в чем бы это ни проявлялось — в крупном или малом.

Бывший молдавский господарь и отец последней любви царя, князь Дмитрий Кантемир (о котором поговаривали, что в скором времени станет зятем государя) получил в дар от царя дом в Москве, но, закрутившись в делах, Петр забыл издать об этом указ. Кантемир, желая быстрее вступить в свои права, на балу у Меншикова обратился к генерал-прокурору с просьбой дать письменное распоряжение или указ о вступлении им во владение домом.

— Что ж, князь, поздравляю вас с такой милостью его величества. Но что касается письменного приказа, то вам нужно сперва просить государя, ибо я один раз навсегда и во всех делах должен, по соглашению с государем, ожидать письменного его повеления и ни в каком случае не руководствоваться одними словесными приказаниями.

Кантемир был явно недоволен ответом генерал-прокурора, но ничего не мог поделать.

Как-то в сенате слушали доклады о многочисленных “воровствах”. Император в гнев клялся пресечь казнокрадство и тотчас приказал Ягужинскому:

— Сейчас напиши от моего имени указ во все государство, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, тот, без дальнейшего следствия повешен будет!

Генерал-прокурор выслушал грозное повеление, взялся уж было за перо, но писать не спешил.

— Подумайте, ваше величество, какие следствия будет иметь такой указ?!

— Пиши, что я тебе приказал! — прервал его Петр.

Но Ягужинский с улыбкой заметил:

— Всемилостивейший государь, неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы ворует, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой.

Услышав подобное из уст человека, славившегося честностью и неподкупностью, царь задумался и рассмеялся.

Обязанность следить за Сенатом — труднейшее дело. Сподвижники Петра Великого, находясь при нем, беспрекословно выполняли все его указы и распоряжения, были “смирными и ручными”. Но стоило императору покинуть столицу, как страсти разгорались, и они начинали “с яростью клеветать друг друга”. Это, естественно, вредило государственному делу, ибо вместо работы они сводили счеты.

Стремясь поставить прокуратуру в совершенно независимое положение, Ягужинский в письме к Петру высказал очень смелую и новую мысль о преобразовании самого Сената: “я бы желал,

чтоб Сенат из таких средних людей был сочинен, то б сильных особ споров и браней меньше было”.

В отсутствие царя сдерживать страсти приходилось Павлу Ивановичу. Но иногда и ему необходимо было отлучаться. Отправляясь как-то в Петербург, он сознавался в письме к Петру Алексеевичу, что “сенатское заобычное несогласие не токмо мною мало удержано быть, но наипаче ныне ссоры и брани стали быть, и воистину не мало остановки тем бывает”.

Несмотря на то, что, уезжая из Москвы, Ягужинский оставил в Сенате предложение “дабы такие партикулярные ссоры и брани весьма удержаны были, и тем в нужных делах помешательства никакого не чинилось”, уже 22 октября разразился грандиозный скандал между Шафировым и Меншиковым, в котором деятельное участие принял сам заместитель генерал-прокурора, блюститель законности, обер-прокурор Скорняков-Писарев. Ягужинский был чрезвычайно недоволен “похлебственным” (в отношении светлейшего князя Меншикова) поступком его заместителя.

Ягужинский в глазах Петра I выделялся от других еще и тем, что не скрывал своих грехов перед царем.

Постоянно нагружая Ягужинского, Петр видел, что тот все свое время отдает службе и у него совершенно не остается времени и возможности на заботу о своем личном состоянии. Царь позаботился о том, чтобы имения его верного соратника, разбросанные по разным губерниям, не пришли в разорение. В 1716 году он именным указом повелел назначить дворян Елагина и Тыркова для надзора за домом и деревнями Ягужинского.

Характер и красивая внешность, небрежная, но очень изящная щеголеватость, веселость и остроумие “производила в сердцах дам высшего петербургского общества большой беспорядок”. Многие красавицы мечтали обратить на себя внимание этого человека. Тем не менее, всеобщий любимец дам был несчастлив в семейной жизни.

Жена не только ему изменяла, но стала вытворять такое, что свидетельствовало о повреждении ее рассудка. Несмотря на то, что Анна Федоровна позорила мужа, он из-за детей, а также, вероятно, из-за того, что продолжал ее любить, не желал с ней развестись. На расторжении брака настаивал сам царь.

Ягужинская могла заявиться в избу своего садовника Козлова, где и провести ночь. Анна Федоровна любила врываться в избы служителей, и оседлав их, ездить на них верхом.

Она часто уходила из дома и ночевала в других местах. Никакие увещания супруга не помогали, Анна Федоровна словно с цепи сорвалась и делала все наперекор. Не выдержав выходок супруги, Ягужинский 22 сентября 1722 года под нажимом своего благодетеля обратился в Св. Синод с прошением: “... меня с нею развязать, дабы мне более в таком бедственном и противном житии не продолжаться, наипаче же бы бедные мои малые дети от такой непотребной матери вовсе не пропали”.

К прошению Ягужинский приложил “изъявления” о бесчинствах своей жены священника его домово́й церкви Федора Антонова, дьячка Михаила Львова и нескольких слуг. От изложенных ими подробностей бесчинств генеральши, вероятно, у его святейшества волосы стали дыбом. Чудила эта дама не только у себя в доме, в избах слуг, но и в церкви во время богослужения. Священнослужители показали, что в церковь генеральша приходит с непокрытой головой и неубранными волосами, иногда в одной рубашке, “а грудь вся обнажена”. В церкви она не стоит на одном месте, а все ходит по ней, никогда не крестится, пение слушает не молча, начинает громко выть.

Однажды Анна Федоровна пришла во время богослужения, когда дьячок “апостол читал”. Она толкнула его, стала выламывать руки и за волосы драть, “и в тех драках паникадило серебряное сбросила, которое от того помялось, а крест с мощами, что в иконостасе, с аналоя на землю бросила”.

Прежде чем вынести приговор, Синод отправил к Ягужинской своего духовника, ключаря Архангельского собора Петра Меркурьева, с синодальным секретарем Герасимом Семеновым для допроса. На допросе Анна Федоровна в основном “запиралась”, но и во многом призналась, оправдывая себя тем, что “оные-де непотребства чинила она в беспамятстве своем, в меленколиии, которая ей случилась в Петербурге, в 1721 году, и в скорби да и в печали от разлучения с сожителем и детьми своими, от скуки и одиночества”.

После допроса Ягужинская продолжала в своем духе. В тот же день, когда ей запретили выезжать со двора без ведома мужа, она перебралась в дом магистратского канцеляриста Волкова, у которого и до того ее не раз видели. Мало того, 3 января 1723 года служитель Ягужинского Горицын подал в Синод “доношение”, что 21 и 28 декабря “та госпожа его, пришед к служителю своему, испражнилась в избе его и в других местах без зазрения совершала мерзости, била стекла и делала разные другие бесчинства и буйства”.

Рассмотрев все обстоятельства, Синод, наконец-то, развенчал генерал-прокурора с его женой: “да будет с нынешнего времени она от мужа своего отлучена, и да пребывает она, яко святыми правилами заключено, безбрачна. А рожденных от них детям быть при отце их, яко при невинном лице...”.

Ягужинскую сослали в Федоровский монастырь, расположенный в Переславле-Залесском. Павел Иванович, чтобы не отягощать монашек, взял содержание бывшей жены на себя, “на полное свое иждивение”, и содержал ее “во всяком довольстве”.

Несмотря на строгие меры и неусыпный надзор, Ягужинская дважды убегала из монастыря, но каждый раз ее ловили и возвращали. Узнав о побегах, Синод постановил перевести ее в Горный монастырь в Белозерском уезде, но, вероятно, ее все-таки никуда не перевели, и она скончалась там.

Через год после развода Павел Иванович по настоянию Петра I женился на фрейлине графине Анне Гавриловне Головкиной, дочери великого канцлера. Несмотря на анекдотическую скаредность нового тестя, Ягужинский получил за невестой большое приданое.

Анну Гавриловну нельзя было назвать хорошенькой из-за перенесенной оспы, которая не пощадилась лица девушки. Но, тем не менее, именно во втором браке Ягужинский нашел свое счастье. Его вторая жена отличалась живостью характера и веселым нравом. Она была образованна, прекрасно говорила по-французски и по-немецки, отлично танцевала и была очень стройно сложена. Одним словом, супруги сошлись характерами, любили весело провести время и с трогательным единодушием вместе расточали свои богатства.

Через девять лет после смерти мужа Анна Гавриловна вышла замуж за обер-гофмаршала графа Михаила Петровича Бестужева и в том же году, в июле, ее и старшую дочь — Анастасию Ягужинскую арестовали “за участие в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны”. Но это уже другая история.

Петр I ценил Ягужинского не за одни только труды и пользу государству, а и за веселый нрав. Павел Иванович был замечательным собеседником, весельчаком и неутомимым танцором. Ни одна ассамблея не проходила без его участия. Любя веселую праздничную жизнь, Ягужинский вел ее на широкую ногу, тратясь на обстановку, на слуг, на выезды и т.п. Император, нуждаясь в роскошных каретах для торжественных приемов, не раз временно брал их у своего генерал-прокурора.

Отменные попойки царя-преобразователя хорошо известны. Петр I не любил, если кто-то во время пиров отказывался пить. Строптивный же рисковал обратить на себя гнев государя и попасть в опалу. Служить первому императору России и не пристраститься к зеленому змию — было невозможно.

Пристрастился к нему и “око государево”, постепенно Ягужинский стал употреблять неумеренное количество горячительных напитков. Тогда вежливость и любезность его исчезали, и он преступал границы должного приличия. Дюк де Лирия, испанский посол в России, писал в “Записках”: “Граф Ягужинский, родом поляк, низкого происхождения, привезен в Россию отцом в юных летах.... Он был человек умный, способный, смелый, решительный, друг искренний, враг явный; любил выпить лишний стакан вина, и делал тогда множество глупостей, но впоследствии оставил эту дурную привычку”.

Заведя обязательные ассамблеи, надзор за ними Петр I возложил на Ягужинского, первого танцора России. И в этой должности генерал-прокурор проявил то же рвение, старательность и быстроту, с которой выполнял все приказы Петра Великого.

Если Ягужинский приказывал пить, то все должны были делать это, хотя бы количество тостов и обязательное за ними осушение бокалов превышали все мыслимое и немислимое. Если Ягужинский после подобного обеда, став "шумен", приказывал плясать до упаду, то можно было не сомневаться, что все двери хорошо заперты и охраняются и что гостям придется плясать до упаду.

Ассамблеи при таком принудительном пьянстве и пляске делались тяжелой и даже опасной для здоровья повинностью. Многие стали избегать их, но Ягужинский просматривал списки приглашенных, отмечал "нетчиков", и оказаться перед этим "царем всех балов" в "нетчиках" было так же неприятно и хлопотно, как оказаться "нетчиком" по службе государевой. Поэтому в смысле ассамблейных требований Ягужинского "никто не смеет ни в чем отказать, и уж если он чего захочет, непременно надо исполнить".

Балагур, весельчак, лучший танцор, неистощимый изобретатель различных фигур в танце и увеселений, на придворных балах должен был плясать только с дочерьми Петра Великого, ибо для дам считалось чрезвычайно важным уметь хорошо это делать. Мы знаем, что Елизавета Петровна впоследствии любила танцевать не меньше самого Царя всех балов, и в этом искусстве она превосходила всех дам.

Вследствие сангвинического темперамента и увлекающейся натуры Павлу Ивановичу трудно было соблюдать меру в чем бы то ни было: если он плясал, то плясал до упаду, если пил, то пил до бессознательности. Поэтому откровенность его часто переходила в способность наговорить неприятному для него человеку грубости. Природная вспыльчивость, воспламеняемая горячительными напитками, лишала его власти над рассудком и делала его болтливым. Ягужинский был тяжел и невыносим, когда его раздражали, но зато в хорошем расположении духа он был душа общества.

После смерти Петра Великого Ягужинский участвовал в движении на престол Екатерины I, но, тем не менее, оказался не у дел. Его характер не по нутру был императрице. Генерал-прокурор не одобрял внешнюю политику нового двора. Государыня склонялась к союзу с Англией и Францией, а Ягужинский был предан петровской идее Австрийского союза и тесно связан с Данией.

Все уже прочили любимцу Петра I почетную ссылку, надеялись, что неистового генерал-прокурора отправят посланником в какую-нибудь страну, но вместо этого он неожиданно становится любимцем государыни (правда, не надолго). Уже с лета 1725 года иностранные дипломаты стали замечать, что при дворе слишком часто стали устраиваться увеселения, состоявшие в ночных попойках на открытом воздухе. Ягужинский стал для спившейся императрицы незаменимым человеком. Из всех его достоинств она оценила его только как "царя балов".

Но уже 8 февраля 1726 года был учрежден Верховный Тайный Совет, в состав которого Ягужинский не вошел. Значение Сената,

над которым он был поставлен царем-преобразователем, резко упало.

Ягужинский, никогда не отступавший от своих принципов, по праву заслужил всеобщее уважение современников. Он всегда шел напролом против наиболее сильного в данное время человека. Не уставая, смертельно враждовал с Меншиковым и обличал его злоупотребления, открыто пошел против учреждения Верховного Тайного Совета и перед гробом Петра громко жаловался на то, что слуги великого царя, еще не похоронив Петра, ниспровергают все его учреждения. Он резко разошелся с верховниками в 1730 году и вместе с Остерманом помог Анне восстановить самодержавие, а позднее отважился вступать в перепалки с самим Бироном. В своих обличительных порывах он был неукротим, а когда он находился под влиянием виновных паров, что бывало слишком часто, его шумные выходки принимали форму настоящего скандала. Он всегда врезался клином во всякую налаженную комбинацию и стремительно спутывал и опрокидывал многие из них.

Павлу Ивановичу была свойственна и другая черта, чрезвычайно редкая для того времени: гуманное отношение к народу. Генерал-прокурор находил, что пошатнулся "генеральный фундамент" империи — земледелие и торговля, и хотел "так славного государства нерадивым смотрением не допустить в вечную гибель и бедствие". Сразу же после кончины Петра Великого, в феврале 1725 года, возник вопрос о понижении размера подушной подати. Ягужинский подал императрице записку о бедственном положении народа и слабом состоянии финансов и торговли: "Совесть моя долее того смотреть не может".

Осенью он снова поднял этот вопрос в Сенате и добился его решения исключить из подушного оклада "убылых", а с "наличных" на 1726 год взять по 60 копеек и несколько сократить армию, расходы на которую покрывались подушными деньгами.

По доброте своей он обращал внимание на такие недостатки своего времени, которые для большинства современников оставались незаметными. Какое, в сущности, было дело утопавшему в роскоши человеку до того, что где-то народ умирает от голода, что какая-то мать с голоду утопила свою дочь. А между тем Ягужинский приходил от всего этого в ужас, хлопотал о помощи голодающим, поднимал этот вопрос в Сенате.

Кто из наших нынешних политиков мог бы сравниться в этом с Павлом Ивановичем Ягужинским? ■

Елизавета ЯКОВЛЕВА, 17 лет

* * *

*Искать, найти и потерять.
Беспечно юным возродиться,
И в двадцать рваться и мечтать,
Паря над неудачей птицей.*

*А в тридцать думать о своем,
Смотреть на юности осадок,
Найти ошибок перезвон
И вспомнить сон, что ярко-сладок.*

*И в сорок пять, презрев покой,
Нежданно к Богу обратиться.
Задев за прошлое рукой,
Вдруг осознать, к чему стремиться.*

*Ко ста степенность обрести
И смерти больше не страшиться.
Искать себя всю жизнь... найти!
И вновь беспомощным родиться.*

БОРЬБА

*Ты любишь нежность и комфорт,
А я ценю игру мечей,
И церкви светлый древний вход
Тебе любезен, а не мне.*

*Я не могу дремать в тиши,
И думать, мысли теребя,
Мне нужно пламя для души
И силы, чтобы жить, любя.*

*Мне дорог трепетный восход,
Тебе — чарующий закат,
Но если небо упадет,
Ты лишь вздохнешь о небесах.*

*Как это странно, слышишь, рок!
В одной душе мы вдруг сплелись.
О чем задумал мудрый Бог,
Столь разных заключавших в жизнь.*

*В безбрежье мысли дремлет Он
И знает, что всего верней
Единство и борьба сторон
Для злой гармонии огней.*



рисунок: Виталика Загорского



Пьер МАНЬЯН

ДОМ УБИЙСТВ

Монж был настороже. Стояла одна из тех ночей, когда какое-то неясное чувство подсказывает нам держаться начеку, если мы хотим избежать неприятных неожиданностей; ночь, когда человек непроизвольно затаивает дыхание, когда все может случиться в этих диких краях.

Монж только что кончил обтирать соломой мокрых от пота, стоявших в конюшне сменных лошадей почтового дилижанса из Гапа. Нужно подняться в три часа, чтобы задать им корм, потому что уже на рассвете они будут запряжены как коренники в ломовые дроги возчиков из Амбрена, которые занимались доставкой грузов.

Незнакомец как раз достал из сумки краюху домашнего хлеба и кольцо колбасы и теперь с аппетитом их поглощал, устроившись прямо посреди упряжи, на куче мешков с почтой. Он явился совершенно некстати, когда уже смеркалось, с тростью, обвитой лентами, весь разодетый, словно новобрачный, хоть и порядком промокший — даже шляпа блестела от воды, и крикнул с порога: «Привет честной компании!» — людям, которые таращили глаза, вглядываясь в полутьму. Монж с неохотой отвел его в конюшню, где путник сбросил грубый шерстяной плащ, и окинул гостя подозрительным взглядом, которым с недавних пор смотрел на окружающий мир.

Висячую лампу еще не зажигали: для привычных действий вполне хватало света очага. В стоявшей на полу колыбели запищал младенец. Жирарда поднялась, пристроила стопу сложенных простыней в углу квашни для хлеба, потом взяла плачущего ребенка своими покрасневшими от работы руками и уселась с ним по другую сторону очага, напротив Папаша.

Стоило зашуршать расстегиваемому корсажу, как младенец умолк. Он обеими ручонками вцепился в высвободившуюся материнскую грудь, и в наступившей тишине не было слышно ничего, кроме жадного причмокивания его нетерпеливых губок да потрескивания огня под котелком, где булькал вечерний суп.

Папаша, похотливо разинув беззубый рот, бесстыдно созерцал это вечно новое для него зрелище. Он наслаждался, глядя на эту, едва зародившуюся жизнь, в которую, как он считал, проскользнуло и кое-что от него самого, чтобы продолжиться в будущем. Вдруг он поднял голову и, уставившись на зеленые пятна селитры, местами покрывавшие штукатурку, не оборачиваясь, почти беззвучно окликнул зятя:

— Эй, Монж! Ты ничего не слышишь?

— А что такое я должен слышать? — буркнул Монж.

Папаша дернул головой и, как мог, навострил уши с торчащими пучками редких седых волос, пытаясь усвоить природу встревожившего его звука.

— Эй, Монж! — завопил опять Папаша. — Ты, что, и вправду ничего не слышишь?

Монж не ответил — лишь рассеянно покачал головой. Однако снял висевшее у очага плохонькое ружьецо и машинально проверил затвор.

В тот вечер он был настолько растерян и подавлен смертной тоской, в которой беспомощно барахтался, что едва не отправился просить совета у Зорма. Зорм был человек необычный. Безмолвный, точно ворон, он вдруг вырастал слева от вас, вы оборачивались — он оказывался за вашей спиной. В его присутствии людям стоило немалого труда сохранять самообладание, их преследовало чувство незримой опасности. И то, что его боятся, составляло Зорма хмуриться.

Он жил, ничего не делая, и при том не бедствовал. Дорога, ведущая к его дому, заросла густой травой. Он мог спокойно оставить ключ в двери, бумажник на столе, тушеное мясо на огне и початую бутылку вина. Рунические кресты, нацарапанные на некоторых камнях, тайные цыганские тропы, которые образовывали звезду между замком Пейрюи и Кающимися из Мэ, надежно защищали подступы к его жилищу, тогда как кружной путь вводил в сторону на целый километр.

Никто не мог ответить, на чем, собственно, основывался страх перед этим человеком, но если его имя случайно срывалось с чьих-нибудь уст, произнесший охотно поймал бы его на лету, словно бабочку, чтобы вернуть обратно. Когда ребенок за столом задавал какой-нибудь невинный вопрос относительно Зорма, его тотчас одергивали и наказывали молча есть свой суп. Даже чиновник в мэрии, когда Зорму потребовалась копия свидетельства о рождении, нервно сглотнул слюну, прежде чем вывести своим каллиграфическим почерком буквы этого зловещего имени.

Таков был человек, который в тот день под проливным дождем в четыре часа пополудни явился в Ля Бюрльер — просто так, безо всякого повода — и сидел, по обыкновению молча, выжидая, пока заговорят другие.

В его присутствии Монж невольно поджимал хвост. Весь этот день, пока лил дождь, он чувствовал, что Зорм кружит вокруг него, обнюхивает, дышит в затылок.

Наконец Монж увидел, что тот уходит, прикрывшись большим красным зонтом. Он наблюдал, как Зорм взобрался по свежей насыпи, обогнул дрезину, которую разглядывал в течение нескольких минут, затем спустился по другую сторону, к мутному потоку, который несся почти вровень с берегом, потрогал воду рукой, зачерпнул ладонью и следил, как она убегает сквозь пальцы. После этого он долго всматривался в обложенный горизонт, откуда возникал поток — словно спонтанное порождение низко нависших туч, насыщенных водой.

И тогда Монж увидел, как Зорм заговорил, будто обращался к кому-то невидимому с вопросом. Даже с такого расстояния бы-

ло видно, что его шишковатый лоб под зонтом и сдвинутой на затылок шляпой прорезала складка беспокойства.

Вспоминая теперь странное поведение Зорма, Монж заметил, что инстинктивно прижал к стеклу ладони с растопыренными пальцами, чтобы избавиться от образа Жирарды и прильнувшего к ее груди младенца.

Он резко обернулся, встретившись взглядом с косящим глазом Жирарды. Женщина выпрямилась, положила ребенка обратно в колыбель и вернулась на свое место, уперев ладони в бедра. Папаша продолжал сидеть со склоненной набок головой, он явно не оставил попыток расслышать еще что-то, кроме хихиканья двух старших Монжей, возившихся под столом.

Между тем дом содрогался под натиском ураганного ветра, хлеставшего его стены. Было слышно, как в глубине конюшен брыкаются обезумевшие от страха лошади.

Однако Папаша был прав. Несмотря на грохот, производимый разбушевавшейся стихией, в котором слились воедино усилия реки и неба, сквозь завывания ветра просачивался еще какой-то, почти неуловимый звук, свидетельствующий о присутствии поблизости человека.

Монж вернулся к очагу. Его руки снова потянулись к деревянной солонке, как будто хотели ее снять, но тут же опустились. Тяжело ступая, он подошел к столу и опять выдвинул ящик, только на сей раз бесшумно. Дети перестали смеяться.

Усадьба Ля Бюрльер, залитая потоками серебрищегося под луной дождя, снаружи представляла просторный деревенский дом с прямыми стенами, сложенными из галечника Дюранс, в которых были пробиты редкие окна, и стоящих чуть поодаль конюшен. Две пары ворот — те, через которые въезжали телеги и подводы, и вторые, ведущие на сеновал, служили исключительно для удобства лошадей и повозок, но никак не людей.

Если смотреть на усадьбу в подобную ночь, ее глухая, без окон, стена, протянувшаяся до самого поворота дороги, острые грани и вообще вся узкая стройность здания придавали Ля Бюрльер зловещее сходство с большим гробом. Это впечатление еще усиливалось, благодаря посаженным невесью когда по углам мощенного плитам двора четырем итальянским кипарисам, похожим на огромные свечи.

Именно такими казались они трем мужчинам, притаившимся в тени между сараем с упряжью и хаотическим нагромождением повозок со сломанными оглоблями и покореженными колесами, останками жертв крушений на горных дорогах, сваленных догнывать в этом углу.

Сквозь фантастическую баррикаду трое мужчин, тесно прижавшись друг к другу, следили за единственным фасадным окном, в котором еще теплилось немного света.

- Похоже, сегодня они не собираются спать!
- Ничего, рано или поздно улягутся.

- А как нам развязать ему язык?
— Сперва поболтаем, как добрые приятели, ну, может, малость поджарим ему пятки...
— Тсс! Да замолчите вы оба!
— Что там еще?
— Вы ничего не слышите?
— А что мы должны слышать?

Здесь, под открытым небом, на уровне земли, лишенный защиты стен, человек был весь во власти тоскливого болезненного чувства, от которого выворачивало желудок. О силе урагана можно было догадаться только по виду деревьев, которые вдруг разом вытягивали свои ветви к луне, точно простертые руки.

— Можете мне не верить, но я-таки слышал какой-то звук!

В следующее мгновение трое мужчин ощутили, как холодок пробежал у них между лопатками. Откуда-то из мрака вынырнул черный силуэт и по выщербленным плитам подворья зашагал к дому, сражаясь с порывами ветра, который трепал его штаны и раздувал куртку, придавая фигуре незнакомца совершенно нереальный вид. Впрочем, можно было разглядеть, что человек этот довольно высокого роста, и пальцы его полусогнутых рук растопырены, как если бы он примерялся к противнику, собираясь схватить его в охапку.

Между тем человек был уже возле самого входа. Он поднял сжатую в кулак руку, собираясь заколотить в дверь, но потом передумал и резко дернул за шнур щеколды. Створка со скрипом повернулась на петлях и снова захлопнулась под очередным порывом ветра.

Взгляды троих сообщников, прятавшихся за грудой сломанных повозок, были прикованы к окну — только так они могли судить о том, что происходит внутри дома. Иногда на фоне освещенного прямоугольника мелькала тень руки или головы, реже, на мгновение, возникал целый силуэт. Мужчины в засаде ждали. Больше они не проронили ни слова.

Внезапно дверь распахнулась — на сей раз настежь, и человек, за которым они наблюдали, шагнул в проем. Несколько минут спустя он появился опять, как будто его выталкивали изнутри, стараясь вышвырнуть за порог дома, но тут же ухватился за створку и на какой-то миг очутился в полосе яркого лунного света. Однако с такого расстояния невозможно было разглядеть его лицо.

Ветер, сила которого упорно не желала идти на убыль, снова трепал штаны и куртку незнакомца, направившегося теперь в сторону колодца. Человек с трудом продвигался вперед, растопырив руки со стиснутыми кулаками, и это придавало ему сходство с пугалом, готовым вот-вот рухнуть на землю. Трое мужчин увидели, как он медленно огибает желоб, из которого поили лошадей, и, цепляясь руками за сруб колодца, склоняется над его отверстием. Казалось, сейчас он бросится вниз, и они крепко

схватили друг друга за руки, на случай, если кто-то захочет ему помешать. Однако мужчина выпрямился, разжал пальцы и, когда туча закрыла луну, прошел так близко от сидевших в укрытии, что они почувствовали запах его остывшего табака и узнали его.

Ветер валил его с ног, шатаясь, он побрел по колеям, выбитым в плитах подворья за предыдущие столетия, пересек дорогу, вскарабкался на насыпь и, уцепившись за край дрезины, взобрался на платформу. С трудом начал приводить в действие рукоять насоса, а его раздуваемая ветром одежда хлопала, будто парус. В следующее мгновение дрезина пришла в движение, и он, точно призрак, исчез за поворотом дороги, где белело в отдалении здание недавно построенного Люрского вокзала.

И тогда на фоне адского грохота, поднятого разбушевавшимся потоком, раздался новый звук. Перекрывая рев бури, выворачивавшей с корнем сосны и каменные дубы, колокол обители на плато Ганагоби зазвонил к заутрене. Этот простой и в то же время величественный звук, сумевший возобладать над разгулявшейся стихией, напомнил троим мужчинам, что им следует поторопиться. Прижавшись друг к другу, как будто слитые в единое тело, они бросились к дому. Скрывавшие их лица сетки, какими пользуются при сборе меда пчеловоды, придавали их головам гротескное сходство с недоразвитыми головами эмбрионов. В лунном свете они казались одним многоголовым и многоруким существом, вооруженным тремя сверкающими ножами.

В доме над очагом трепетало умирающее пламя.

Мсье Беллаффер, нотариус из Пейрюи, во все глаза смотрел на стоящего перед ним молодого человека с обликом библейского архангела, чья могучая грудная клетка распирала вылинявшую от многократных стирок футболку, заменявшую ему рубашку. При этом нотариус изумлялся, как за четыре года, проведенных в траншеях, в такую широкую грудь не попало ни единой пули. Да разве на войне такое возможно?

Со своей стороны, Серафен Монж разглядывал нотариуса, как смотрит ребенок, выросший на попечении общественной благотворительности. Он вступил в жизнь безо всякой веры в гуманность рода людского, ибо сестры из Дома призрения не научили его этой вере. Привыкшие трепетать — перед монсьёром епископом, господином экономом, благотворителями и попечителями, — они жили в позе униженного смирения, простертые ниц перед этими могущественными существами, и приучали к тому же Серафена. Что касается Господа Бога, они боялись Его наравне с людьми и не рассчитывали на Его милость. Им удалось сделать Его весьма заслуживающим веры в глазах Серафена, представив мальчику грозным и не ведающим жалости.

По завершении такого образования, четыре года войны не улучшили его мировосприятия, главной чертой которого была перспектива ежечасной смерти.

Впрочем, это недоверие к ближнему не стало оружием в руках Серафена. Хоть он и видел людей насквозь, не умел, однако, защищаться от их действий, а потому сейчас с простодушной улыбкой слушал нотариуса, который все больше запутывал его в паутине юридических тонкостей.

— Нам следовало представить вам отчет раньше... — нотариус испустил легкий вздох, — но, к сожалению, произошла небольшая задержка... К тому же мы не могли созвать семейный совет, поскольку у вас не было больше никаких родственников. Надо было изыскать средства на самое неотложное: нанять для вас кормилицу, обеспечить уход и заботу, а потом — образование... Черт возьми! Что бы там ни говорили, это недешево обходится — я имею в виду услуги сестер из Дома призрения. Если у вас есть кое-какие блага под солнцем... — Водрузив на нос очки и посплюнув палец, он принялся шумно перелистывать лежащие перед ним бумаги. — Земли, конечно, были проданы, а вот дом... — тут он принял сокрушенный вид. — Дом нам, увы, продать не удалось.

— Почему? — машинально спросил Серафен.

— Почему? Да потому... Ну, вы же знаете!

— Нет, — в полном недоумении ответил Серафен.

— Как?! Вы не знаете? Но... вы ведь читали свое свидетельство о рождении?

— Мне известно только, что я сирота, — проговорил Серафен тихо, как будто стыдился этого факта.

Нотариус поторопился переменить тему.

— Короче, у вас остается 1250 франков 50 сантимов от продажи земель, а также живого и неодушевленного инвентаря... И плюс дом. А вот — ключ!

Серафен внимательно его разглядел. Он был большой, с погнутой головкой, по изношенному металлу, словно проказа, расплзались рыжие пятна ржавчины.

Нотариус встал и вышел из-за стола. Он засунул банкноты и монеты в приготовленный для этой цели конверт, после чего, вместе с ключом, протянул Серафену.

— Вот! — сказал он. — Проверьте свои счета! И если вдруг, случайно, вы обнаружите там какую-нибудь ошибку, не премините мне об этом сказать.

— О, я уверен, что там все в порядке, — машинально проговорил Серафен. Молодой человек медлил и продолжал стоять, загромождая собой комнату.

— Вас что-то беспокоит? — осведомился мсье Беллаффер.

— Скажите, господин нотариус... Я хотел у вас спросить... Когда я был на фронте, я получал посылки отсюда... Почти каждый месяц... Вы не знаете, кто бы это мог быть?

— Посылки? Нет... — ответил нотариус, но тут же спохватился. — Должно быть, это мой бедный отец... Он был таким добрым человеком!

Серафен покачал головой.

— Ваш отец? Но, как я слышал, он умер в шестнадцатом.

— Да, да... — пробормотал мсье Беллаффер.

— В таком случае это не мог быть он. Я продолжал получать посылки до самой демобилизации.

— Вот как? А имени отправителя на них не было?

— Нет, никогда.

— Значит, это делала какая-нибудь добрая душа... Вот увидите — мир полон хороших людей!

Желая поскорее выпроводить Серафена, нотариус положил руку ему на плечо, однако молодой человек был слишком высок ростом, и покровительственного жеста не получилось.

— Кстати, вы хорошо устроились? — поинтересовался мсье Беллаффер.

— Я получил место дорожного рабочего...

— Дорожного рабочего! Это как раз то, что нужно! В Управлении мостов и дорог вы всегда сможете найти работу. И потом — у вас будет право на пенсию!

Когда за Серафеном наконец закрылась дверь, мсье Беллаффер, заложив руки за спину, еще долго смотрел вслед удалявшемуся сироте сквозь фестоны занавесок своего большого, забранного прочной решеткой окна. На него произвела сильное впечатление эта спокойная человеческая масса, передвигающаяся так грациозно и бесшумно, что даже дыхания не было слышно.

Старый Бюрль, который только что отправил в рот кусок жевательного табака и прикусил его своими последними зубами, бросил оценивающий взгляд на Серафена, могучими движениями поднимавшего и опускавшего трамбовку. Они приводили в порядок дорогу у поворота на мост через канал, где колеса тяжелых грузовиков разбивали булыжник.

Был самый разгар лета, но в этот вечер небо над Дюранс словно припорошило мельчайшей черной пылью, не скрадывавшей пока очертаний облаков. Дымка была легкой и почти незаметной, но при более внимательном взгляде обнаруживалось, что она уже успела вытеснить вечернюю синеву и неуклонно надвигалась на солнце.

— Ну, парень, сейчас как грохнет! — заметил старый Бюрль. — Неплохо бы нам подобраться поближе к какому-нибудь жилью.

Серафен положил трамбовку и повернулся к нему.

— А если придет господин Англес? Он ведь сказал, что этот ремонт — дело срочное...

— Ох! Господин Англес, господин Англес!.. Коли посыпется град, то уж не ему на спину! А много ли будет проку дороге, как

после этой грозы я две недели не смогу разогнуться? — Старик с остервенением воткнул свою лопату в грудь щебенки у откоса, поплевал на руки табачным соком и снова окинул подозрительным взглядом горизонт. — Видишь, парень, когда небо над Мэ делается такого цвета, это значит, что оно на землю рухнет. Сам скоро убедишься. Ох, и грохнет же!

Он не успел закончить фразу, когда над карликовыми ивами Искля полыхнула маленькая молния. И тотчас до них донесся странный шум — будто над их головами кто-то опрокинул тачку со щебнем.

— Живо, Серафен! Пора уносить ноги!

Бюрль швырнул свою лопату на кучу щебня и пустился наутек. Серафен помчался следом за стариком.

— Эй, куда же вы? Подождите меня!

Но Бюрль карабкался вверх по склону со всем проворством, на какое были способны его короткие ноги. Казалось, гром подталкивает его в спину. Бюрль был уже наверху, перед двумя кипарисами, служившими ему ориентиром, и в следующую минуту ступил на вспученные плиты двора, где когда-то останавливались ломовые извозчики. Однако теперь каретные сараи, чьи расколотые трещинами стены постепенно рушились, погребая остовы телег и сельскохозяйственных машин, не могли служить убежищем. Наконец Бюрль обнаружил глухую стену с массивной дубовой дверью, которая даже не дрогнула под ударами его ноги.

— Эй, Серафен! Ты где там застрял? Давай живей, чтоб им всем пусто было...

Серафен вынырнул из-за ливневой завесы, его белокурые волосы прилипли к черепу, как у утопленника, но и под этим шквалом его шаг оставался размеренным и твердым.

В это мгновение молния полыхнула так близко, что последовавший за ней раскат грома почти оглушил обоих мужчин, и в озарившей небо яростной вспышке лицо Серафена вдруг представало Бюрлю совершенно иным, нежели при обычном дневном свете.

— Мать Божья! — выдохнул старик.

Но когда в течение пяти минут человеку набивают в глотку целую тачку града, когда кусочки льда через ворот сорочки просыпаются пониже пояса до самых подштанников, где скапливаются, устроив ледяное гнездышко, тут уж не до того, чтобы углубляться во всякие там мысли.

— Ну что ты там копаешься? — завопил Бюрль. — Помогите лучше высадить эту чертову дверь!

Серафен стоял, выпрямившись во весь рост, и не отрываясь смотрел на дверь с двумя старыми печатями из почерневшего воска, скрепленными хорошо сохранившимся, несмотря на прошедшее время, конопляным шнуром. Но прежде всего в глаза Бюрлю бросился массивный ключ — старый, погнутый, сработавшийся. Он схватил его и быстро повернул в замке. Печати уступили с глухим треском.

Старик шагнул через порог и оглянулся. Серафен по-прежнему не двигался с места, несмотря на хлеставшие его по лицу градины.

— Ну, в чем дело? Что с тобой приключилось? — нетерпеливо окликнул его Бюрль. — Насмерть хочешь простудиться? Давай, заходи!

— Нет! — глухо выдавил Серафен.

Раздосадованный Бюрль подскочил к нему и втолкнул в дом, награждая пинками и тумаками. К его удивлению, Серафен не сопротивлялся, позволяя вертеть собой, точно большим расхлябанным паяцем. Застоявшийся запах соли, холодного очага и кованого железа щекотал ему ноздри, близкий и знакомый, словно запах вновь обретенного родного жилища. В воздухе еще плавал едва уловимый аромат чабреца.

— Меня зовут Серафен Монж... — вдруг прошептал Серафен.

— Ну и что с того? — проворчал Бюрль, вытирая лицо носовым платком. — Думаешь, это помешает тебе сдохнуть от простуды? Так что скидывай-ка куртку, рубаху, раздевайся догола! А я пойду, не осталось ли где дров... погоди, посмотрю, не промокли ли спички. На счастье, кисет у меня резиновый... Вот, держи! Положи эту охалку сухих веток на кучу пепла, думаю, они все-таки загорятся.

Он, кряхтя, стащил с себя одежду и остался в одних подштанниках — кривоногий, с грудью, заросшей седым волосом, и тощими, почти лишенными мускулов руками, — когда в очаге наконец начал потрескивать огонек, старик, ворча, подставил спину теплу.

Между тем гроза снаружи бушевала вовсю, иногда градины рикошетом залетали в дымоход. Отогревшийся Бюрль сунул за щеку новую порцию жевательного табака.

— Постой, постой, ты сказал, что тебя зовут Серафен Монж? — спросил он неожиданно.

— Да.

— Выходит, это тебя унесли отсюда в трехнедельном возрасте и передали сестрам из Дома призрения? — Старик хлопнул себя ладонью по ляжке. — Ну, сынок, было дело, доложу я тебе! Начать с того, что никак не удавалось сыскать кормилицу. Сколько их пришлось перепробовать! Они говорили, будто грудь у них леденела, стоило тебе взять в рот сосок. Не могли себя побороть — и все тут, прямо визжали от страха! Ну, и вырывали у тебя грудь, а ты начинал кричать... Да уж, история! В конце концов нашли одну женщину из Гийестера, она еще хворала зубом. Только кюре пришлось долго ее уламывать, поминая страсти Христовы... Так, значит, ты — Серафен Монж? Ну и ну! А тебе на пользу пошло!

В это мгновение прямо во дворе ударила молния, и старик инстинктивно пригнулся. Вспышка была такой силы, что, несмотря на закрытую дверь и ставень на слуховом окне, пламя в очаге потускнело.

— Вот чертова смерть! Она-таки нас достанет. Стоило пережить войну и испанку, чтобы тебя убило молнией! — И Бюрль ткнул пальцем за окно, где гроза бесновалась над вздувшейся рекой.

Между тем Серафен, успевший сбросить одежду и устроиться возле очага, казалось, не замечал ни грома, ни молний. Его внимательный взгляд обследовал дом. С хлебного ларя он перешел к шкафу с почерневшими от копоти дверцами, потом отыскал стенные часы, висевшие в самом темном углу. Их стекло покрывал слой грязи, такой густой, что за ним не было видно маятника, но циферблат остался чистым. Стрелки показывали 10 часов 40 минут — время, когда кончился завод механизма, и опустились гири.

Оттуда взгляд Серафена соскользнул на вереницу пыльных бутылей, мойку, обложенную красной плиткой, кухонную утварь, косо висящий календарь и, наконец, обеденный стол, окруженный скамьями и стульями. Лежащая на нем клеенка была покрыта темными пятнами, посередине чернела большая дыра.

Между столом и буфетом, рядом с приспособлениями для отжимания масла, прямо на полу стояла качающаяся деревянная люлька, ее прутья отбрасывали длинные косые тени, перечеркивая пламя очага. Несмотря на густую пыль, покрывавшую резьбу, еще можно было различить лепестки розеток, украшавших стенки колыбели. Серафен глядел на нее, не в силах оторваться.

— Они просто убрали трупы, — сказал Бюрль, — и унесли тебя. А так, кроме этого слоя пыли в три пальца, — он описал рукой широкий круг, — все здесь по-прежнему, как в тот день, когда я был тут в последний раз, двадцать три года назад, аккуратно столько, сколько тебе сейчас... Но тогда здесь чистота стояла — у Жирарды все так и сверкало. Женщина была, доложу я вам, во! — Он вытянул руку со сжатым кулаком и поднятым кверху большим пальцем.

— Жирарда? — переспросил Серафен.

— Ну да, твоя мать!

— Моя мать? Моя мать... — Ноги у него подкосились, и он осел прямо на плиты перед очагом, так что подошедший Бюрль смог без труда положить руку ему на плечо.

— Неужто никто так и не отважился тебе рассказать?

— Нет. — Серафен покачал головой. — Никто.

— Я тогда работал на дороге, — сказал Бюрль, — как на протяжении всех этих сорока лет. И вдруг примчались возчики из Амбрена! По пути они поднимали все бригады, укладывавшие рельсы, так что перед этой самой дверью нас собралось без малого пятьдесят человек. Мы все так и застыли на месте, будто язык проглотили... В то утро в этой комнате слышалось только два звука: тиканье часов, в которых еще не вышел завод, да плач ре-

бенка, оравшего во всю глотку, — это был ты... Остальные... Ох, парень, как вспомню этот запах! С тех пор я в жизни больше не мог помочь кому-нибудь заколоть свинью. Запах крови... теплой крови. словно прошел кровавый дождь, как в Гравелине... Ты не можешь себе представить!

— Ох, — выдохнул Серафен, — могу! Я — могу...

Бюрль в замешательстве уставился на него.

— Ах, да... — пробормотал он, — ты и вправду должен знать этот запах. Но я-то не воевал, я даже вообразить не мог, как выглядит кровь, когда ее столько. А она была повсюду! Целые лужи на полу, где топтались чьи-то ноги. Кровью был забрызган столб, подпиравший кровлю, дверцы буфета... И на стенных часах... Вот, смотри! Если ты смахнешь пыль со стекла, то увидишь, что оно покрыто черными пятнами. И потом... — Внезапно Бюрль сорвался с кресла, окинув его подозрительным взглядом. — Здесь! — он ткнул пальцем в место, с которого только что поднялся. — Здесь, где я сидел, нашли Папашу — это был отец твоей матери. Глаза у него были выпучены, а кровь застыла на фартуке, точно густая красная борода. Будто ему повязали вокруг шеи большую красную салфетку перед тем, как накормить супом... — Бюрль махнул рукой перед своим лицом, словно очерчивал эту бороду, и судорожно сглотнул — что-то застряло у него в глотке. — А там, — продолжал он тише, — рядом со стариком, под стеной, зарывшись пальцами в золу, лежал Мунже Юилляу — Монж-Молния — так его прозвали, потому что был он быстрым, словно молния. Маленький, худой, сухощавый... Хитрая bestия! Пройдоха, каких свет не видывал! Если такого подбросить в воздух, сумеет прилипнуть к потолку — до того были у него загребущие пальцы. А уж жалости не знал... — добавил Бюрль и умолк.

— Мунже Юилляу... — повторил Серафен.

— Твой отец, — проворчал Бюрль. Он повернулся и указал на место возле очага. — А его руки... Его руки! Они оставили кровавые следы вокруг деревянной солонки. Смотри, их видно до сих пор! Эти черные пятна! — Он снова повернулся к Серафену. — Никто так и не узнал, каким чудом ему удалось туда дотянуться, потому что... — Он быстро подошел к столу. — Убийца тут оплошал. У этого горло тоже было шероховатое, как у свиньи, но не до конца. Он, должно быть, защищался так яростно, словно у него вырывали мешок с золотом... Гляди! — Старик указал рукой на прореху в клеенке. — Посмотри хорошенько на этот стол: он из орехового дерева. Во времена твоего отца ему было уже больше ста лет, а орех с годами делается все тверже... Так вот, видишь эту дыру? И черные пятна, будто от пролитого вина? Здесь тоже кровь твоего отца. Убийца проткнул его вертелом, который висел там, наверху. И твой отец, твой отец... насаженный на этот вертел, он еще сумел дотащиться до солонки... — В течение нескольких секунд палец Бюрля был вытя-

нут по направлению к этому предмету, словно обличающий перст. — Так никогда и не дознались, как это ему удалось! — закончил старик. При этом Бюрль держал руки скрюченными возле груди, словно сжимая рукоятку невидимого вертела. Внезапно он услышал за спиной треск ломающегося дерева — это Серафен в изнеможении рухнул на стул. — Ты хочешь... чтобы я перестал? — спросил Бюрль.

— Нет, — выдавил Серафен.

Тогда Бюрль подошел к массивному шкафу в глубине комнаты, распахнул дверцу настежь и ткнул в глубину скрюченным пальцем.

— Там лежали вповалку твои два брата... Тоже с перерезанным горлом... как Папаша и твой отец. Один Бог знает, почему их туда затащили. Следы вели прямо от стола к шкафу.

Казалось, старик колеблется, не зная, продолжать ли дальше. Он остановился посреди комнаты, уронив руки вдоль тела, уставясь взглядом в серую пыль, саваном покрывавшую плиты.

— Вот здесь, — сказал он хрипло, — да, думаю, это было именно здесь... На этом вот самом месте лежала Жирарда, вытянувшись во весь рост, с задранными на голову юбками...

Старик услышал, как под Серафеном снова затрещал стул.

— Нет, нет... Успокойся, ее не насильовали! — проговорил он быстро.

— Моя мать... — бесцветным голосом произнес Серафен.

— Да, твоя мать, — подтвердил Бюрль. — Горло у нее тоже было перерезано от уха до уха, но только заметь — глаза у нее были закрыты! А все остальные так и продолжали смотреть на нас... — Он посмотрел на Серафена, который отвернулся и сделал вид, будто подбрасывает в огонь полено, чтобы скрыть свое лицо. — Должно быть, убийцы тебя не заметили, потому что сверху была навалена стопка простынь, сложенных твоей матерью. Между прочим, они тоже были забрызганы кровью! Да, тебя не заметили, хотя... Ты ведь наверняка кричал... Но если они тебя все-таки видели... Кто знает? Возможно, они пожалели ребенка... Достоверно известно одно: ты — единственный из всей семьи, кто остался в живых!

Серафен неловко поднялся со стула и, подавляя своим ростом, навис над стариком.

— А... — начал он.

— Сядь, сядь! — замахал руками Бюрль. — У меня и так в глазах рябит! Переверни лучше штаны и рубахи — пусть подсохнут и с другой стороны. Вот так, хорошо! Я знаю, о чем ты хотел спросить. Да, в конце концов их схватили, этих подлых убийц! Они оказались из числа рабочих, занятых на строительстве железной дороги, которую тогда дотянули как раз до наших мест. Рассказывали, будто их нашли мертвецки пьяными, а рядом валялись четыре початых бутылки водки из запасов

твоего отца. Явились они на заработки невесть откуда, я и страны-то такой не знаю — Герцеговина... По-французски двух слов связать не могли, а найти для них переводчика — еще та задачка! Однако башмаки их были в крови, и отпечатки на полу в Ля Бюрльер точнехонько подходили к их обуви. Кровь на подошвах, и штанины кровью заляпаны — какие уж тут могли быть сомнения! — Старик сплюнул жвачку прямо в огонь. — Их гильотинировали, — продолжал Бюрль, — 12 марта в шесть часов утра перед воротами тюрьмы в Дине. Не знаю уж, как народ о том дознался, но людей набралось сотни две — кто из Люра, кто из Пейрюи или Мэ. Рассчитывали поглазеть, а не увидели ровным счетом ничего! Метель была такая, что не слышать, как и нож упал. Они, правда, что-то кричали — мол, не повинны и все такое, но кричали-то на своем тарабарском наречии... Так что сам понимаешь, это мало кого обеспокоило. Тем более что полицейские говорили, будто все так кричат. Вроде бы им тогда кажется, что они и впрямь невиновны... — Бюрль поднялся и принялся натягивать штаны, которые счел уже достаточно сухими. — Вот, — повторил он, — что произошло здесь через три недели после твоего рождения. Теперь ты понимаешь, почему все тут осталось нетронутым. Почему за двадцать три года никто не осмелился взять и щепотки соли из-этой солонки. Почему властям так и не удалось продать Ля Бюрльер. Вовсе не потому, что они не пытались! Пять раз! И за все пять раз не нашлось ни единого покупателя! Ты понимаешь, что на этом доме лежит печать не только преступления, но еще и плахи? Да если бы Бюрльер задаром отдавали, ее б и тогда никто не захотел!

Старик протянул Серафену его сухие брюки, которые тот машинально натянул на себя. Потом вытащил из кармана тиковой куртки свой кисет, развязал его и сунул в рот очередную порцию табака. Он долго качал головой, прислушиваясь к последним спазмам грозы.

— Но как по мне, — проговорил он наконец, — что-то здесь нечисто. Видишь ли, парень, в прошлом твоего отца была какая-то тайна. Он — простой возчик, земель Ля Бюрльер хватало только для прокорма небольшого стада да чтобы вырастить немного хлеба. Но при том Жирарда всегда щеголяла в обновках, у твоих братьев появлялись добротные башмаки и ранцы к началу каждого учебного года, а у самого Монжа трое лошадей — и каких! И всякий раз как Монжи отправлялись на ярмарку в Маноск, они возвращались с полнехонькими корзинами. Ну разве не странно? — Он немного пожевал табак, уставясь в очаг, словно то было зеркало, отражавшее его воспоминания. — И потом, знаешь, что я тебе скажу? Когда мы примчались сюда, кое-что меня поразило — чувствовалась здесь какая-то холодная, давно сдерживаемая ярость... Понимаешь, не было там беспорядка — если не считать стопки простынь, упавших на твою колыбель,

солонки, которую, падая, сбил твой отец, да почтового календаря, перекосившегося на стене... Кто-то запер на щеколду шкаф, где лежали твои зарезанные братья. Короче говоря — в доме ничего не искали. И вот еще что: раны, края ран! Кровь давно перестала течь, и они были видны очень хорошо — белые и ровные, точно след от бритвы, только более прямые. И я сразу сказал себе: Жан, нанести такую рану может только одно орудие — хорошо заточенный резак. А у этих бедняг из Герцеговины ничего такого не нашли. Резак — это местный инструмент. Там, откуда были эти парни, такие штуки вроде бы не в ходу. На суде защитники показывали их ножи — это не резаки. А у нас все мужики ими пользуются — от мала до велика...

Старик наклонился вперед, чтобы подгрести золу с помощью совка, который снял со стены. При этом он не переставал качать головой, точно строптивый мул.

— Ох, в конце концов, я оставил мои соображения при себе, иначе люди стали бы на меня коситься. Но говорю тебе: что-то здесь нечисто...

— Ты хочешь сказать, глупец, будто знаешь, как все было?

Они не сразу восприняли голос, произнесший эти слова, поскольку он сливался с последними раскатами грозы, но в следующее мгновение обернулись, чтобы установить его источник. У них за спиной, перед захлопнувшейся дверью, лицом к очагу, в полумраке стоял мужчина. Одетый во все черное, старый человек, он в то же время не казался старым — только длинные седые усы выдавали его возраст. Его костюм да и весь облик странным образом не соотносились ни с какой эпохой, как если бы он существовал вне времени. Жилет незнакомца пересекала длинная цепочка — ни золотая, ни серебряная, но и не железная — тусклая, не бросающаяся в глаза. К ней крепился массивный брелок в виде черепа, грани которого стерлись из-за того, что вещь была очень старой.

Незнакомец устремил свой непроницаемый взгляд на Серафена, который был выше его почти на целую голову.

— Я знал, — проговорил он медленно, — что рано или поздно ты все-таки откроешь эту проклятую дверь.

Бюрль беспомощно развел руками.

— Надо же нам было укрыться где-то от грозы... — пробормотал он.

— А ты лучше помолчи! Чего успел ему наболтать?

— Все, что можно было рассказать на словах.

— Да ведь ты ему жизнь отравил! Вот к чему привела твоя глупая болтовня! — Внезапно незнакомец повернулся к ним спиной, пинком распахнул дверь и удалился размашистым шагом, ступая по градинам, которые хрустели у него под ногами, словно гравий.

Старик и Серафен невольно последовали за ним.

— Кто это? — спросил Серафен хрипло.

— Зорм, — ответил Бюрль. И сомкнул пальцы правой руки на большом пальце левой. — Он наделен силой... — прошептал старик, опасливо глядя по сторонам.

— Тише! — прикрикнул вдруг Серафен. — Послушайте! Что он там бормочет?

У подножия большого из кипарисов, чьи ветви, обломанные грозой, бессильно повисли вдоль ствола, Зорм повернулся к ним и выкрикивал какие-то неразборчивые слова.

— Оставь его, — воскликнул Бюрль. — Не пытайся понять. Он препирается с Дьяволом. Когда Зорм вот так раззевает свой рот, все мы, окрестный люд, разбегаемся и прячемся. Не гляди на него!

Однако Серафен, вопреки совету, странным размеренным шагом, будто сокрушая что-то на ходу, двинулся следом за Зормом, который опять повернулся к ним спиной и зашагал прочь.

— Серафен! — крикнул Бюрль.

Серафен исчез. Исчезли и его следы — так же, как следы Зорма, потому что небо, всего пять минут назад дышавшее смертельным холодом, изливало теперь потоки зноя, лето снова вступило во владение долиной.

— Эй, Серафен! Куда же подевался этот олух?

Старик ускорил шаг. Он быстро скатился с тропы, ведущей к Ля Бюрльер, на дорогу, усыпанную обломанными ветками и посеченной градом листвой. Старик хотел догнать тех двоих, если успеет. По шоссе струилась вода. Рывтины, которые они так старательно засыпали перед грозой, теперь появились снова и еще более глубокие. У Бюрля вырвался обескураженный жест. Растерянный, он обогнул остатки колючего кустарника, придавленного градом, который почти полностью скрыл под собой откос, где они работали с Серафеном.

Серафен лежал ничком на груди булыжника. Тело его сотрясалось от рыданий.

— Мама! Мама! Мама! — сквозь душившие его рыдания выкрикивал Серафен.

Молотя кулаками по груди щебня, он в кровь разбил себе руки. Но боли не чувствовал.

Еще в течение трех дней Серафен чувствовал боль в руках, которые разбил тогда о кучу щебня, и с тех пор каждую ночь, вместо военных кошмаров, перед ним вставало замкнутое пространство кухни в Ля Бюрльер. По воскресеньям он возвращался туда и целыми часами бродил от очага к столу из орехового дерева, от хлебного ларя до колыбели.

Его неотвязно преследовал образ матери, с задранными юбками и перерезанным горлом, лежавшей на полу у ножки стола. Напрасно днем он изнурял себя работой — ночью сон все равно не приносил ему покоя. Но особенно мучило Серафена и наполняло ужасом то, что у матери, которая столько раз являлась ему

в тоске и страхе, не было лица. Несмотря на все усилия, он не мог представить себе ее черты.

Папаша Бюрль вскоре умер от испанки. За несколько дней до его смерти Серафен навестил старика и попросил описать, как выглядела его мать.

— Зачем? — удивился Бюрль.

Он не испытывал страха перед близящимся концом. У него даже хватало сил пережевывать неизменный табак и сплевывать в сторону печки.

— Не влезай в это дело, парень, — сказал он напоследок. — Знаешь, не лежал бы я здесь сейчас, когда бы не рассказал тебе всего. Да уж ладно, что сделано, того не воротишь. И запомни, сынок: что-то тут нечисто. Не могло оно так произойти. Слышишь? Не могло!

Серафен поначалу пытался следовать его совету, принориться и жить, как все. По воскресеньям он появлялся на площади под гирляндами разноцветных фонариков на праздниках, устраиваемых по случаю победы.

Много девушек танцевали там друг с дружкой или в одиночестве подпирали стены. Это были ровесницы погибших на войне парней.

Впрочем, были девушки, которые на танцы не ходили. Прежде всего те, чьи отцы или братья погибли на фронте, и кто в течение нескольких лет должен был соблюдать траур. И еще другие, родители которых пытались вырыть как можно более глубокий ров между своими дочерьми и простыми смертными.

В то время титул Королевы Красоты между Пейрю и Люром делили Роз Сепюлькр и Мари Дормэр.

Роз ослепляла вас заново при каждой встрече, даже если вы были знакомы с ней давным-давно. Люди оборачивались и, затаив дыхание, глядели ей вслед, когда она проходила мимо, с почрочной наивностью покачивая бедрами.

Ее отец, Дидон Сепюлькр, чье дело процветало, пользовался известностью в округе, а потому рассчитывал достойно пристроить двух своих дочерей. К тому же он заметно расширил свои владения за счет прикупленных им лучших земель Монжей, когда эта семья в полном составе оказалась вычеркнута из списка живых.

Не будучи суеверным, он охотно приобрел бы и саму усадьбу — буквально за бесценок — когда б его жена решительно не воспротивилась. “Если ты подцепишь Ля Бюрльер, — заявила она мужу, — будешь жить в одиночестве, потому что я туда ни ногой! Жирарда, верно, еще бродит там по ночам и, — добавляла женщина с дрожью в голосе, — ищет своего младенца, чтобы дать ему грудь...”

Теперь, когда закончилась война, Дидон Сепюлькр начал беспокоиться, подсчитывая мало-мальски приличных молодых людей, еще оставшихся свободными, и при известии о каждом

новом браке со все более озабоченным видом мял между большим и указательным пальцем свою нижнюю губу. Тем паче, что сторожить Роз становилось все труднее. Она выскальзывала у него из рук, словно мокрое мыло. С тех пор как мать подарила ей велосипед, купленный на деньги, вырученные от продажи сыра, Роз гоняла на нем целыми днями, так что приходилось рассчитывать единственно на ее благоразумие. При этом у нее уходило два часа, чтобы съездить за хлебом в Люр, а на выполнение пустякового поручения бабушки, жившей в Пейрюи, потребовалось и вовсе полдня.

Мари Дормэр была не так красива, но этот недостаток восполняло бьющее через край здоровье — Мари являла собой счастливое исключение в семействе Дормэр. Ее отец, Селеста, был черным, точно сарацин, худым и сухощавым, с глазами разного цвета и запавшими щеками. Можно лишь удивляться, как этот тщедушный человечек ухитряется вымесить своими тощими руками теста на целую печь — больше, чем весил сам. Его жена, Клоринда Дормэр — в противоположность мужу длинная и белесая, будто лук порей, — отличалась непомерно большими ногами, которые при ходьбе ставила носками внутрь, ноги эти никак не желали уместиться под прилавком булочной, и она вечно спотыкалась обо все корзины. Кроме того, всякий раз, когда мадам Дормэр случалось взглянуть на свое отражение в зеркале, висевшем в комнате позади лавки, она восклицала: “Вот уж горе-злосчастье!”, потому что ее щеки и подбородок были изрыты оспой. Зато соседи не могли ею нахвалиться. “Добрая, как хлеб”, — говорили они.

Мари и Роз роднила общая черта — обе девушки не боялись никого и ничего. А очень скоро им должно было понадобиться все их мужество.

Через несколько дней после смерти папаши Бюрля Серафен возвращался домой глухой ночью. Как и все в этих местах, он не запирает свою дверь на ключ и, пройдя на кухню, обнаружил, что кто-то его поджидает: на фоне окна, освещенного снаружи установленным на площади фонарем, вырисовывался чей-то темный силуэт. В следующее мгновение Серафен услышал легкое шуршанье платья, развевавшегося от быстрых шагов, и навстречу ему из мрака скользнула девушка. Она подошла так близко, что при каждом вздохе ее маленькие острые груди почти касались нижнего края его ребер. Пряный запах цветущего шиповника исходил от нее, и Серафен различил белеющее в полутьме, обращенное к нему лицо, несмотря на то, что девушка стояла против света.

— Не задирай! — шепнула она. — Меня могут увидеть снаружи... Рассказать моему отцу...

— Нет, — проговорил Серафен.

— О! Я — Роз Сепюлькр. Ты говоришь “Нет!” сейчас, но погоди!

Он почувствовал, что она положила ладонь ему на пояс, и рука ее медленно скользнула вниз. Она принялась ласкать его сквозь ткань. Серафен услышал ее шепот:

— Ты увидишь... Увидишь... — во влажном бормотанье ее губ был долго сдерживаемый порыв, жадное стремление к тому, что он мог ей дать.

— Нет, — вполголоса повторил Серафен.

Роз быстро отдернула ладонь.

— Что значит — нет? Почему ты это все время повторяешь?

— Нет — значит нет.

Охваченная внезапной яростью, она ударила его кулачками в грудь и оттолкнула к стене.

— Дай мне пройти!

Роз вихрем слетела по лестнице, Серафен слышал, как она с силой рванула входную дверь и опрометью выскочила на улицу.

Он отворил окно и облокотился о подоконник. Однако напрасно мирное журчанье реки пыталось унять овладевшую им тоску. После рассказа Бюрля единственным звуком, непрерывно раздававшимся в ушах Серафена, было бульканье крови, вытекавшей из перерезанной артерии.

Теперь он понял, что положение тела его матери — так, как описал его Бюрль — указывало, что женщина пыталась доползти до колыбели, где он спал, пока она истекала кровью.

Привалившись к подоконнику, Серафен сидел, закрыв руками лицо, как будто зрелище, которым он был одержим, заново разворачивалось перед ним.

“Пока голова у тебя будет занята этим, — говорил он себе, — ты не сможешь жить, как все нормальные люди!”

Без сомнения, именно в эту ночь он и принял решение.

— Клоринда! Эй, Клоринда! Выглянь-ка на минутку!

Внизу на улице, окутанная облаком пыли, словно только что материализовалась из воздуха, Черная Триканот, орудия палкой, будто копьём, пыталась загнать в хлев своих коз, которые, сбившись в кучу, вымя к вымени, толкали и теснили друг друга. Налетевший ветер вздувал юбки Триканот, так что она казалась беременной, и в этом зрелище было что-то непристойное, потому как ей стукнуло уже семьдесят четыре года, хоть она еще крепко держалась на своих тощих и жилистых, как у петуха, ногах, оттопыривая при ходьбе острые ягодицы.

Клоринда Дормэр как раз протирала чаши весов, на которых отмерялось тесто, и появилась в окне с тряпкой в руках.

— Ты что сдурела — так орать? Селеста отдыхает после обеда!

— Ах, так ты еще ничего не знаешь? Серафен Монж! Он совсем спятил — крушит и жжет свою мебель! Там внизу, в усадьбе Ля Бюрльер. Швыряет в огонь все, что ни попадя!

Клоринда Дормэр зажала себе рот рукой, потому что живо представила истребление мебели, и это причинило ей такую боль, как будто мебель была ее собственной.

Мари находилась у себя в комнате на втором этаже. Стоя у раскрытого окна, она обтирала одну за другой изящные вазочки саксонского фарфора — подарок крестной ко дню первого причастия. При этом девушка строила планы. С некоторых пор она тоже думала о Серафене. Мари повстречала его, когда отвозила хлеб в Пайроль. Он как раз занес над головой свою кувалду, готовясь обрушить ее на вывернутый из откоса обломок скалы, и все мышцы его обнаженного торса вздулись от напряжения. Тогда Мари сказала себе: «Если я не приберу красавчика к рукам, его подцепит эта шлюха, Роз Сепюлькр... Одно имечко чего стоит — мороз по коже пробирает, такая на все способна! Тем более, что Бессолот мне говорила, будто видела, как однажды вечером она выходила от Серафена...»

Неудивительно, что Мари вздрогнула, услышав имя Серафена. В ужасе от совершаемого им святотатства она, без долгих размышлений, единым духом слетела вниз по винтовой лестнице, пронеслась через лавку и выбежала на улицу под взглядами окаменевших матери и Триканот. Девушка промчалась между ними, будто стрела, схватила прислоненный к стене велосипед, выкатила его на дорогу.

— Мари! — спохватилась Клоринда. — Ты что задумала, дочка? Куда ты?

Но Мари уже и след простыл.

Клоринда повернулась к Триканот, которой наконец удалось затолкать в хлев своих коз.

— Куда это она? — спросила заинтригованная старуха.

— Ха! Кто ж ее разберет? Эта девчонка совсем с ума сошла! Скоро она меня в гроб загонит!

А тем временем Мари со скоростью поезда мчалась по извилистой дороге к Ля Бюрльер, где из трубы валил черный дым.

Нелегкое это дело — сжигать мебель, имеющую свою историю. Первой сдалась огромная квашня, вся, за исключением крышки, источенная шашелем, с ножками, рассыпающимися в прах, она стонала, будто живое существо.

Справиться со столом оказалось куда труднее: шестисантиметровая столешница успешно противостояла ударам, а так как в длину стол достигал почти четырех метров, его нельзя было сунуть в очаг целиком. Даже с помощью кувалды Серафен не мог уничтожить след от вертела, который с чудовищной силой вонзился в дерево, пройдя сквозь тело его отца.

Серафен выпрямился, тяжело переводя дыхание. Его взгляд упал на часы, боязливо забившиеся в самый темный угол, и два удара кувалды разнесли в щепы корпус из белого дерева, на котором неизвестный художник когда-то нарисовал идиллический букетик. Через образовавшийся пролом Серафен, будто кровотокащие внутренности, вырвал маятник и механизм и швырнул их на изувеченный, но все еще державшийся стол. Потом он хотел пришибить ногой стенку колыбели, но первый же удар ото-

звался в его костях резкой болью. Тогда он в ярости отшвырнул ее к стене, но колыбель, словно бумеранг, отскочила обратно на середину комнаты и встала, раскачиваясь с однотонным мурлыканьем прялки.

К счастью, очаг был достаточно просторным для того, чтобы, в отличие от стола, вместить ее всю. Серафен схватил ее и поднял, намереваясь швырнуть в огонь.

В это мгновение дверь распахнулась, и на пороге выросла запыхавшаяся Мари Дормэр. Увидев жест Серафена, она метнулась к нему и обеими руками вцепилась в прутья колыбели.

— Прочь с дороги! — рявкнул в бешенстве Серафен.

Они сцепились, пытаясь вырвать друг у друга колыбель, которая раскачивалась и выворачивалась, поочередно нанося им удары.

— Да у вас просто совести нет! — кричала Мари. — Жечь колыбель, которая может еще послужить вашим детям!

Не оставляя попыток отнять у нее колыбель, Серафен тряхнул головой.

— Никогда! Вы слышите — у меня никогда не будет детей!

— Но я хочу, чтобы у меня были!

Воспользовавшись замешательством Серафена, который не ждал подобного ответа, девушка с такой силой рванула на себя колыбель, что та осталась у нее в руках. Мари тотчас обхватила ее, крепко прижав к груди, и отступила к стене, полная решимости, если нужно оказать дальнейшее сопротивление.

— Можете ее забрать, раз уж вам так хочется.

— И заберу!

Девушка повернулась к нему спиной, выбежала во двор и быстро приладила колыбель к багажнику велосипеда.

Серафен вышел следом за девушкой и, качая головой, наблюдал за ее действиями. У него вырвался глубокий вздох, первый с тех пор, как он вернулся с войны, и Бюрль рассказал ему о событиях той ужасной ночи.

У подножия одного из кипарисов лежала глыба почерневшего от времени известняка — остатки некогда украшенной резьбой церковной капители. Очевидно, кто-то из предков Серафена притащил ее сюда, чтобы использовать вместо скамьи для отдыха летними вечерами. Серафен тяжело опустил на нее, свесив руки между колен.

— Иди сюда! — сказал он глухо.

Девушка подошла и села рядом — бесшумно и осторожно, словно он был птицей, готовой при первой же тревоге упорхнуть в колючие заросли.

— Я никак не свыкнусь... — говорил между тем Серафен. — Это все время стоит у меня перед глазами. Раньше я думал, что не смогу забыть войну... Э, нет! Это намного страшнее. Понимаешь, война — общая беда, а то, что случилось здесь — только мое личное горе. Вот почему я хочу все уничтожить. Если все это ис-

чезнет, моя мать... может быть, она исчезнет тоже... Она умерла там, в доме, когда ей не было еще и тридцати лет... Обливаясь кровью, она ползла к моей колыбели, вот этой самой! — Он махнул рукой в направлении багажника. — Моя мать и я... А потом было сиротство. Сестры в приюте знали о моем прошлом больше, чем я сам. И они держали меня в стороне от других детей, словно я был заразным. Когда я получил аттестат и не мог больше оставаться на их попечении, они с радостью сбывли меня с рук и отправили под Тюрье на посадку леса.

Я жил тогда в бараке вместе с другими людьми. По вечерам они разговаривали вполголоса, но когда я подходил, замолкали. Я понимал, что со мною что-то не так... Почти все мои товарищи были уроженцами Пьемонта. Часто они получали письма от матерей и читали их сообща. Иногда кому-нибудь приходило письмо, где говорилось о смерти матери. Тогда в бараке всю ночь стояли вопли и стон — горевали они тоже вместе. Как-то один из новичков, только что попавших к нам, спросил меня: "А твоя мать не пишет?" Но прежде чем я успел ответить, один из мужчин постарше дал ему такого пинка под зад, что бедняга отлетел в сторону и растянулся на соломе. Семь лет... Семь лет провел я там в горах. Потом началась война. А я так ни о чем и не дознался. Все эти годы как будто спал...

Мари придвинулась ближе к Серафену, схватила его безвольную руку и прижала к своей груди. Но рука эта осталась безжизненной и холодной; впрочем, Серафен почти тотчас ее отнял. Потом он встал, и взгляд его уперся в кипарис, под которым они сидели.

— Это кажется мне невозможным, — проговорил он, — невероятно, что здесь не осталось больше никаких признаков жизни. Я...

Внезапно Серафен умолк, и глаза его, с той мгновенной остротой, которая вырабатывается у человека на войне, впились в заросли лавровых деревьев, отделявших двор усадьбы от дороги. Ему показалось, будто там разнесся слабый шорох, едва заметное волнообразное колебание, неуловимое, как дуновение вечернего ветерка, движение, которое способны различить только охотник или преследуемая им дичь.

Не размышляя больше, Серафен направился к роще и оказался там раньше, чем оставшаяся под кипарисом Мари успела сообразить, что происходит. Серафен раздвинул ветки. Вокруг стояла тишина, ничто не шелохнулось — ни камешек, ни травинка, но среди терпкого запаха раздавленных жестких листьев его нос ощутил присутствие человека. Кто-то затаился в зарослях пырея и долго лежал там, подслушивая их разговор.

Медленным шагом Серафен вернулся в Ля Бюрльер. Мари и ее велосипед исчезли. Какое-то время он постоял, глядя на каменную глыбу под кипарисом, затем пожал своими широкими

плечами и направился в дом, чтобы бросить в огонь остатки мебели.

В воскресенье утром Серафен снова пришел в Ля Бюрльер. Он запер дверь на два оборота ключа, и вскоре из трубы опять повалил дым. Когда кухня опустела, и в ней не осталось ничего, кроме стен, потолка и пола, на которых пятна застаревшей крови образовывали странные и зловещие рисунки, Серафен принялся за комнаты, потом чуланы, кладовки и, наконец, коридоры. Он сжег все, что поддавалось огню: гардеробы, секретер своего отца, дверцы стенных шкафов. Остывший пепел он вытряхивал прямо на плиты двора, и ветер уносил его прочь.

Наконец дым исчез над Ля Бюрльер. Теперь Серафен мог свободно расхаживать по усадьбе, пробуждая эхо в пустых комнатах, где не осталось ничего — только стены, плиты на полу да потолки.

Вскоре Серафен принес стремянку, которую прислонил к фасаду. Не торопясь, поднялся на крышу. Он снял одну черепицу и сбросил ее вниз, на каменные плиты, где она разлетелась на мелкие осколки со звоном разбитой тарелки. К вечеру в крыше Ля Бюрльер зияла обширная рана. Закатное солнце меж обнажившихся балок освещало часть сломанной перегородки под южным чердаком.

Настал день, когда обнажился деревянный остов Ля Бюрльер, подставив яркому солнцу выбеленные веками кости своих вросших в стены балок.

Лишенная кровли, зияющая пустотой своих обезглавленных чердаков, между свечами четырех вытянувшихся на ветру кипарисов Ля Бюрльер производила зловещее впечатление. Еще никогда она так не походила на пустой пока гроб, дожидющийся, чтобы в него опустили огромное тело.

Теперь Серафен принялся за четыре карниза, прикрытые прежде выступающей частью крыши, представлявшие собой ажурные гирлянды ячеек, служивших для вентиляции чердаков, где хранился фураж. И почти в каждой лунке этих сот лепилось ласточкино гнездо.

При первом же ударе кувалды, от которого содрогнулась стена, весь пернатый народ издал пронзительный вопль ужаса. Птицы накинулись на Серафена со свистом рассекающей воздух косы. Одна даже, изловчившись, клюнула его в лоб, но он отогнал ее рукой — без раздражения или гнева. За первым ударом последовал второй. Обезумевшие ласточки носились вокруг Серафена, ослепляя его, оглушая своими неистовыми криками, в то время как он сильными размеренными ударами расшатывал туювую кладку, служившую опорой для штукатурки.

— Негодник! Стида у тебя нет! Разорять птичьи гнезда!

Серафен скосил глаза. На стене, уперев руки в бедра, в испачканном мелом платье стояла Роз Сепюлькр. Ее глаза и щеки пы-

лали от гнева. Ласточки накиннулись и на нее, трепали ей волосы, клевали в лодыжки.

— Эй, ты что там делаешь? — крикнул Серафен. — Ну-ка, слезай, не то упадешь!

— Упаду? Я сама брошусь вниз, если ты сейчас же не перестанешь!

Серафен пожал плечами.

— Бросайся, если тебе так хочется...

— Убийца! — вопила Роз. — Да ты не лучше тех мерзавцев, которые прикончили твою семью! Ты такой же! Даже еще хуже! Тебя-то пожалели, а ты нападаешь на беззащитных птенцов. Они ведь еще летать не умеют! У них и крылья-то толком не выросли... Нет, ты — худший из убийц!

— Серафен! погоди! послушай!

Они обернулись — через двор, спотыкаясь о груды щебня, бежала Мари Дормэр.

— Этой еще тут не хватало! — процедила Роз.

Повернувшись спиной к Серафену, она проворно устремилась вниз по наклонному ребру, легко соскользнула по лестнице и загородила дорогу Мари, уже успевшей схватиться за первую перекладину.

— Тебя сюда не звали! — заявила Роз.

— Пропусти меня!

Мари, изловчившись, схватила соперницу за пояс и оторвала от стremянки, а Роз, в свою очередь, обеими руками вцепилась в волосы Мари, и они вдвоем полетели на землю. Они боролись молча, без слов, тяжело дыша, охваченные гневом и все же не способные серьезно навредить друг другу. Они брыкались крепкими ногами, мелькавшими среди вороха задранных юбок, и вскоре их ободранные о плиты колени превратились в одну сплошную ссадину.

Серафен спустился, чтобы их разнять, но в ту минуту, когда он коснулся земли, наверху, на участке стены, который он расшатывал своей кувалдой, послышался странный звук. Он инстинктивно бросился к девушкам и, схватив обеих в охапку, толкнул их в сторону — как раз вовремя, поскольку в следующее мгновение на то самое место, где они только что стояли, рухнул огромный кусок карниза, весом не менее пятидесяти килограмм. Ласточки тучей устремились прочь, оглашая небо криками ужаса. Трое молодых людей, окаменев, смотрели на едва не раздавившую их глыбу. Испуганные девушки не проронили больше ни звука.

— Уходите! — сказал Серафен. — Только я могу оставаться здесь. — Легонько подталкивая, он выпроводил их со двора. — Запомните хорошенько: я никогда никого не полюблю. Я ни на ком не женюсь. У меня никогда не будет детей.

Роз, всхлипнув, забралась на свой велосипед и умчалась прочь. Мари, опустив голову, направилась к трехколеске, в ко-

торой обычно развозила хлеб. На полпути она обернулась и посмотрела прямо в глаза Серафену.

— Ради ласточек... — сказала она тихо.

— Ладно! — так же тихо откликнулся Серафен. — Я подожду, пока они улетят.

И он сдержал обещание. Но как только птицы разлетелись, и гнезда опустели, Серафен вновь поднялся на стремянку и с удвоенной силой принялся крушить кувалдой сначала карнизы, а потом огромные валуны с берегов Дюранс, из которых, скрепленные известковым раствором, были сложены стены Ля Бюрльер.

Об этом судачили в семейном кругу после воскресного обеда все бездельники из Люра и Пейрюю, потешаясь над безумием человека, который сперва сжег свою мебель, а сейчас рушит свой дом. Если до сих пор Селеста Дормэр и Дидон Сепюлькр ограничивались ворчливыми нотациями дочерям, теперь это приняло форму: "Если я еще раз увижу, что ты болтаешь с этим доходягой, я тебе голову размозжу!"

Но был человек, не говоривший ничего. Он просто приходил, устраивался на капители у подножия кипариса и сидел там часами, опершись подбородком на руку, погруженный в задумчивость. Этот незнакомец был частью другого мира: одевался, как барин, курил дорогие сигареты, которые доставал из золотого портсигара, и разъезжал в сверкающем красном автомобиле. Выходя из машины, он захлопывал дверцу жестом усталого, пресыщенного человека.

Серафен не обращал на него внимания, как и на прочих бездельников и зевак. Он продолжал сбрасывать камни и пласты штукатурки на плиты двора, а когда там скапливалось слишком много мусора, спускался вниз, лопатой загружал обломки в тачку и высыпал с обрыва в Дюранс.

Между тем лето подходило к концу. Настали ветреные, дождливые дни. С Верхних Альп в долину хлынули стада овец.

Тон шествию задавал шагавший во главе стада старый пастух. А в хвосте этих масс, с трудом сдерживая нетерпение, по колону в грязи, измученные ливнями и накопившейся усталостью, зябнувшие в своих выношенных кожаных куртках, плелись с полдюжины подпасков, всегда готовых затеять ссору или потасовку.

Как и все в Люре, они были наслышаны о безумце, вздумавшем развалить свой дом. Подходящий случай, чтобы дать себе разрядку, и вот, с кнутами в руках, они окружили стену, которую сокрушал ударами кувалды помешанный колосс. Похохатывая, хилые подростки принялись подбирать камни и швырять вверх. Наконец, уязвленные безразличием Серафена, четверо из них придумали убрать лестницу и сбросили ее на землю у подножия стены.

— Эй ты, дурачина! Сиди там, коли тебе так нравится!

Они захлебывались от смеха, хватаясь руками за животы, уверенные в полной своей безопасности. И вдруг, когда старший из подпасков нагнулся за очередным камнем, он получил такого пинка под зад, что кувырком полетел на кучу щебня. В то же мгновение кто-то вырвал у него из руки кнут. Юнец проворчал что-то сквозь зубы, полагая, будто удар ему нанес старший пастух. Он оглянулся — то же сделали остальные, но тотчас пригнулись, поскольку кнут просвистел у них над головами, рассекая воздух с такой силой, что, будучи знатоками, они не могли не оценить мастерство нападавшего. Однако его лицо заставило их вовсе замереть на месте.

— Ну-ка, поставьте эту лестницу так, как она стояла, — спокойно сказал незнакомец, — или кнутом я вышибу вам по глазу.

Подпаски не рискнули перечить. Когда лестница оказалась на месте, они пустились наутек на полусогнутых ногах вдогонку стаду.

Серафен не упустил ни одной детали этой сцены и, как только лестницу снова прислонили к стене, спрыгнул на землю. Незнакомец, следивший за беспорядочным бегством подпасков, резко обернулся, и Серафен тотчас понял, почему нападавшие в такой панике покинули поле боя. Перед ним был инвалид войны с изувеченным до потери человеческого облика лицом. На такого впредь уже никто не отважился бы поднять руку из одного только страха, что все погибшие на войне поднимутся из своих могил, возмущенные подобным святотатством.

— Ну что ж, будем знакомы, — сказал он. — Меня зовут Патрис. Патрис Дюпен.

— Вы — сын господина Дюпена? — спросил Серафен.

— Увы, — вздохнул Патрис. — Действительно, у меня есть отец.

Серафен смущенно улыбнулся.

— Без вас пришлось бы мне ночевать наверху...

— Без тебя, — поправил Патрис, сделав ударение на слове "ты". — Самое скверное, что, не вмешайся я вовремя, эти подонки выставили бы тебя на посмешище. А я не хочу, чтобы над тобой смеялись.

Молодые люди посмотрели друг на друга. Несмотря на изувеченные черты одного и ангельский лик другого, было видно, что они — ровесники, и обоим довелось нести один и тот же крест.

— По внешнему виду, — заметил Патрис, — ты удачно выпутался.

— Только по внешнему виду... — тихо сказал Серафен.

Они уселись на обломок колонны под кипарисом. Патрис приглашающим жестом раскрыл свой золотой портсигар.

— Спасибо. — Серафен покачал головой. — Я курю самокрутки. — Он вытащил свой кисет и рисовую бумагу.

— А ты думаешь о войне? — спросил неожиданно Патрис.

— Никогда.

— Ах да, у тебя ведь есть другой предмет для размышлений...

— В таком случае, вы — первый человек, который не спрашивает, почему я это делаю. — Серафен повернулся и обвел рукой двор, заваленный строительным мусором. Патрис пожал плечами.

— У каждого что-нибудь да исковеркано, — сказал он. — У тебя, вот, душа... Но почему ты говоришь мне "вы"? Ведь мы — земляки.

— Не могу, — признался Серафен. — Вы — сын господина Дюпена.

— Это верно, я сын господина Дюпена. В один прекрасный день я, возможно, буду сыном господина советника Дюпена. А ведь когда-то он был всего-навсего кузнецом из Мэ! Но в четырнадцатом году ему удалось получить подряд на поставку для армии подков, солдатских котелков и чего-то там еще. А потом еще гранат, артиллерийских снарядов. За первым подрядом последовал второй, затем третий... Он выпустил столько снарядов, что они дождем сыпались нам на головы. На этом деле он хапнул миллионов больше, чем кусочков, из которых скроили мне физиономию. Но когда он меня увидел, то готов был отдать их все, до единого. Честное слово! Вот только не знал, кому. — И он разразился смехом, черной вспышкой озарившим его исковерканное лицо. — Со временем он, конечно, пообвыкся. Смотри! В качестве компенсации я получил от него вот это! — Патрис указал на красный автомобиль у подножия лавровой рощи, вызывающе сверкавший своими хромированными деталями.

— Мне пора, — проговорил Серафен. — В моем распоряжении только воскресенье. Еще раз спасибо за помощь.

— Ах да, тебе ведь нужно наверх... — Патрис вытащил из портсигара новую сигарету. — Загляни как-нибудь ко мне, у меня нет друзей. Это там... — Он сделал неопределенный жест в сторону противоположного берега Дюранс. — По пути к Ле Пурсэль. Отец купил там особняк, называется он Понтрадье. Мой папочка величает его замком и вообще разыгрывает из себя дворянина. Просто умора, обхохочешься!

Резким движением он протянул руку, и Серафен в ответ подал свою. Эта огромная лапища, созданная, казалось, давить и крушить, при пожатии осталась вялой, словно крыло мертвого голубя.

"Он никогда не увидит во мне друга, — с грустью сказал себе Патрис. — Для него я навсегда останусь сыном господина Дюпена".

Он уселся в свой роскошный автомобиль. Стоя у подножия кипариса, Серафен какое-то время смотрел ему вслед, потом спокойным и размеренным шагом поднялся на стремянку.

Вскоре его навестил другой посетитель. Это случилось вечером. Серафен только что выковырял из стены округлый камень, по форме напомилавший глаз и весивший, должно быть, не меньше сорока килограммов, и собирался сбросить его вниз.

Выпрямляясь, он вдруг заметил у подножия кипариса монаха, который наблюдал за ним, уперев руки в бока. Серафен выпустил валун, и тот под пристальным взглядом монаха разлетелся на кучу обломков.

— Серафен! — крикнул пришелец. — Эй, Серафен! Спустишься на минутку со своего чертова насеста — мне нужно тебе кое-что сказать!

— А это спешно? Потому что... — Серафен указал рукой на быстро темнеющее небо.

— Да! — крикнул монах. — Дело не терпит отлагательства!

Серафен минуту колебался. Потом окинул взглядом грубую изношенную рясу, посмотрел на худое, изможденное лицо с запавшими глазами и обтянутыми сухой кожей висками, и спустился вниз.

Но когда Серафен очутился рядом с монахом, тот показался ему куда менее заслуживающим жалости — вблизи он выглядел вполне упитанным и, пожалуй, даже жизнерадостным.

— Я — брат Каликт, — сказал монах. — Я спустился отсюда. — Движением подбородка он указал в сторону нависшего над усадьбой плато, где из темноты выступали белым пятном контуры приорства, и добавил: — Я обосновался там задолго до твоего рождения.

— Вы, кажется, хотели говорить со мной? — перебил Серафен.

— Не я. Брат Туан, наш приор. Он собирается в путь и должен сказать тебе что-то важное.

— Мне? — удивился Серафен.

С минуту брат Каликт молча его рассматривал.

— Ты ведь Серафен Монж? — спросил он наконец.

— Да.

— Ну, тогда все точно. А теперь — в дорогу! До приорства добрых два часа ходьбы. Мы и так доберемся только ночью.

Он повернулся и зашагал прочь, размеренно, точно идущий полем косарь. Серафен наклонил голову и какое-то время следил за его спокойными движениями. У него было сильное желание сказать "Нет!" и вернуться к прерванной работе.

— Кстати, — спросил он, — как далеко собрался ваш приор?

— К Господу нашему Иисусу, — ответил брат Каликт. Он на мгновение умолк, чтобы перешагнуть через оросительную канавку. — По крайней мере, мы все на это надеемся. А что ты хочешь — 95 лет! Он сказал мне: "Каликт, разыщи Серафена Монжа, чтобы перед смертью я мог облегчить свою душу".

Они миновали растущие слева от дороги бесхозные лавры Помграна. Жесткие листья, напоминающие формой наконечники копий, издавали под вечерним ветром сухой металлический шелест. Дальше путь лежал через ивняки Пон-Бернара и осиновые рощи, где нашли приют последние, задержавшиеся с отлетом, жаворонки.

Серафен старался не отставать от шагавшего впереди монаха. Вскоре они подошли к церкви. Брат Каликст, очутившись перед низкой потайной дверью, извлек из складок рясы ажурный железный ключ. В следующее мгновение Серафен услышал, как ключ поворачивается в замке с мелодичным звуком органа.

Над огороженным участком, куда они проникли, висел запах земли и свежего щебня.

— Осторожно, сынок! Не свались в яму! Хотя мы и не желали предвосхищать намерения Отца Нашего, но выкопали ее немножко загодя...

Достигнув конца чахлой аллеи карликовых буксов, брат Каликст вдруг круто повернулся и, ухватив Серафена за плечо, толкнул его в темноту стрельчатого свода.

— Если наш приор покажется тебе немного повредившимся в уме, — сказал он звучным шепотом, — помни, что хоть он и слуга Господень, но все же человек, бедный человек, готовящийся предстать перед Творцом... — Монах назидательно поднял палец. — И он раскаивается.

Брат Каликст твердой рукой увлек его в коридор, куда вышло несколько дверей; вдалеке мерцал столб лунного света, похожий на блок разрушенного свода.

— Теперь направо! — скомандовал монах. — И пригнись!

Серафен едва успел последовать его совету, задев макушкой о балку. Он очутился в комнате без окон, где под низким потолком осела ночь, с которой тщетно боролся тусклый огонек свечи. Уже с порога слышалось хриплое, затрудненное дыхание, похожее на шум кузнечных мехов. Его издавал невероятно дряхлый человек, распростертый на голой доске, зажатой между двумя каменными выступами в метре от пола.

— Это ты, Каликст? — прохрипел старец. — Ты привел Монжа?

— Он здесь, перед вами.

— Подойди, сын мой, потому что сил моих едва хватает, чтобы дышать.

Серафен подошел так близко, что почти коснулся доски, заменявшей собой ложе. Его глаза встретились с глазами старца, в которых сквозь предсмертную пелену проступал панический ужас. В следующее мгновение умирающий сделал отчаянную попытку подняться, Серафену даже показалось, что он хочет вскочить и бежать. Крик застрял у него в горле, растворившись в хрипе кузнечных мехов. Каликст бросился к старику, чтобы снова его уложить.

— Крылья! Я вижу крылья! — простонал приор.

— Ну, ну, брат Туан, перед вами всего лишь бедный грешник...

— Я — дорожный рабочий, — сказал Серафен.

Умиравший овладел собой, жизнь и сознание на какое-то время вернулись в его тело. Казалось, будто с его впалой груди снята огромная тяжесть, даже хрип кузнечных мехов постепенно сгладился, сделался тише. Брат Туан успокоился.

— В самом деле, ведь ты — дорожный рабочий... Рабочий из Люра... Но тебя точно зовут Серафен Монж? Это ты разрушил свой дом?

— Да, — ответил Серафен.

— Тогда слушай... я должен тебе кое-что рассказать...

Его глаза обшаривали лицо Серафена, словно искали решения не дающей ему покоя загадки. Они еще жили, тогда как на всем остальном уже легла печать надвигающейся смерти — зажавший, беззубый рот, заострившийся нос... Только глаза да ясный спокойный лоб сумели противостоять разрушительному действию времени.

— Я расскажу о той ночи, когда ты потерял всю свою семью. Подойди ближе... Стань на колени возле моей доски — так тебе будет легче расслышать. Ах, я не уверен, что смогу добраться до конца...

Он положил на запястье Серафену иссохшую руку. Под сморщенной, пергаментной кожей уже сквозили очертания скелета, изящество, присущее смерти. Но последнее, отчаянное усилие еще взывало к жизни, к жалости; Серафен не мог противиться этому молящему призыву и тихонько сжал ладонь умирающего в своих.

Он заговорил очень быстро, так что слова следовали одно за другим, без интервалов, без пунктуации, сопровождаемые хрипом кузнечных мехов.

— Я шел из Откомба, через горы... Там, наверху, жирные монахи... А я хотел быть тощим. Мне претили праздность и сытое довольство, уж лучше жить на сквозняках, на холоде, среди руин... — Свободной рукой он дважды слабо постучал по неструганой доске. — Я хотел попасть сюда, но плохо знал дорогу. Я шел по звездам — когда они были, потому что тринадцать дней на меня лил дождь... И вот, однажды, я услышал шум — это кадила свои воды Дюранс, и понял, что близок к цели. В тот вечер я промок до нитки, весь пропитался водой, точно ломтик хлеба в бульоне... Я миновал поворот Комб, возле Жиропэ... Дождь несколько минут как перестал... Надвигалась ночь. В том месте есть источник... Ты должен знать — источник, который струится бесшумно среди травы... Если ты не знаешь, можно не заметить и вступить в него, а вода в нем холодная...

— Знаю, — сказал Серафен.

— Я напился из источника и поднялся на несколько шагов по склону к зарослям ивняка... Хотел там немного передохнуть, перед заключительным отрезком пути... Да только и тогда, двадцать три года назад, мне было уже за семьдесят... Словом, я задремал. Не знаю, что меня разбудило — лунный свет или голоса? Во всяком случае, кто-то рядом сказал: “Что если нас схватят?”, а другой ответил ему: “Не схватят! Но пусть даже так — мы, трое, покроем друг друга”. Там был еще третий... Он все твердил о каких-то бумагах... Мол, надо их найти — не то, прощай, родимая сторонка... Они все время спорили... “А иначе никак нельзя?” — “Нет, мы об этом уже говорили!” Вот что я услышал... Но было уже слишком поздно, чтобы выдать свое присутствие, и я боялся шевельнуться... К счастью, меня скрывали заросли ивняка и тень от группы засохших ясеней, а они и источник были в ярком лунном свете...

— Они? — спросил Серафен.

— Да. Трое мужчин. И тогда... тогда... один из них сказал: “Я привел вас сюда, потому что быстро наточить ножи можно только на камне возле источника, и здесь нас никто не услышит. Поглядите, как сточен камень — еще мой дед затачивал тут свой резак!” — “Ты думаешь, они нам понадобятся?” — “Кто знает? Но уж если придется пустить в ход ножи, лучше, чтоб они были хорошо отточены!” Потом все трое склонились над валунами вокруг источника, и я не видел уже ничего, кроме движения их рук и еще — время от времени — блеск лезвий и искры... И я слышал шум... шум, словно стрекотанье сверчка... Это металл терся о камень...

Старик умолк и сделал беспокойное движение, будто все еще прислушивался к этому звуку.

— Когда они закончили точить резак, — заговорил он снова, — все трое выпрямились... На них были шляпы, скрывавшие пол-лица, и еще что-то, вроде завернутой наверх черной вуали... Это были люди...

— Отсюда или нездешние? — спросил Серафен.

Брат Туан молчал.

— Местные... — проговорил он наконец. — Помню, один из них сказал: “Не стоит пробовать до полуночи — раньше всегда есть риск, что зайвится какой-нибудь возчик, а то и двое... Сделаем лучше так: пройдем по дну канала. Башмаки снимем и повесим на шею.” И они ушли... Не по дороге. Они чуть не наступили на меня в моем укрытии... Я слышал, как они продираются сквозь кусты, как хрустит галька у них под ногами... Я будто окаменел...

Серафен почувствовал, как рука старика слабо шевельнулась под его ладонью.

— Я знаю, ты хочешь спросить, почему я не встал, не отправился в Пейрюю, не поднял тревогу... Но, подумай, ведь я только что пределал путь почти в четыреста километров, по горам, с

котомкой за плечами... Я был весь в грязи, одет в лохмотья... Кто угодно — а особенно жандармы — счел бы меня просто помешанным бродягой. И потом — верно ли я понял? Точно ли эти трое замыслили убийство?

— Но... — сказал Серафен. — А на следующий день?

Брат Туан затряс головой, так что у него хрустнули шейные позвонки.

— Не было следующего дня... В горах я подхватил лихорадку... У меня не достало сил даже постучать в ворота обители... Когда монахи вышли, чтобы набрать воды, они нашли меня без сознания, привалившимся к стене...

— Чистая правда, — подтвердил брат Каликст, который до тех пор не раскрывал рта.

— Сорок дней оставался я...

— ... между жизнью и смертью, — сказал брат Каликст, — и был скорее ближе не к жизни, а к смерти. Но его приходилось силой удерживать на ложе. Он все время порывался подняться, бормотал о ножах, которые кто-то острил... об убийцах... Почему мне было знать? Он больше сотни раз повторил слово "жандармы"...

— Но вы? — спросил Серафен, поворачиваясь к монаху. — Когда вы наконец узнали...

— Мы ничего не узнали. Во всяком случае сразу. Наша дверь закрыта для мира, так же, как наши души.

— Нет такой двери, — ясным голосом произнес приор, — через которую рано или поздно не пробился бы взывающий о преступлении. Те, кто ходил рубить лес, возделывал землю и выращивал овощи, кто встречал охотников — они-то знали! Но они скрывали от меня все.

— Вы были так слабы, — вмешался брат Каликст. — Прошло почти два года, прежде чем вы смогли оправиться. И тогда брат Лаврентий, который столь преданно бодрствовал подле вас в часы болезни, наконец решился вам рассказать. Совесть не позволила ему умолчать.

— Когда я узнал о страшной участи вашей семьи, — прошептал умирающий, — и о казни тех несчастных... я вспомнил ту ночь у источника и понял, что наказаны невинные... Я один знал правду, а раз так... Горе мне, грешному! Совесть моя запятнана самым тяжким преступлением — по моей вине свершилась несправедливость.

— Что ж, — со вздохом заметил брат Каликст, — не вы один повинны в этом грехе.

— Но Господь, — продолжил свою исповедь приор, — отпустил мне достаточно времени. В конце концов я понял, что не смею дольше молчать. Я должен сказать тебе то, что знаю... У одного из этих троих было... было...

— Что? — в нетерпении воскликнул Серафен.

— Черное крыло... — с последним вздохом пробормотал умирающий.

Серафен почувствовал, как замерла рука, которую он сжимал в своих ладонях, точно птица со свернутой шейкой, чья головка безжизненно зарывается в перья. Он тихо разжал пальцы.

— Господь наш, — пробормотал между тем брат Каликст, — вовремя наложил печать на эти уста.

— Так вы считаете, что он бредил? — спросил Серафен.

Монах в эту минуту закрывал глаза усопшему и не сразу повернулся к Серафену.

— Даже если б сам Господь вздумал посетить нас, — сказал он, помедлив, — мы не сумели б его распознать. Так что... одним словом, забудь все, что он тебе сказал, и не придавай этому значения. Пусть карающие ангелы сводят счеты со Злом. Они об этом позаботятся, можешь не сомневаться. — И он поспешил выпроводить Серафена за ворота монастыря.

Ночь едва спустилась, и падавший искоса лунный свет отдавал золотистые поля на съедение тени, отбрасываемой рощами дубов. Серафен стоял с безвольно повисшими руками, в ушах у него еще звучал шум захлопнувшейся двери.

— Может статься, они еще живы, — сказал он себе громко. — Значит, тех других, из Герцеговины, послали на гильотину ни за что. Выходит, прав был старый Бюрль. Что-то тут нечисто... Но кто они? Как узнать? Никогда... никогда не буду я достаточно сильным, достаточно хитрым...

В конце аллеи он опустился на землю у подножия придорожного распятия, которое возвышалось над горизонтом, и обхватил голову руками. Серафену казалось, будто по ту сторону, из края смерти, он продолжает слышать шепчущий ему голос приора: "Поступай, как знаешь. Я же сказал тебе все, что мог. Но ты должен искать, стараться... Нельзя успокаиваться. Иначе на что тебе дана твоя сила? Ты несешь ответственность за свершенную несправедливость!"

— Серафен!

Серафен выпрямился и вскочил на ноги. Звук его имени эхом раскатывался в лесах Люра, и голос, который его произнес, повторил тем же властным, повелительным тоном:

— Серафен!

Этот голос, казалось, был пронизан какой-то могучей, вибрирующей энергией и в то же время полон отчаяния. Серафен понял, что он доносится из расположенной ниже на склоне рощи, однако не мог припомнить, слышал ли его когда-нибудь прежде.

Не отвечая, Серафен бесшумно подобрался к краю утеса. Уцепившись за низко нависшую ветку, он наклонился над пустотой, но не увидел ничего, кроме кудрявой зелени деревьев.

— Серафен! — кричал между тем голос. — Забудь все, что он тебе сказал! Ты слышишь меня, Серафен? Ты должен забыть! Если поверишь ему, ты погиб! Погиб! Погиб! Никогда тебе не знать покоя!

В дождь и метель Серафен продолжал выбивать из кладки камень за камнем, сбрасывать обломки вниз, во двор и отвозить тачкой к берегу Дюранс, где они образовали уже небольшую запруду между островками. И Патрис, человек с изуродованным шрамами лицом, невзирая на капризы погоды, приходил, чтобы поддержать его своим молчаливым присутствием. Иногда, наблюдая за Серафеном, он говорил:

— Надо будет нам как-нибудь пообедать вместе. Когда я ем, это целое зрелище — есть на что полюбоваться. Вот только лучше выбрать день, когда моего отца не будет дома.

Он смотрел, как Серафен толкает перед собой тачку, доверху наполненную строительным мусором, под тяжестью которого скрежетало железное колесо.

— Ты не спрашиваешь меня, почему?

Серафен выпустил из рук оглобли.

— По правде сказать... — начал он.

— А знаешь, — продолжал между тем Патрис, — он тебя боится. Это точно.

В ответ Серафен только пожал плечами.

Он не оставил своего занятия даже на Рождество, несмотря на гневную проповедь кюре, который явился его увещевать.

В тот день стояла ясная погода, и Мари Дормэр и Роз Сепюлькр воспользовались ослабившейся бдительностью родителей, чтобы улизнуть из дома и привезти Серафену праздничные гостинцы. Девушки прикатили в Ля Бюрльер одновременно, наряженные в новые платья и пальто с лисьими воротниками.

Едва успев соскочить на землю — а прибыли они колесо в колесо, потому что в пути одна нагнала другую, — обе красотки затеяли перебранку, однако, памятуя о своих прическах, в этот раз обошлись без рукоприкладства.

Патрис, сидя на скамье, курил свою неизменную сигарету. Услышав шаги и голоса, он обернулся. При виде его лица Мари Дормэр замерла на месте и зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Зато Роз, как ни в чем не бывало, прошла мимо; она не отвела взгляда — напротив, мило улыбнулась и поздоровалась. Патрис поднялся, ответил на приветствие и впал в прежнюю неподвижность.

Этих секунд оказалось достаточно, чтобы соперница обогнала чересчур впечатлительную Мари и первой поставила ногу на стремянку. Мари бросилась следом за Роз, и они крикнули хором:

— Серафен! Эй, Серафен!

Он высился на гребне стены, словно титан: могучие руки потрясали кувалдой, ноги сталкивали камни и мусор в пустоту. Пыль, с незапамятных времен мирно дремавшая на потолках и стенах Ля Бюрльер, теперь густым облаком висела над разрушенной усадьбой.

Но девушки не обращали на это внимания. Стараясь отгнать друг дружку, они протягивали Серафену свои подношения: мешочек с оливками и пакетик пирожных с кремом, красиво перевязанный зеленой ленточкой.

Однако у Серафена это вызвало приступ гнева.

— Эй, вы! Пошли отсюда! Вас сейчас раздавит! Говорил же, не нужны вы мне! Убирайтесь прочь!

Он выкрикивал и немало других обидных слов, ни на минуту не переставая орудовать кувалдой. Внезапно часть стены, над которой он трудился, рухнула прямо перед оцепеневшими девушками. Окутанные тучей извести, наполнившей воздух омерзительным запахом крысотора, они спрыгнули на землю и попятились назад, прикрывая глаза носовыми платками. Они не глянули на Патрису, продолжавшего неподвижно стоять на месте, и, лишь садясь на свои велосипеды, снова обрели энергию, чтобы обменяться очередными колкостями.

К вечеру этого дня Серафену удалось покончить с верхним этажом Ля Бюрльер. Он свернул самокрутку и долго любовался делом своих рук. Высокий дуб, росший прежде в тени этих стен, казалось, расправил ветви и радостно вдыхал свежий бриз своей трепещущей вечно зеленой листвой. И Серафен, следуя его примеру, тоже вздохнул полной грудью, ровно и глубоко. У него было такое чувство, будто терзавший его до сих пор кошмар начинает понемногу отступать и бледнеть. Серафен спустился с лестницы и подобрал оставленные девушками пакетики. Он глядел на них без улыбки, качая головой, потом обычным размеренным шагом направился к прислоненному у насыпи велосипеду.

И тут он увидел Патрису, неподвижного, словно межевой столб, и — неслыханное дело! — не курившего. Ночь, сгладив швы между лоскутьями, из которых было скроено его лицо, придала ему почти человеческие черты.

— Вы все еще здесь? — спросил удивленный Серафен.

— Ш-ш! — сказал Патрис. — Должно быть, я сплю. Не буди меня. Надо же — она посмотрела мне прямо в лицо и не опустила глаз! Она мне... Боюсь даже выговорить... Она мне... улыбнулась!

— Кто?

— Персиянка. Ну... та, которая похожа на персиянку...

— На персиянку? — переспросил ошарашенный Серафен. — Что вы хотите сказать?

— Ах! — воскликнул Патрис. — Это не важно! Главное... — последние слова он произнес почти шепотом и кивком головы указал нематериальный след, который он один мог различить вдали, на дороге.

Серафен услышал странный звук.

— Вы... плачете? — спросил он.

Патрис фыркнул, что должно было изобразить иронический смех.

— Держите! — сказал Серафен, протягивая ему пакетик с оливками. — Это она принесла. Возьмите!

— Я сохраню их под стеклянным колпаком.

— И вот еще пирожные с кремом — от второй.

— Но... А ты?

— Я? А что, по-вашему, мне с ними делать? Все это приготовлено, чтобы быть съеденным, когда ты счастлив... — закончил он тихо, забираясь на свой велосипед, в то время как Патрис еще долго оставался на месте, во власти промелькнувшего видения.

В один прекрасный день в Ля Бюрльер пришла весна. Разрушенная усадьба очертаниями все еще напоминала большой раскрытый гроб, но теперь она словно погрузилась в землю, почти до фундамента, и кипарисы, устремленные в небо, будто гигантские свечи, казались вдвое выше.

В пасхальное утро Серафен открыл солнцу доступ в кухню Ля Бюрльер. Свободно вливаясь сквозь сорванный потолок, его лучи разогнали гнездившуюся прежде в закоулках темноту, ощупали чугунную решетку очага, нишу, где когда-то стоял стенной шкаф, плиты цвета оливкового масла...

К одиннадцати часам прошел небольшой дождь, прозрачный и очищающий, тотчас высушенный ветром и выглянувшим снова солнцем.

И тут Серафен, который отдыхал, опершись на свою кирку, заметил, что пятна крови на стенах, до сих пор напоминавшие высохшее смазочное масло, внезапно обрели цвет — их оживляла игра чередующихся света и тени.

Серафен содрогнулся: ведь он разрушил усадьбу с единственной целью — вырвать из стен и пола эти неизгладимые следы, которые из ночи в ночь, каждый точно на своем месте, неизменно пятали его память. И вот каприз света опять наделил их жизнью, подобно тому, как лишайники после многолетней засухи снова оживают под дождем. Казалось, они зывают к Серафену, подают ему знак.

Преследуемый страхом найти их еще более осязаемыми, Серафен решил уничтожить пятна прежде, чем наступят сумерки, и — в первую очередь — кровавые отпечатки, которые Мунже Юилляу оставил вокруг солонки под опорой дымовой трубы, сбоку от каменной плиты перед топкой, на высоте почти полутора метров над очагом.

После первого же удара кувалды ноздри его наполнил запах холодной сажы. Она сыпалась с навеса над очагом, и, вытирая лоб тыльной стороной ладони, Серафен размазывал ее по лицу. В конце концов неповрежденной осталась только площадь примерно в два квадратных метра, примыкавшая непосредственно к обрубленному дымоходу, сквозь который была видна жесткая листва дубов. Серафен тщательно собирал и вывозил, тачка за

тачкой, все камни, даже мельчайшие осколки штукатурки со вьезшейся сажей. Еще десяток сантиметров — и он доберется, наконец, до того места, где пальцы его отца оставили кровавые следы, он уничтожит их, превратит в прах и прах этот сбросит в Дюранс.

Серафен поплевал на руки, как делал бесчисленное множество раз за день, чтобы придать себе мужества. Потом взобрался на фундамент и нанес удар прямо перед собой. К его удивлению, кувалда прошибла стену и по самую рукоятку ушла в пустоту, так что Серафен едва не потерял равновесие, по инерции последовав за своим орудием. Опомнившись, он бросил кувалду и спрыгнул вовнутрь кухни. Здесь он вставил острие кирки в щель между двумя камнями, расшатал их и вынул сначала один, затем второй. Тогда его глазам открылся слой штукатурки, почти новой, во всяком случае, отличавшейся от той, что покрывала остальные стены усадьбы. Схватив молоток, Серафен принялся сбивать эту штукатурку. После третьего удара он снова обнаружил пустоту, а куски осыпающейся штукатурки глухо застучали по какому-то металлическому предмету. Руками Серафен осторожно очистил край поставленного на ребро кирпича, потом второго. Они находились как раз против того места, где его отец оставил когда-то кровавые следы, и, чтобы вынуть их, Серафену пришлось упереться почти в ту же точку. Когда он отодвинулся, чтобы сбросить их на кучу строительного мусора, лучи заходящего солнца осветили тщательно обустроенный тайник, размерами примерно сорок на сорок сантиметров. В глубине, под осколками штукатурки, блеснули углы металлической коробки.

Серафен схватил ее. Она была тяжелее только что извлеченных им кирпичей, продолговатая коробка, способная вместить около килограмма кускового сахара. Судя по цвету, напоминавшему цвет хлебной корки, она долгие годы подвергалась воздействию дыма и копоти, однако на крышке еще можно было различить картинку, изображавшую пейзаж Бретани: холм с придорожным распятием и сидящую у его подножия женщину, созерцающую скалистую бухточку.

Серафен откинул крышку. Коробка была доверху заполнена 20-ти франковыми золотыми монетами. Серафен равнодушно смотрел на массу сверкающих луидоров, и на лице у него не дрогнул ни единый мускул, потом он закрыл коробку, даже не прикоснувшись к монетам, и отставил ее в сторону.

До наступления темноты оставалось еще около двух часов, и он не желал их терять. Нужно было разрушить остатки дымохода. С удвоенной силой он принялся орудовать кувалдой и киркой, но к тому времени, когда был нанесен последний удар, стояла уже глухая, безлунная ночь.

Измученный Серафен вытер лицо тыльной стороной ладони. Он походил на трубочиста, с головы до ног перемазанного в саже, с волосами, слившимися от каких-то жирных частиц.

Усталым движением Серафен подхватил металлическую коробку, сунул ее в вещевой мешок и, оседлав велосипед, отправился в Пейрюи.

Когда жужжание педалей и скрип плохо смазанной цепи наконец затихли вдалеке, легкая зыбь пробежала по лавровой рощице, окаймлявшей дорогу. Кто-то, осторожный, словно кот, выскользнул из зарослей, с минуту прислушивался, как осыпаются с разрушенных стен мелкие камешки и отваливается сухая штукатурка, после чего, крадучись, обогнул развалины и через брешь, зиявшую на месте снесенного дымохода, проник в кухню. Ворча, он пробирался через обломки, потом щелкнул зажигалкой — и язычок пламени выхватил из темноты пустой тайник, который Серафен не успел разрушить. Мгновение спустя свет погорел. Человек продолжал ворчать, было слышно, как из-под ног у него осыпается щебень. Наконец он выбрался на тропку, бегущую через холмы, и скрылся в ночи.

Серафен поставил велосипед под навес и, сняв рабочую одежду, бросил ее в деревянный короб. Через внутреннюю дверь, которая выходила на лестницу, он поднялся к себе в кухню, открыл кран колонки и намылился с ног до головы хозяйственным мылом. Потом вымылся еще раз — с туалетным мылом "Микадо", которое приберегал для особо торжественных случаев. Покончив с этим, Серафен побрился и надел чистое белье. Затем он вернулся обратно в кухню, захватив с собой найденную в тайнике коробку. Он вымыл и ее тоже, а губку бросил в мусорный бак.

Только теперь Серафен ощутил, что голоден и хочет пить. Он разогрел суп, вскрыл коробку сардин и поджарил пару яиц. Запив все это кружкой красного вина, убрал со стола, после чего придвинул к себе металлическую коробку и долго смотрел на нее.

Бретонский пейзаж с женщиной и придорожным распятием связывался в его восприятии с образом матери. Возможно, она выбрала эту коробку на ярмарке в Маноске или Форкалькье. В любом случае она держала ее в своих руках. И поскольку он уничтожил все предметы, которых она когда-либо касалась, надлежало уничтожить и этот. Однако что-то не позволяло Серафену вот так швырнуть коробку в мусорный бак. Он представил, как по утрам, во время завтрака, мать брала из этой коробки сахар, чтобы положить в дымящийся кофе, пока отцу не вздумалось превратить ее в самодельный сейф и навсегда замуровать в тайнике над очагом.

Серафен непроизвольно поглаживал руками свою находку, прежде чем высыпать ее содержимое на покрытый клеенкой стол. И когда он опрокинул коробку, из нее выскользнули несколько сложенных вчетверо листков, которые, очевидно, лежали на дне под деньгами и упали на кучу луидоров.

Это были три листка плотной гербовой бумаги, солидные, будто банковские билеты, с черным отпечатанным номером, прожилками и водяными знаками, складывающимися в благородный лик Правосудия, увенчанного лавровым венком.

Листки были исписаны мелким, не слишком умелым, но зато очень четким почерком — настолько четким, что казалось, будто писали вчера. Текст на всех трех был одинаковый, за исключением нескольких слов, и гласил следующее:

“Я, нижеподписавшийся, Селеста Дормэр, булочник в Пейрюи, настоящим признаю получение суммы в 1200 (тысячу двести) франков наличными от Фелисьена Монжа, хозяина постоянного двора для ломовых извозчиков. За предоставленный заем, по обоюдному добровольному соглашению, означенный Селеста Дормэр обязуется вносить вышепоименованному Фелисьену Монжу каждый год, в день св. Михаила, установленный по обоюдному же согласию процент, равный 23% от суммы займа, то есть, 276 (двести семьдесят шесть) франков. Вышеговоренная сумма должна быть возвращена полностью в день св. Михаила года 1896 от Рождества Христова, под страхом судебного преследования.

Составлено в Люре в день св. Михаила года 1891 от Рождества Христова.”

Далее следовали две подписи, которые фигурировали также на гербовой печати, приложенной внизу и слева. Кроме имен и сумм, текст двух других векселей был идентичным.

Под 23% годовых Фелисьен Монж предоставлял заем на пять лет в размере тысячи франков Дидону Сепюлькру, владельцу пресса для отжимания масла в Люре, и, на тех же условиях, тысячу пятьсот франков Гаспару Дюпену, кузнецу в Мэ. Тысяча, тысяча двести, полторы тысячи франков... Что это могло значить в то время?

Серафен припомнил, что в отчетах, представленных мсье Беллаффером, шла речь о продаже пахотных земель по цене сто франков за гектар. Сто франков в 97-м или 98-м году... Пять монет, из числа разбросанных на клеенке... Выходит, за тысячу тогдашних франков можно было купить 10 гектаров самой плодородной земли. Тысяча франков плюс двадцать три процента годовых — сказочная сумма! Да уж, тут было из-за чего пожелать смерти человеку. Ему и его семье. Трое неизвестных... Трое местных... Не их ли застал покойный приор острящими свои резак на камне у источника Сиубер?

Серафен снова взял расписки, отброшенные было на кучу лудоров.

“...должна быть возвращена полностью в день св. Михаила 1896 года”. В тот день, когда ему исполнилось 18 дней! И именно в ночь накануне этого дня...

Воспоминание ожгло его, точно молния. Он увидел Патриса Дюпена, сидящего у подножия кипариса, Патриса Дюпена, который сказал ему: “А знаешь, мой отец тебя боится...”

Серафен ударил кулаком по столу. Теперь все встало на свои места. Вот почему Мари Дормэр, Роз Сепюлькр и Патрис Дюпен так его обхаживали — отцы подсылали их в Ля Бюрльер, чтобы шпионить за ним! Все указывало на то, что именно эти трое совершили преступление.

— Определенно, они! — громко сказал Серафен.

Он машинально сгребал луидоры и, не пересчитывая, горсть за горстью сыпал обратно в коробку из-под сахара. Взвешивая их на ладони, он понимал, что полная коробка — это много, очень много... Как его отцу удалось скопить такую сумму? Правда, ссужая деньги под 23% годовых... Но чтобы давать займы, нужно ведь иметь начальный капитал!

Серафен взял одну из монет, чтобы как следует ее рассмотреть. Вот лицо, изображенное в профиль: бакенбарды, высоко взбитый кок. Тяжелые, обвисшие щеки придавали ему сходство с грушей. По краю шла надпись: "Луи-Филипп I, король французский". Да ведь в царствование этого короля Мунже Юилляу, умершего в 1896 году в возрасте тридцати трех лет, еще не было на свете! Откуда же у него тогда эти луидоры, так легко пересыпавшиеся между пальцами, новехонькие, блестящие, словно чудом сохраненные от опошляющего прикосновения несчетного множества грязных рук, как будто никто и никогда к ним не притрагивался?

Ссыпав все монеты в коробку, Серафен вновь и вновь перечитывал долговые расписки, точно боялся забыть эти имена: Гаспар Дюпен, Дидон Сепюлькр, Селеста Дормэр. Долго-долго, в спокойствии и тишине деревенской ночи — только били часы да лепетала струя фонтана, иногда относимая в сторону ветром, — Серафен перебирал аккуратные листки гербовой бумаги, скрепленные красивой и безупречно четкой голубой печатью. Наконец он снова сложил их, положил на луидоры в том самом порядке, в котором нашел, и закрыл коробку. Затем встал и убрал ее на полочку над отливом, рядом со сковородкой.

После этого Серафен налил себе стакан воды прямо из-под крана и тяжело опустился на табуретку перед столом. Уронив руки на клеенку, он бессознательно сжимал и разжимал свои огромные кулачищи, словно стискивал горло невидимого врага. Отвращение, ярость и печаль, написанные у него на лице, сделали его похожим на голову наводящей ужас античной Эриннии.

Когда Серафен на следующее утро вышел на улицу, его отмечало привычное спокойствие и медлительность. Все так же размеренно выполнял он свою ежедневную работу, и кувалда его монотонно ударяла по булыжнику. И в воскресенье, приехав в Ля Бюрльер и увидев Патриса Дюпена, он улыбнулся ему, как обычно. Его рукопожатие всегда было довольно вялым и безразличным, а потому, протягивая руку Патрису, ему не пришлось насиловать себя, изображая сердечность.

Серафен уничтожил тайник и остатки дымовой трубы, вывернул плиты со следами крови, оставленными его матерью, когда она, умирая, пыталась дотянуться до колыбели. Он вынес их во двор и там разбил на куски.

Наконец пришел день, когда он очутился перед голой пустошью, где на земле все еще можно было различить продолговатые контуры огромного гроба. Тогда Серафен единственный раз воспользовался найденными в тайнике луидорами: он закупил тридцать тачек дробы и тщательно разбросал ее, разровняв вилами, по всей территории бывшей усадьбы.

Высыпав последнюю лопату, он выпрямился и огляделся. Ветер конца лета подметал эту рукотворную пустошь, и словно удивленный ропот пронесся в кронах деревьев. Четыре одиноких кипариса теперь казались еще выше, и чудилось, будто их зеленое пламя небрежно колеблется в ожидании нового катафалка, который скоро поставят между их канделябрами...

В этот вечер, как всегда, приехал Патрис в своем красном автомобиле и смотрел на Серафена, который стоял, опершись на вилы, созерцаая дело рук своих. Но хоть желание свое он исполнил, на лице его по-прежнему лежала тень.

— Ну как? — спросил Патрис. — Теперь что-нибудь изменилось?

— По правде сказать, не очень... — проворчал Серафен.

Он окинул взглядом пустырь и внезапно понял, что пустырем он остается лишь для прохожих. Ему не удалось очистить место преступления от обитавших там демонов. Предстоит еще истребить тех, кто это злодеяние совершил. Только тогда он обретет мир, и угаснут воспоминания и призраки.

Между тем Патрис говорил:

— Ну, теперь, когда ты закончил, уже ничто не мешает тебе заглянуть в Понтардьё. Вот увидишь, — добавил он вдруг с совершенно необъяснимой интонацией, — там есть вещи, на которые стоит посмотреть!

— О, — откликнулся Серафен, — обещаю, что я охотно вас навещу!

— В самом деле? — усмехнулся Патрис. — А если я поймаю тебя на слове и приглашу на воскресенье к трем часам?

— Идет! — сказал Серафен. — Пусть будет воскресенье, в три часа.

Он смотрел, как Патрис усаживается в свой автомобиль, и еще долго после того, как тот скрылся из виду, продолжал прислушиваться к гулу замирающего вдали мотора.

С этого дня Серафен принялся бродить вокруг места, где прежде стояла усадьба, принюхиваясь, будто выслеживающий добычу охотничий пес.

Действительно ли он уничтожил все следы? Серафен ощущал неприятную тяжесть в желудке, как если бы съел что-нибудь

ядовитое, однако сознания того, что убийцы еще живы, самого по себе, было недостаточно, чтобы объяснить грызущую его тревогу.

Он удвоил усилия в поисках неведомого. Раз и два, и десять раз перемерял тяжелым шагом пустое пространство между четырьмя кипарисами-свечами, которые выглядели теперь как-то сиротливо-убого.

Наконец, однажды утром, благодаря прихотливой игре солнечных лучей, он обнаружил посреди пустой площадки, обложенной круглыми камнями, необычный след. Тропинка вела по прямой линии к густому зеленому своду над поросшим дубами откосом. Минувя давно засохший ясень, она углублялась в стеснившиеся, точно колосья, непроходимые заросли калины, ольхи, колючего кустарника.

Серафен вступил в борьбу с этими джунглями, которые рождали в нем смутную тревогу и в то же время притягивали. Испарав грудь и руки об острые, изогнутые, словно рыболовные крючья, шипы, которые на каждом шагу впивались ему в кожу, он трудился целый день, чтобы вырубить заросли и потом сжечь на каменной площадке.

На закате он обнаружил колодец, имевший около четырех метров в поперечнике. Над его белой, как снег, облицовкой высилась арка из трех изъеденных ржавчиной железных лент. Вверху, где сходились эти три стебля с концами, загнутыми наподобие епископского посоха, был подвешен блок, тоже проржавевший, с намотанной на нем цепью, спускавшейся в забитый сухими листьями бассейн для стирки.

Все его существо сжалось от какого-то тревожного, неопишимо болезненного чувства, однако Серафен пересилил себя и принялся разгребать сухие листья, заполнявшие бассейн. Через некоторое время он вытащил привязанные к цепи остатки покрытого ржавчиной ведра.

У Серафена вдруг возникло ощущение, что он уже когда-то видел этот колодец, эту цепь, эту арку... Он отступил на несколько шагов, чтобы охватить взглядом весь образ, внушавший ему тревогу и страх. Колея, оставшаяся на плитах площадки, вне всяких сомнений вела к колодцу.

Мраморная облицовка, белая, как снег, казалась игрушкой, только что вынутой из футляра. И, однако, в лучах закатного солнца, она производила зловещее впечатление, вызывая в воображении отнюдь не живописный сад при епископском дворце, откуда, собственно, происходили плиты, но вечный холод гробниц и могильных памятников. Этот мрамор, многократно омытый дождями и обесцвеченный солнцем, на котором прошедшие столетия не оставили никакого следа, своей белизной походил на саван, резко выделяясь на фоне темной зелени дубов. Таким образом, колодец был свидетельством, напоминанием, почти столь же красноречивым, как пятна засохшей крови...

Без долгих колебаний Серафен поднял свою кувалду, чтобы изо всех сил обрушить ее на мрамор, но рукоять сломалась у него в руках, и он буквально ткнулся носом в облицовку, за которую инстинктивно ухватился, чтобы не упасть в колодец. Он выпрямился, ошарашенный и растерянный, в то время как эхо от удара еще гулко отдавалось внизу, в глубине колодца.

Но единственное, что ему удалось — это отколоть от облицовки крошечный кусочек, не больше раковины съедобного моллюска.

Он медленно обвел взглядом роскошную облицовку, потрогал изящную железную арку, венчавшую колодец. Это сооружение, сверкавшее зловещей белизной, слишком помпезное для скромной деревенской усадьбы, Серафен уже видел раньше — вот только не мог вспомнить, когда и где.

Между тем в его одержимом мозгу крепла решимость во что бы то ни стало разрушить это последнее свидетельство его несчастья, и в следующее воскресенье Серафен опять явился в Ля Бюрльер, вооружившись орудиями камнелома.

Но едва он успел поставить велосипед у подножия одного из кипарисов, как, повернувшись, увидел Мари Дормэр. Девушка стояла, прислонившись к арке, венчавшей колодец, и с улыбкой смотрела на Серафена.

На какое-то мгновение Серафен забыл о том, что его сюда привело, и сбросил с плеч мешок с инструментами, которые зазвенели, ударившись о землю.

Между тем Мари устроилась на краю колодца и болтала ножками в белых туфельках. Серафен двигался осторожно, словно боялся ее спугнуть, еще немного — и он встал бы на цыпочки. Девушка притягивала его, будто магнит, а он не хотел, чтобы она это заметила.

Однако ее молодость, красота и трогательная преданность, с которой она приносила ему в дар свою любовь, не имели для Серафена никакого значения. В его глазах она была только дочерью убийцы, и когда Серафен увидел ее у колодца, в мозгу у него промелькнула мысль, что если Мари исчезнет, для Селеста Дормэра это будет карой более суровой, чем если бы Серафен убил его самого. Он не сможет даже плакать над телом дочери: Серафен столкнет ее вниз, а потом засыпет проклятый колодец и тщательно выровняет поверхность большой трамбовкой, которой пользуется на строительстве дороги.

Только десять метров отделяли его от предполагаемой жертвы, и Серафен мог во всех деталях разглядеть ее прелестную фигурку. Одной рукой Мари держалась за железную арку, и на ее указательном пальце блестело колечко с голубым камушком — под цвет ее глаз. Вот Серафен уже в нескольких шагах от нее, он видит ее сочные губы, тонкие пальцы, уцепившиеся за кованое кружево, и сверкающий камень, в гранях которого играло солнце, камень притягивал его, точно зеркало жаворонка. Серафен

инстинктивно зажмурился — он не хотел, чтобы ему в память навечно врезался доверчивый взгляд Мари.

Внезапно воздух вокруг него сгустился и заколебался, как бывает при землетрясении. Серафену показалось, будто он слышит — и он в самом деле услышал — сухой шорох опавших листьев, словно зыбь пробежала по поверхности заброшенного бассейна. Призрачная фигура его матери поднялась откуда-то из груды обломков, оставшихся от ящиков, где когда-то хранилось мыло. Она повернулась к Серафену, прошла сквозь Мари и сквозь него. В смятии Серафен уступил ей дорогу. Ее лицо походило на то, которое он когда-то видел во сне и которое, возможно, никогда не было ее лицом, его застывшие черты казались разочарованными — такое выражение он часто видел у погибших на войне. Ее правое плечо склонилось под тяжестью невидимого ведра, а левая рука — словно для сохранения равновесия — чуть отставлена в сторону, несчетно раз, должно быть, хаживала она так по этой, такой зримой и материальной тропинке, между колодцем и домом. Мелкими шажками прошла она к ферме и точно в том месте, где раньше находилась дверь, переступила невидимый порог и исчезла в своей призрачной кухне.

Это видение длилось не больше секунды, но Серафен успел отступить, как будто Мари была магнитом, который теперь повернулся к нему противоположным полюсом. Он вспомнил, где и когда впервые увидел этот колодец. Однажды, во сне, мать явилась ему раздетой, как девицы на порнографических открытках, и он принял мраморную облицовку колодца за террасу с белой балюстрадой, а железную арку — за беседку. Да, это та самая арка, и мать поднялась ему навстречу, чтобы протянуть свои набухшие груди, на сосках которых застыли последние капли молока.

Серафен закрыл лицо руками — так резко, что звук напомнил пощечину.

— Господи! Что случилось? Да что с тобой такое наконец? — Мари спрыгнула с края бассейна и, ухватившись за запястья Серафена, силилась оторвать его руки от лица.

— Уходи! — завопил он. — Убирайся! Живо! Ступай прочь!

Его ладони плотно прижимались к лицу, как будто он хотел стереть преследовавшее его видение. И хотя это случилось посреди бела дня — колокол на плато Ганагоби как раз призывал к воскресной мессе, по дороге, громыхая цепями, тащился грузовик, и поезд Марсель-Бриансон дал свисток у поворота на Жиропэ, — галлюцинация Серафена не стала менее жуткой.

Мари повиновалась ему и отступила, не решаясь, однако, оставить его в таком состоянии. Серафен продолжал твердить: "Уходи! Убирайся!" в то время, как, не отнимая рук от лица, пятился назад, словно отступая перед кем-то, видимым ему одному.

“Он пятится от этого колодца, как от дикого свирепого зверя”, — подумала Мари.

В следующее воскресенье Серафен Монж ехал на велосипеде по обсаженной лаврами дороге, направляясь в Понтардьё. Деревья, казалось, предчувствовали несчастье: их листья, растрепанные мистралем, как будто перешептывались в страхе, рассказывая друг другу всякие ужасы. Дорога была длинной, со множеством поворотов. У подножия платанов сиротливо угасали сжатые поля и убранные виноградники. В густых зарослях подстриженного по шнурку бересклета сверкали разбрызгиваемые ветром капельки воды.

Вскоре за большими раскидистыми ивами, на фоне акварельного неба, Серафену предстал замок Понтардьё — длинное, высокое здание, улыбавшееся множеством окон, оправленных светло-зелеными ставнями. В одной из комнат кто-то лениво перебирал клавиши фортепиано, и Серафен подумал, что это Патрис, но в следующее мгновение увидел его стоящим на крыльце, скрытом от солнца полосатым навесом.

— Эй, ты где застрял? — крикнул тот еще издали и быстро пошел навстречу Серафену, протянув обе руки, как будто собирался его обнять, на его обезображенном лице сияла улыбка. — Я уже начал опасаться, что ты не сдержишь своего слова.

В голосе его прозвучало неподдельное волнение, и Серафену впервые в жизни захотелось крепко сжать ему руку вместо обычного равнодушного приветствия... Но нет — Патрис ведь сын убийцы Дюпена! Он, Серафен, изувечен куда больше. И снова Патрис, в ответ на свой порыв, встретил все ту же сдержанную, готовую отдернуться в любое мгновение руку, которая лежала в его ладони, словно мертвая птица.

— Я задержался, чтобы взглянуть на ваш бассейн, — объяснил Серафен.

— А! Ты оценил, какой он красивый? Это гордость моего отца. Каждый день он совершает здесь торжественный обход, даже если возвращается к ночи.

— Бассейн просто чудесный... — задумчиво произнес Серафен.

— Ну, пойдем! У нас обедают в полдень. Моя мать уже за столом.

Он увлек Серафена в просторный светлый вестибюль, где пахло ореховой настойкой и пчелиным воском, и через застекленную дверь втолкнул в залу, тонувшую в полумраке из-за приспущенных штор. Обстановка здесь была довольно скромная, о достатке говорила только парадная фарфоровая посуда, расставленная на большом столе, покрытом белой скатертью. Дальше виднелся длинный коридор без двери, в глубине которого замирало рассеянное брнчание фортепиано.

— Моя мать! — сказал Патрис.

Серафен увидел сидящую у противоположного конца стола женщину, на руках у нее, несмотря на еще довольно теплую погоду, были митенки — чтобы сподручнее перебирать четки, с которыми она никогда не расставалась. Чистенькая и абсолютно лишённая возраста, как будто жизнь оставила ее в пору затянувшейся молодости, свежая, розовая, точно конфетка, с едва намеченным, аккуратным макияжем, она взирала на все взглядом, исполненным вечного довольства.

За ней, полускрытая длинными плетью традесканций, каскадом ниспадавших из подвешенных под потолком вазонов, маячила особа, по виду сильно смахивавшая на гренадера, вся в шишках и буграх, будто ствол дерева, так что о ее принадлежности к женскому полу свидетельствовало только платье. Она разглядывала Серафена весьма подозрительно, брезгливо поджав губы.

Между тем дама с четками протянула Патрису маленький блокнот с карандашиком, и он быстро написал что-то на листке.

— Вот как! Значит, вы — Серафен Монж? Тот самый... — Казалось, слова рождаются на самом краешке ее губ, а голос, лишённый тембра и совершенно бесцветный, походил на вытекающую из бутылки тоненькую струйку уксуса. Она подняла руку в митенке, на мгновение перестав перебирать зерна четок. — Серафен Монж! Кто бы мог подумать!

Патрис отвел Серафена к окну.

— Набожна до жути и глуха, как пень. И это — моя мать!

— Но она у вас еще есть... — глухо пробормотал Серафен.

— То есть как — еще? Да ей всего только... — начал было Патрис, но тут же осекся, вспомнив, что разговаривает с сиротой из Ля Бюрльер. — Она никогда не слышала ни моего смеха, ни моего плача, — продолжал он, оправившись от замешательства. — Когда ей было 18 лет, она пасла коров своего отца, там, наверху, в Шоффейе, что в Шансоре. Молния ударила в ореховое дерево так близко, что у нее лопнули барабанные перепонки. Отец женился на глухой, потому что у нее имелись виды на наследство. Да только наследства пришлось подождать — богатые дядюшки никак не желали умирать...

Патрис подвел Серафена к столу, накрытому на четверых, и усадил в кресло, обитое слегка поблекшим голубым репсом. Во главе длинного стола, напротив того места, где сидела мать Патриса, помещалось кресло, внушительнее прочих, казалось, царившее над трапезой, однако прибор перед ним отсутствовал.

— Если мой визит не по душе вашему отцу, — сказал Серафен, — то мне, пожалуй, не следовало приходить.

— Глупости! — фыркнул Патрис. — Это я — его *memento mori*! От моей исковерканной физиономии у него пропадает аппетит.

Серафен сделал протестующий жест, не упуская, однако, из виду пустого кресла на противоположном конце стола, куда

мысленно пытался усадить человека, которого никогда не встречал и которого собирался убить.

Взгляд Серафена задержался на поставленном напротив приборе, перед которым пока никто не сел, и в это мгновение из глубины коридора, где только что замерли звуки фортепиано, донесся энергичный перестук каблучков.

Быстрым, решительным шагом в залу вошла молодая женщина. Шуршащее шелковое платье плотно облегалo гибкое тело. Черный и белый тона ее наряда напоминали выложенный черными и белыми плитками пол, по которому она ступала. У нее были круглые, близко посаженные, точно у хищной птицы, глаза, в глубине которых, казалось, таились отблески лесной чащи, а в манере себя держать сквозила, хотя и сдерживаемая, порывистость. Это явление застигло Серафена врасплох. Инстинктивно он почувал опасность, таящуюся под этой оболочкой. Никто не учил его вставать, когда в комнату входит женщина, но теперь он вскочил, так поспешно, что едва не опрокинул кресло, причем не смог бы ответить, что его к тому побудило — необходимость оказать уважение или потребность держаться начеку.

Между тем Патрис, не выпуская из рта сигареты, украдкой наблюдал за Серафеном, пытаясь определить, какой эффект произвело на него это появление. "Если она ему не понравится, — сказал он себе, — нашей дружбе конец", а вслух произнес:

— Моя сестра Шармен. Ее муж погиб в октябре восемнадцатого. Можешь себе представить...

Тем временем Шармен посмотрела прямо в глаза Серафену, который не успел отвести взгляд. Она чуть развела свои длинные руки и сделала что-то вроде иронического реверанса, как будто говорила: "Да, поглядите, до какого состояния меня довели!" Черно-белая ткань платья, собранная складками на ее плоском животе, выше распушалась наподобие венчика, подчеркивая, при всей кажущейся строгости, форму ее груди.

Но вот первое ослепление прошло, и Серафену удалось освободиться от взгляда Шармен, переведя глаза на плети традесканций, однако он все же заметил руку молодой женщины, протянутую к нему над столом, и протянул в ответ свою — кусок равнодушной плоти, неспособной на сердечное пожатие.

— Ну что ж, — сказала Шармен, — садитесь. Я не хочу, чтобы вы еще подросли. — Она говорила немного в нос, растягивая последние слоги.

Серафен медленно опустился в кресло и склонился над своей тарелкой.

В это мгновение гренадерша, покинув свой пост возле глухой, сунула ему под нос супницу с горячим бульоном, едва не обварив кипятком. Она небрежно наполнила его тарелку и щелкнула у него над ухом челюстями, как будто хотела укусить.

— Смотри-ка! — заметила между тем Шармен. — Наш папочка не пришел к обеду.

— Чему ты удивляешься? — откликнулся Патрис. — Как тебе известно, сегодня день Кончиты, и он уехал в Марсель.

— День цесарки! — рассмеялась Шармен. — Как по-твоему, насколько она его в этот раз оциплет?

Патрис пожал плечами.

— Почему мне знать? Но, думаю, тысяч на пять, не меньше. Я слышал, как отец звонил в фирму Испано-Сюиза, чтобы заказать машину с шофером. Не иначе, как ей понадобился экипаж для турне по Испании.

— Что ж, — вздохнула Шармен. — Главное, чтоб он не наградил ее младенцем.

— Кто-нибудь, — заметил Патрис, — может сделать это вместо него...

Шармен повернулась к Серафену.

— А вас не смущает, что мы стираем при гостях свое грязное семейное белье?

Но Серафен не ответил. Его взгляд невольно обратился к месту, где обычно восседал Гаспар Дюпен, и все его внимание приковалось к пустому креслу.

— Тебе придется привыкнуть, — сказал сестре Патрис. — Серафен не любитель разговоров.

— Это не имеет значения, — лениво протянула Шармен. — Если он согласен хотя бы посмотреть на меня.

Почувствовав, что за ним наблюдают, Серафен повернулся с несколько излишней живостью и опять встретился взглядом с молодой вдовой. В джунглях ее зеленых глаз он поймал огонек тревожного удивления и понял, что Шармен, ведомая женским чутьем, пытается проникнуть в его тайну. Тогда, подобно ежу, он свернулся в клубок, оставляя как можно меньше свободной площади, уязвимой для противника, и постарался отвлечь внимание хозяйки, подарив ей самую приветливую из своих улыбок.

— Это кресло, которое вас так занимает, относится к эпохе Людовика XV, — кокетливо заметила Шармен и, проглотив ложку бульона, добавила: — У нас есть еще одно такое, только обивка там меньше выцветла. Оно стоит у меня в спальне. Если хотите, покажу.

Когда, войдя в столовую, она увидела вскочившего при ее появлении Серафена, молодая женщина сказала себе несколько легкомысленно: “Это как раз то, что мне нужно!” Но, подержав его равнодушно-вялую руку, она почувствовала себя обескураженной, и весь порыв угас. Однако потом безошибочная женская интуиция шепнула ей, что этот увалень, примечательный не только своей внешностью, но и тупостью, поскольку она не произвела на него никакого видимого впечатления, возможно, отнюдь не так глуповат и прост, как ей показалось.

От нее не укрылось, что его руки, в которых серебряная вилка и нож с костяной ручкой выглядели почти игрушечными, все время сжаты в кулаки, как будто он готов в любую минуту нанести удар. "Достаточно небольшой вспышки гнева, — подумалось ей, — и он, сам того не сознавая, сломает вилку и нож, а обломки швырнет на стол. А эта дурацкая улыбка, с которой он никогда не расстается, — глаза не принимают в ней никакого участия, и когда они встретились с моими, в них не было обещания. Скорее, его взгляд меня заморозил, и все же..."

И пока Серафен ел, не спеша, с деревенской степенностью, Шармен начало казаться, что все в нем — вплоть до нацепленного ярлыка дорожного рабочего — служит какой-то скрытой цели, помогает ему замаскироваться, как тем насекомым, чья раскраска в точности повторяет тона окружающей их среды.

Ее охватило волнующее возбуждение, ибо тайна была для нее неотделима от любви. Однако Шармен постаралась скрыть от Серафена пробудившийся в ней новый интерес — напротив, она приняла разочарованный вид и теперь дарила его рассеянной вежливостью, как и подобает в общении с другом брата.

— Да уж... — вздохнул Патрис. — Что и говорить, папочка доставляет нам немало хлопот! Представь себе, на старости лет он втюрился в марсельскую певичку, которая страдает манией величия. Трижды эта примадонна снимала "Алькасар" — и все три раза там едва набиралось с полсотни зрителей. Однако наш папочка оплатил все расходы. Но куда хуже, все сделалось известным, и теперь перед певичкой открыты все двери. Понимаешь, она имеет кредит... — Он проглотил кусочек жаркого из зайчатины, причем разнокалиберные лоскутья его лица сложились в хитроумную головоломку, потом принял свой обычный насмешливый вид. — В конце концов, по его милости, мы умрем на соломе...

— У нее абсолютно никудышняя задница! — фыркнула Шармен. — Его выбор делает нас смешными.

— И дела совсем забросил! — подхватил Патрис.

— Его увлечение превращается в угрозу для семьи, — подлила масла в огонь его сестра.

Патрис повернулся к матери, которая жестами объяснялась с гренадершей, по-прежнему не спускавшей злобного взгляда с Серафена.

— Правда, с этой в постели ему пришлось отнюдь не весело, — пробормотал он. — В конце концов он заполучил свой мешок золота. Но какой ценой...

— И долго ему пришлось... ждать? — поинтересовался Серафен.

— Долго... почти пять лет. Дядюшки скончались где-то около 1900 года. Мне тогда было четыре.

— А мне год, — сказала Шармен.

— Действительно долго, — согласился Серафен.

Патрис резко поднялся и оттолкнул кресло.

— Пойдем, выкурим по сигарете у меня в студии. — Он увлек Серафена к деревянной лестнице, натертой воском, и распахнул дверь. Пахнуло скипидаром. — Садись, где хочешь!

Нехитрую обстановку комнаты составляли продавленные диваны да пузатый комод, на котором красовалась мраморная голова с орлиным носом, изящно очерченным подбородком и мечтательным лбом, увенчанном лавровым венком. Глаза были белыми и пустыми, точно у слепца. Серафен невольно провел рукой по мрамору. Вокруг громоздилась в беспорядке масса картин: одни — прислоненные к перегородке, другие — небрежно повешенные на стену. Все полотна изображали красивых мужчин или женщин.

На мольберте тоже находилась картина, но повернутая тыльной стороной. На раме химическим карандашом выведено единственное слово: "Ожидание".

Пока Серафен старательно сворачивал папиросу, Патрис перевернул полотно. Молодая женщина, изображенная вполоборота, лежала в непринужденной позе, с чуть наклоненной головой. Черта делила картину на две части, так что одна половина тела женщины выглядела светлой на темном фоне, а другая — темной на светлом. И лишь где-то на заднем плане виднелся золотисто-розовый отсвет — растушеванный набросок буйного крестьянского гулянья.

— Ты не считаешь греховной, — спросил мягко Патрис, присаживаясь на диван рядом с Серафеном, — всю эту роскошную, бесцельно увядающую плоть?

— Это ваша сестра?

— Если хочешь. Во всяком случае она послужила источником для моего замысла. Знаешь, сначала я хотел изобразить нечто вроде элгии о военных вдовах, которые оплакивают погибших. Но потом все свелось вот к этому.

Тут Патрис заметил, что Серафен его не слушает, а взгляд его устремлен на стену у окна с косо повешенной картиной. Он так и застыл на месте, уронив руки с недоконченной самокруткой, потом встал и остановился, разглядывая рисунок. На подносе цвета старого золота покоилась голова мужчины. Все детали выписаны с беспощадной правдивостью. Лицо вполне заурядное с тяжелым подбородком и взглядом исподлобья, но его грубые черты источали мощную мужскую энергию, что-то от воли ярмарочного трибуна или барышника.

— Мой отец, — пояснил Патрис. — Тебе не кажется, что мы похожи? — И насмешливая гримаса искривила его сформированные хирургом губы.

Между тем созерцание в непосредственной близости одного из троих убийц его матери произвело на Серафена потрясающее впечатление. Он не мог отвести глаз от лица, отмеченного печатью достатка и благополучия, и силился представить его моло-

дым, каким оно было двадцать пять лет назад, в кухне усадьбы Ля Бюрльер.

Через открытую дверь в комнату неслышно вошла Шармен и разглядывала со спины застывшего перед портретом ее отца Серафена. Тут же рядом стояло полотно, запечатлевшее ее тело на фоне золотисто-розового тумана, еще более осязаемое и живое, благодаря игре светотени, рассекавшей его на два длинных треугольника. А этот деревенский увалень не нашел ничего лучше, как разглядывать самодовольную физиономию ее отца, объедавшегося своим богатством с прожорливостью вчерашнего голодавшего!

Шармен подумалось, что она сможет презирать Серафена, как грубое, хоть и красивое животное, пустую оболочку, но в это мгновение он резко обернулся, их взгляды снова скрестились, и, прежде чем он успел отвести свой, она заметила в его глазах тот же странный блеск, с которым он созерцал в столовой пустующее кресло. Впрочем, глуповатая улыбка тут же его приглушила, однако Шармен насторожилась, и необъяснимое тревожное чувство перебило влечение, испытываемое против воли к этому мускулистому красавцу.

Тем временем опустился вечер, и Серафен сообщил, что ему пора возвращаться.

— Я провожу вас до ворот, — вызвалась Шармен.

Патрис сжал вялую руку Серафена.

— Приходи, когда захочешь, — сказал он. — Буду рад тебя видеть. У меня нет друзей, да я и не хочу их иметь... Зачем? Слушать, как приятели сообщают мне о своих свадьбах и говорят: мы бы тебя, конечно, пригласили, но, старина, ты же сам понимаешь... — И он расхохотался своим режущим ухо смехом. — Еще бы не понимать! Моя рожа — в такой счастливый и радостный день! Ну уж нет! К черту друзей! С тобой я, по крайней мере, ничем в этом плане не рискую.

— Да, — сказал Серафен, — со мной вы ничем не рискуете.

Когда они спустились следом за Шармен по лестнице, Патрис опять удержал Серафена.

— Кстати... та девушка, которую я видел как-то в воскресенье в Ля Бюрльер...

— Которая?

— Ну, ты сам знаешь! — Патрис опустил голову, как будто стыдился своих слов. — Та, что поздоровалась со мной... Та, что мне улыбнулась... Она еще похожа на персиянку...

— А, да, — сказал Серафен. — Это Роз Сепюлькр.

— Ты видишься с ней?

— Так, встречаю иногда, — ответил осторожно Серафен, помня о том, что Роз дочь второго убийцы.

— Если ты ее как-нибудь увидишь, скажи ей...

В эту минуту они дошли до подножия лестницы, и большое зеркало отразило их обоих. Патрис прервал себя на полуслове и опять расхохотался.

— Не говори ничего! — воскликнул он. — Ну что бы ты мог ей сказать?

Серафен повернулся к нему спиной, чтобы взять свой велосипед, оставленный у большого платана. Шармен уже ждала его и пошла рядом. Патрис смотрел, как они удаляются, и ему захотелось нарисовать обоих в перспективе этой аллеи: он — в потертых бархатных брюках и голубой рубашке, она — в своем черно-белом домино, идущие рядом в молчании, которое красноречивее всяких слов. И все же в конце аллеи они расстанутся. На прощание Серафен протянет Шармен свою вялую руку, и она вернется с опущенной головой. И оба сделают еще шаг на пути к одинокой старости.

Вечер долго вырисовывался в небе, как будто все не мог укрепиться. Должно быть, над долинами между Юбей и Клерэ бушевали грозы, потому что растекающиеся из-за гор облака слишком медленно окрашивались розовым, как неспешно разворачиваемый веер, и Дюранс сердито роптала под мистралем.

— Значит, в вашей жизни есть какая-то Роз Сепюлькр? — спросила Шармен.

— Нет, — ответил Серафен, — у меня нет никого.

Когда они добрались до зарослей бересклета, скрывавших водоем, Шармен опередила его на несколько шагов и подошла к фонтану. Она запрокинула голову, чтобы напиться, и Серафен отвел глаза, невольно смущенный ее откровенной позой.

Наконец Шармен выпрямилась и отерла губы тыльной стороной ладони.

— Как долго еще мы не увидимся? — спросила она.

— Но, — начал в растерянности Серафен, — я всего лишь дорожный рабочий...

— Ну и что с того? Это не повод, чтобы удалиться от жизни. А вы, похоже, ищите такие предлоги.

Она быстро опустила руку себе за декольте, достала обшитый кружевами платочек и развернула его. Внутри оказался маленький блестящий ключик.

— Возьмите его, — не терпящим возражений тоном приказала Шармен. — В конце шпалеры, между гаражом и зимним садом, есть крыльцо и узкая дверь. Вы откроете ее этим ключом. Она выходит в большой коридор. Моя комната — первая направо. Я оставлю дверь приоткрытой и зажгу ночник. Я буду ждать, — добавила она, — столько, сколько понадобится... пока вы не решитесь.

Серафен, не отрываясь, смотрел на ключ и на пышную грудь за чуть отогнутым краем платья.

— Ну что? — нетерпеливо воскликнула Шармен. — Чего же вы ждете?

Она повернулась к нему спиной и присела на край бассейна, в позе одновременно покорной и вызывающей, как только что, когда пила из маскарона фонтана. Она смотрела на пару, образо-

ванную их отражениями в воде. И хотя он был здесь — со своей буйной шевелюрой, выступающими скулами и щеками флейтиста, Шармен вдруг показалось, что в бассейне отражается она одна.

— Подойдите! — велела она. — Как вы думаете, если тридцать лет спустя мы сможем еще увидеть свои отражения в этой воде, мы горько пожалеем?

— Да, это так, — на одном дыхании ответил Серафен.

Он протянул вялую руку к ключу, все еще свисавшему с кончиков пальцев Шармен, легко завладел им, потом повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь.

В Пейрюи он вернулся ночью. Издалека доносилось низкое уханье тромбона на деревенском гулянье и по-женски пронзительный голос аккордеона. Со всех сторон скользили проворные огоньки велосипедных фонариков, летя навстречу развлеченным. Серафен углубился в пустынную улочку, где за щелястыми воротцами хлевов блеяли козы.

Он толкнул свою дверь и, едва войдя в кухню, понял, что кто-то здесь побывал.

Каждый вечер, вернувшись домой, он открывал коробку из-под сахара, он доставал из нее три листка гербовой бумаги и, словно боясь забыть, жадно перечитывал три имени: Гаспар Дюпен, Дидон Сепюлькр, Селеста Дормэр. И снова складывал расписки, всегда в одном и том же порядке. В том, в каком когда-то их обнаружил. В том, в каком решил их устранить.

А в этот вечер бумаги лежали по-другому. Расписка Гаспара Дюпена оказалась снизу, Селеста Дормэра — посередине и наверху — Дидона Сепюлькра. Кто-то приходил сюда, кто-то узнал о бумагах... Серафен потряс коробку с луидорами, которые издали густой, насыщенный звон. Нет, похоже, к деньгам не притрагивались. К тому же, грабитель попросту унес бы всю коробку.

Серафен выпрямился, сжимая коробку обеими руками. Он чувствовал присутствие кого-то, кого луидоры интересовали не больше, чем его самого, кого-то, кто не спеша и безбоязненно разгуливал по его кухне, кладовке и примыкающей к ним комнате. Он чувствовал его, а между тем неизвестный не оставил после себя сколько-нибудь заметного следа или хотя бы запаха. И это ощущение присутствия продержалось всю ночь. Нематериальное и в то же время пронзительно-острое, оно, казалось, заполняло собой альков и кухню.

Вечером Гаспар Дюпен вернулся домой — много времени спустя после ухода Серафена, следом за его бесшумной "хадсон-терраплейн", пыхтя, словно из последних сил, тащился маленький грузовичок. В его кузове была установлена клетка, внутри которой сидели, высунув языки, четыре огромных собаки с красными глазами и настороженно изучали окрестности.

Дюпен не без труда выбрался из автомобиля: прошли те времена, когда он был подвижным и худощавым. Свет, падающий от фар через высокую решетку, выхватил из темноты медные кормушки четырех пустых стойл в глубине конюшни, и Гаспар с удовлетворением отметил, что, следуя его приказу, в боксах постелили солому.

— Вот и отлично! — сказал он себе, потирая руки.

Вместе с дородностью и разгоревшимся честолюбием он приобрел манеру двигаться торжественно и степенно и всякий раз, возвращаясь в Понтардье, чувствовал себя, будто владыка, попирающий ногами поверженную чернь.

Гаспар Дюпен повернулся к грузовичку и подал знак. Из кабины выбрался человек с мощным торсом и короткими ногами. Тучный и рыхлый, он подобострастно склонился перед Дюпеном, так что его внушительный живот едва не коснулся земли.

— Вы разместите их там, — велел Гаспар, указывая на падок.

— А это надежно? — спросил человек.

— В прежние времена здесь содержались племенные жеребцы.

— Хорошо.

Он отстегнул от пояса четыре ременных поводка и, взобравшись на подножку грузовичка, скрылся в кузове под нетерпеливое ворчание четырех собак. Через минуту отпер решетку и спрыгнул на землю, держа все четыре поводка в одной руке.

Тем временем Гаспар Дюпен отодвинул наружный засов на двери конюшни и откинул створку, проржавевшие петли которой отчаянно закричали. Четыре пса угрожающе зарычали и, натянув поводки, рванулись вперед, обнюхивая землю. Толстяк прошел вместе с ними за ограждение и освободил от поводков, после чего энергично задвинул засов.

— Не забывайте, — сказал он, назидательно подняв палец, — вы должны кормить их сами каждый вечер! Иначе они не будут признавать даже вас.

Он протянул руку ладонью кверху, держа в другой почти-тельно смятую фуражку.

Гаспар Дюпен отсчитал купюры из своего бумажника и с размаху шлепнул их на ладонь владельца собак. Затем коротко кивнул, и толстяк, забравшись в свой грузовичок, запустил двигатель. В следующее мгновение Дюпен остался один рядом со своим автомобилем.

На крыльце показался Патрис, привлеченный всей этой суматохой; он поджидал отца на верхней ступени.

Гаспар зашагал к дому, озабоченно склонив голову и время от времени бросая беспокойные взгляды на темные уголки шпалеры. Патрис насмешливо оглядел отца: несмотря на монокль, шляпу и лосины, голос кузнеца, вынужденного всегда кричать, чтобы его слышали в грохоте кузницы, безошибочно выдавал

происхождение Гаспара — как и его загрубевшие руки, с которых так и не сошли мозоли.

— Как бы не было беды, — сказал Патрис, когда отец подошел достаточно близко. — Эти твари не менее опасны, чем заряженное ружье.

— Вот именно! Я хочу, чтоб они были опасны. И пусть все это знают.

Гаспар Дюпен достал из портсигара сигарету и закурил.

— Я уже давно об этом подумывал, — продолжал он самодовольным тоном. — Я знаю этих собак с рождения — их разводит отец Кончиты. Так что они повинуются малейшему моему жесту, даже взгляду. Слышишь? Это американские доберманы. Они не лают, а рычат. Такая собака может перегрызть человеку глотку в полной тишине! Убить его в считанные секунды...

— Убить! — презрительно бросил Патрис. — Вы хоть знаете, что это такое?

Гаспар вынул из губ сигарету и открыл было рот, но в это мгновение свет упал на изуродованное лицо Патриса, а это зрелище всегда заставляло его умолкнуть.

Однако тут его мысли приняли другое направление. Быстрым взглядом он окинул ступени, по которым только что поднялся, обшарил полумрак вестибюля за приоткрытой дверью, и, наконец, посмотрел на верхушки деревьев, из-за которых всходила луна. Его внимание сосредоточилось на флюгере, поскрипывавшем тревожно и зловеще, словно предупреждение.

— Он был здесь... — пробормотал Гаспар.

— Да — если вы имеете в виду Серафена Монжа. Я пригласил его на завтрак и познакомил с Шармен.

— Я его нюхом чую, — проворчал Гаспар.

— Но... разве вы с ним встречались?

Дюпен бросил на сына быстрый взгляд.

— Мне нет нужды его видеть, — сказал он. — Я и так чувствую, где он проходил.

— Да как вы можете испытывать такую ненависть к человеку, которого совсем не знаете?

Гаспар вынул утомлявший его монокль и сунул в жилетный карман.

— Его... поведение подает дурной пример.

— Вот как? А сами вы считаете, что подаете хороший?

— К чему ты придираешься?

Патрис пожал плечами.

— Ни к чему. Я просто наблюдаю за вами. Вы меня забавляете.

— Я все задаю себе вопрос: в чем, собственно, ты меня упрекаешь и почему?

— Потому что вы не страдаете.

— А что ты об этом знаешь? У каждого есть своя причина для страданий, и выражает он это по-своему. — Гаспар повернулся к

сыну спиной и облокотился о балюстраду. — Считается, будто люди не меняются с течением времени, — проговорил он тихо, — и нас судят по тому, чем мы были когда-то. А ведь человек способен так перемениться... — Он резко повернулся к Патрису. — Ну как, твой дорожник кончил уже разбирать свой дом?

— До самого фундамента. Осталось только посыпать пустырь солью — думаю, он так и сделает. Это несчастный человек. Вам бы следовало его пожалеть.

— Что касается несчастных, как ты их называешь, — пробурчал Гаспар Дюпен, — не всех их сотворил наш добрый Господь... — Он с беспокойством глянул в сторону конюшни, где подвывали четыре доbermana. — Пожалуй, сегодня вечером я не пойду на обычную прогулку... Но, — добавил он так, словно кто-то бросил ему вызов, — завтра начну снова.

В это мгновение у него за спиной послышалось что-то вроде хриплого свиста. Звуки издавала гренадерша, страдавшая от астмы. Прислонившись к стене, негнущаяся, будто футляр от напольных часов, она поджидала хозяина, чтобы отдать ему ежедневный отчет о делах в имении.

— Поторопитесь, — насмешливо обронил Патрис. — Не то она задохнется от собственного яда.

— Эта женщина мне предана, — возразил Гаспар. — Ради меня она могла бы броситься в огонь.

— Думаю, куда охотнее она швырнула бы туда других.

Повернувшись спиной к отцу, он спустился по ступенькам крыльца и пошел к конюшне. Четыре пса почуяли его еще издали и теперь, встав на задние лапы, молча прижались к решетке. Крупные, они казались на голову выше Патриса. Их вываленные наружу языки и красные глаза вызывали в памяти отблеск пожара, а короткая блестящая шерсть в свете фонаря приобрела лиловатый оттенок. Патрис невольно вздрогнул. Впоследствии он говорил, что сам не знает, что удержало его в ту ночь от того, чтобы взять ружье и пристрелить собак на месте. Однако он счел за благо поскорее убраться от их плотоядного взгляда.

На следующий день Гаспар Дюпен сдержал свое обещание и возобновил вечерние прогулки по саду. Только теперь он выходил из дома с ружьем за спиной, надев под патронташ широкий пояс из кордовской кожи, к которому крепился большой карабин. Он направлялся к конюшне — непременно с каким-нибудь лакомством — и, пристегнув к карабину поводки пары собак, вооруженный до зубов, обходил дозором закоулки своего темного парка.

Но если раньше он обходил свои владения с легким сердцем, сунув руки в карманы, полный проектов дальнейшего украшения замка, все переменилось в тот осенний день, когда он узнал, что в Люре, по другую сторону Дюранс, в усадьбе Ля Бюрльер человек по имени Серафен Монж разрушает свой дом. С тех пор

страх овладел им и тащил на поводу у своих капризов. Он жил, поджав ягодицы и согнув спину, в ожидании сам не зная чего, внезапно просыпаясь среди ночи рядом с глухой, которая даже во сне не расставалась со своими четками, и тот же страх принуждал его хвататься за ружье, всегда лежавшее на расстоянии протянутой руки.

Теперь ощущение нависшей опасности сделалось острым, как никогда, и Гаспар Дюпен решил добавить к заряженному ружью четверку свирепых псов, от которых отец Кончиты вот уже добрых полгода умолял его избавиться.

Между тем Серафен принялся подстергать свою жертву. Он приезжал в Понтардье на велосипеде, который прятал во рву, среди полевых маков. Однажды он наткнулся там на другой велосипед, более старый, чем его собственный, и посчитал его выброшенным за негодностью, но потом обнаружил на кронштейне табличку, свидетельствующую об уплате налога за текущий год. Однако Серафен не придал этому особого значения и только спрятал свой велосипед чуть поодаль.

Серафен пробирался к парку самой длинной и наиболее заросшей из бегущих в низине дорог. Пробираясь сквозь густой кустарник, он делался игрушкой ветра, однако здесь на помощь ему приходил военный опыт. Серафен знал, что на уровне земли даже грохот зенитных орудий не мешает расслышать торопливый шаг поднимающейся в атаку роты противника, и ползком продвигался среди зарослей крапивы, по траве, усеянной колючим перекати-полем, пока не достигал аллеи, прячась за гигантскими камнеломками.

Через три дня он уже знал маршрут Гаспара, всегда неизменный — от конюшни до бассейна. На краю бассейна он и увидел его в первый раз.

Когда Серафен укрылся от ветра за стволами тополей, Гаспар появился перед ним в лунном свете между двумя кустами бересклета. Он увидел приземистого, коротконового мужчину, заурядной внешности, поведение которого свидетельствовало о привычке постоянно быть начеку. За своими псами он враскачку шагал по краю бассейна, с ружьем наготове. Под тенью широкополой шляпы можно различить усы и брови, выделявшиеся на бледном от страха лице. Гаспар Дюпен дважды обошел вокруг водоема, прежде чем исчезнуть за кустами бересклета.

Серафен не задавался вопросом, как справиться с вооруженным человеком, к тому же охраняемым двумя огромными псами. Он просто ползком подбирался к краю бассейна и наблюдал, укрытый в тени тополей. Машинально он поглаживал рукой холодный мрамор, как бы желая удостовериться в его гладкости, и внезапно у него родилось убеждение, что именно здесь все и должно совершиться.

На четвертый день сила ветра достигла своего апогея. Его хриплые жалобы пробуждали в душе самые мрачные и зловещие предчувствия. Деревья трещали, словно мачты застигнутого бурей корабля, а со сломанных, бессильно обвисших ветвей, сыпались разоренные птичьи гнезда, тут же подхватываемые и уносимые ветром.

В этот вечер Серафен, частью ползком, частью согнувшись вдвое, подобрался к беседке, которая показалась ему местом, подходящим для засады. Она высилась перед ним в лунном свете, сплошь увитая ампелопсисом — изящный каприз праздного дворянчика прошлого века. Царившая внутри темнота была настолько густой, что Серафен на мгновение заколебался, стоит ли пытаться туда проникнуть. Он не знал, где находится в этот час хозяин Понтардые, а тот с равной вероятностью мог очутиться и здесь, поскольку проход мимо беседки составлял часть его обычного маршрута.

Наконец со всей мыслимой осторожностью Серафен скользнул в проход, каждый год старательно прорезаемый садовником, и сделал несколько шагов в темноте, направляясь к расположенному напротив проему, за которым шумели под ветром одичавшие розовые кусты.

Вдруг чья-то легкая рука легла сзади на его плечо. Серафен был готов к нападению, но не к ласке, и, охваченный паникой, попятился прочь от ошупывавшей его руки. Он подался назад так резко, что наткнулся на какое-то препятствие, потерял равновесие и в следующее мгновение оказался сидящим на скамье.

Ветер перебирал густую листву ампелопсиса, и звук этот отозвался в мозгу Серафена назойливым щелканьем кастаньет.

— Кто здесь? — прошептал он.

— А кто это, по-вашему, должен быть? — раздался у него над ухом насмешливый голос Шармен. — Неужели вы успели позабыть меня за такой короткий срок?

— Тут слишком темно...

— Да. Но я всегда пользуюсь одними и теми же духами.

— Ветер уносит запах, — пробормотал Серафен.

— Ветер уносит все. Кроме нас. Почему вы не решились войти? Я искала вас повсюду...

— Искали меня? — переспросил Серафен, чтобы выиграть время.

— Ну, да. По всему парку. Мне показалось, будто я вижу в лунном свете ваш силуэт. Я даже окликнула вас. Но... должно быть, ветер помешал.

— Это был не я, — сказал Серафен. И едва не добавил: "Меня бы вы не увидели". — Вероятно, это ваш отец... или брат, — пробормотал он поспешно.

— Нет, — после минутного раздумья возразила Шармен. — Впрочем, это не имеет значения, раз вы здесь. Но... если мой аромат вас не возбуждает, значит, я от вас слишком далеко.

У Серафена не достало сообразительности встать во время этого разговора, и теперь он почувствовал, как она скользнула к нему на колени, ее руки обвились вокруг него, а груди прижались к его груди, обнаженной под расстегнутой рубашкой.

От этого прикосновения он мгновенно окаменел, живое тепло отхлынуло куда-то в глубины его существа. Сжав кулаки и стиснув зубы, он пытался противостоять видению, притаившемуся в извилинах его мозга. Вот сейчас горячие груди Шармен заменятся другими, с застывшими на сосках каплями молока, чья холодная сумрачная округлость уже начала вырисовываться в темноте. Он извивался, как червь, в цепких объятиях Шармен, зная, что кошмар развеется, как только его оставит желание.

— Увидеть вас... — выдавил он хрипло.

Шармен проворно вскочила на ноги.

— Ах, это верно! Увидеть меня... Так вы действительно хотели бы меня видеть? Я тоже хочу видеть вас... смотреть на вас... Идемте! — И, не выпуская его запястья, которое она сжимала, точно в тисках, Шармен заставила его войти в дом и переступить порог ее комнаты. — Подождите! — попросила она.

Здесь было темно и тоже хозяйничал ветер, издавая тревожный, мяукающий звук, доносившийся через открытый дымоход холодного камина. Шармен зажгла свет, и Серафен машинально повернулся к лампе. Это была стеклянная статуэтка, изображавшая стоящую на коленях обнаженную девушку, осененная абажуром цвета бедра испуганной нимфы. Она стояла на фортепиано. Серафен увидел также бюро-секретер, высокую кровать из орехового дерева — такие обычно дарят супругам на свадьбу, приоткрытую дверцу шифоньера, полного всяких предметов женского туалета, книги, разбросанные на ковре перед камином, в котором бесчинствовал ветер, тут же валялись подушки, свидетельствуя о том, что здесь часто проводили время, растянувшись прямо на полу... И над всем этим реял аромат духов, волнующий, призывный. Еще никогда слово "счастье" не было для Серафена таким материальным, осязаемым. Но прежде всего он оказался один на один с сознанием чудовищной истины, которую не мог ни с кем разделить. В самом деле, не мог же он сказать ей: "Моя мать, как и вы, хочет заниматься со мной любовью. Моя мать, умершая двадцать пять лет назад, зарезанная вашим отцом! Вот почему она стоит между нами и мешает мне приблизиться к вам. Вот почему она проскальзывает на ваше место. Вы хотите знать правду? Вот она!" Потому что он искренне верил, что такова и была правда.

Между тем Шармен следила за его затравленным, мечущимся по комнате взглядом, который он останавливал на каждом предмете — кроме нее. Тайна, которую она почуяла в нем с первого мгновения их встречи, все больше разжигала ее любопытство.

Панический страх оказаться снова во власти кошмара полностью парализовал волю Серафена, он был загнан в угол. Его присутствие в парке усадьбы Понтардье в десятом часу вечера можно было объяснить только тем, что он пробрался сюда ради Шармен. А поскольку она сама искала встречи, исчезло последнее спасительное препятствие.

— Вы предпочитаете... — Шармен сделала шаг по направлению к Серафену, который застыл между камином и фортепиано, в двух шагах от двери. Она повторила: — Вы предпочитаете видеть, как я раздеваюсь? Раздеть меня самому? Или чтобы я разделась там? — Кивком головы Шармен указала на расположенную у нее за спиной приоткрытую дверь ванной комнаты.

— Там, — коротко сказал Серафен.

Она повиновалась, но у порога ванной повернулась к нему.

— А вы не воспользуетесь этим... чтобы сбежать?

— Да нет же! — пробормотал он. — С чего вы взяли?

Серафен покраснел при мысли, что она так легко угадала его намерение, поскольку подсознание подсказывало ему именно этот выход: выбраться из дома, едва она исчезнет за дверью ванной, схватить свой велосипед — и прочь отсюда, не оглядываясь, крутить педали до самого Пейрюи, а там броситься на постель, зарыться в простыни, забыться...

Он не услышал, как Шармен выскользнула из ванной и появилась перед ним. Она опустилась на кровать, на пунцовое стеганое одеяло, тон которого великолепно оттенял соблазнительные изгибы ее тела, и заговорила шепотом, так что со своего места он едва слышал ее из-за ветра, завывавшего в дымоходе.

— Видите, к чему вынуждает меня ваша медлительность? Да, я люблю ласкать себя... почти так же, как люблю, когда меня ласкают другие. Вот так! Вам нравится? Вы довольны? Хотите узнать тайны женской природы? Глядите же... Глядите хорошенько! Не отводя глаз... Не отводя глаз...

Серафен сделал шаг вперед, потом второй, третий. Он возвышался над Шармен во весь свой огромный рост, в обтягивавшей тело выцветшей рубашке, массивный, как ствол дерева. Она наблюдала за ним сквозь полусомкнутые ресницы, охваченная бессознательным желанием, затем ее свободная рука в приливе нетерпения скользнула ниже пояса Серафена. У него подогнулись колени, еще мгновение — и он готов был рухнуть на эту плоть, кричавшую от нестерпимого голода.

И тогда, похожие на пронзительное мяуканье, два почти одновременных выстрела, перекрыли шум ветра в дымоходе, проникли сквозь стены и разорвали кокон дивной извращенности, в которой черпали наслаждение будущие любовники.

У Шармен вырвался почти звериный вопль:

— Патрис!

Она соскочила с постели и, прижав руки к обнаженной груди, задыхаясь, стояла рядом с Серафеном, который отступил на два шага.

— Патрис! — повторила она.

В ее помутившемся сознании выстрелы прозвучали, как два слога этого имени, и она выкрикнула то, что слышала. Уже давно она ожидала несчастья — слишком много Патрис смотрелся в находившиеся в пределах его досягаемости зеркала. В Шармен вызревала неколебимая уверенность, что однажды он не вынесет больше зрелища этой маски арлекина, словно намалеванной художником-кубистом, и разнесет ее выстрелом.

— Патрис... — прохрипела она.

Внезапно Серафен обнаружил ее рядом с собой совершенно одетой. Сжигавшее их искушение развеялось, как обманчивый дым.

— Это снаружи... — прошептал Серафен.

Он не успел договорить, как раздались еще два выстрела. Шармен выбежала в коридор, распахнула потайную дверь и вихрем слетела по лестнице на узкое крыльцо. Вдалеке между деревьями, скрещиваясь, вспыхивая в лунном свете, быстро двигались огоньки. Шармен бросилась туда. Она мчалась, будто затравленное животное. В это мгновение она начисто позабыла о Серафене — тревога и ужас целиком поглотили ее существо. Патрис... Сестра и брат, отрезанные от матери ее глухотой, они с самого детства любили друг друга, как тайные и нежные сообщники. Патрис... Его красивое лицо романтического подростка, который, опершись подбородком на руку, мог часами любоваться проплывавшими по небу облаками, маленькими, всегда новыми под заливавшим их светом деревеньками, которые, словно приглашали их посетить, серебристым рубцом Дюранс на темном лике долины... Как часто, указывая на этот пейзаж, Патрис говорил ей: "Вот все, что мне нужно для счастья. Остальной мир не вызывает во мне никакого любопытства. Я люблю только это и тебя — когда ты склоняешься над своим пианино..." Патрис, любивший покой и мир, Патрис, чья душа была убита войной.

Не разбирая дороги, она мчалась навстречу огонькам, которые стремительно приближались со стороны фермы. За решеткой падока выли обезумевшие собаки.

Разум подсказывал Серафену, что он должен бежать, исчезнуть незамеченным, но имя Патриса, которое она, задыхаясь, продолжала твердить на бегу, влекло его следом за Шармен.

Между тем огоньки собрались вокруг бассейна. И они сразу же увидели Патриса, сжимавшего в руке револьвер.

— Боже мой! — выдохнула Шармен.

Серафен прижал ее к себе. Ее била крупная дрожь, точно подстреленную птицу. Будто заведенная шарманка, она повторяла:

— Благодарю Тебя, Господи... Благодарю Тебя, Господи...

И тут ветер утих. Он истощил свои силы и его последний аккорд, запутавшийся высоко в ветвях, прозвучал, как вздох сожаления.

В девять часов того самого вечера, когда порывы ветра достигли своей наибольшей силы, Гаспар Дюпен вышел из пaddocka с двумя доберманами на поводках, пристегнутых к поясу, и ружьем, которое держал дулом вниз.

Он выругал ветер, надвинул шляпу на самые брови и, опустив голову, углубился в темные аллеи, терзаемый одновременно страхом и гневом, в сторону бассейна.

Гаспар окинул взглядом свое любимое детище: вид этого водоема обладал способностью укреплять его дух. Убаюканный удовлетворенной гордостью, он потянул собак за поводки, как вдруг какое-то движение, почудившееся ему среди деревьев, всколыхнуло его с новой силой. Он вскинул ружье, прицелившись в направлении этого подозрительного колебания, и развернул туда собак. Но нет, это всего лишь ветер переменял тональность, гуляя в растрепанной чаще.

Гаспар шагнул на широкий край бассейна, увлекая за собой прижавшихся к его ногам собак. Здесь, на открытом пространстве, далеко от грозящих опасностью зарослей, затаившийся где-то в животе страх превратился в крошечный комочек, едва достаточный, чтобы поддерживать в нем бдительность. Он даже позволил себе — хоть и не без труда — роскошь закурить сигару, как и подобает человеку, честно заслужившему свой отдых.

Так он обошел прогулочным шагом примерно половину периметра бассейна, прикрывая страх самонадеянностью, с собаками, раздраженно пыхтевшими в тщетном ожидании добычи, и ружьем наизготовку. Гаспар только что с наслаждением выпустил очередной клуб ароматного дыма, как вдруг у него подвернулась нога и соскользнула с мраморной облицовки. Или, может быть, это земля выскользнула у него из-под ног? Как бы там ни было, он потерял равновесие и, бестолково размахивая руками, рухнул в воду. Падая, он выронил ружье, тотчас пошедшее ко дну, и потащил за собой обеих собак с громким "плюх", которое, однако, слышал только ветер.

Зная, что шум деревьев заглушит его вопли, Гаспар все же инстинктивно закричал. Он попытался ухватиться за край облицовки, но не успел, потому что собаки одним рывком стащили его вниз. Барахтаясь, они кое-как держались на поверхности, однако, лишённые навыков ньюфаундлендов, стремились выкарабкаться каждая сама по себе.

Гаспар плавать не умел совсем, к тому же знал, что от дна бассейна его отделяет почти два с половиной метра воды, при длине в сорок и ширине в двадцать, которыми он так гордился.

Это была вода из горных расселин, просачивавшаяся сквозь глинистые слои, изогнувшиеся по воле тектонических сдвигов, подземная река, текущая очень глубоко под ложем Дюранс, чтобы вновь выйти на поверхность в шестистах метрах отсюда, среди зарослей ивняка, где ее заточили в трубы, сохранившую свой ледяной холод.

И теперь, очутившись в этой воде, Гаспар обнаружил, что она, на которую он потратил столько сил, чтобы заставить снова течь в бассейн, эта вода с такой чарующей, прохладной поверхностью, одарена, оказывается, своей собственной жизнью, ничуть не предназначенной для удовольствия человека. Она была упругой, вязкой и ледяной, и этот холод просачивался сквозь его кожу, пронизывал все ткани, замораживал кровь. Гаспар снова закричал и почувствовал, как собаки тащат его в сторону топей. Цепляясь за поводки доберманов, он яростно барахтался, пытаясь сохранить в своем коченеющем теле хоть немного тепла. Собаки доплывали до края бассейна, наполовину высовывались из воды, выгибались дугой и отчаянно молотили задними лапами, но их когти беспомощно скользили по мрамору, девяносто килограммов веса Гаспара тянули их вниз, тем более, что они не могли согласовать свои усилия. И собаки падали обратно в воду, снова пускались вплавь и устремлялись по прямой к фонтану, струи которого, низвергаясь в бассейн, растекались ровной поверхностью.

И вдруг между ухмылками ларов, по лицам которых струилась вода, помутившийся взгляд Гаспара различил человека, стоявшего на краю бассейна и смотревшего, без усмешки и ненависти — просто с любопытством, как он борется со смертью. Гаспар сразу же узнал его, хоть не видел давным-давно, и понял, что если тот стоит здесь, перед ним, в ярком лунном свете, безмятежно спокойный, сунув руки в карманы, это значит, что он сейчас умрет.

И в это мгновение Гаспар разинул рот в последний раз, издав долгий хрип немого от рождения и ткнулся лицом в воду, где навеки похоронил свой страх.

Между тем собаки продолжали тащить мертвеца, как раньше тащили живого. Пытаясь выбраться, они упорно цеплялись за край бассейна, но вес Гаспара отбрасывал их назад. Они начинали сызнова. Иногда им удавалось вынырнуть из воды. В таком положении, с разинутой пастью, вываленным наружу языком и выкатившимися глазами, задыхающихся от ужаса и бессильного гнева, на них и наткнулась гренадерша.

Недовольство Гаспара заставило ее отказаться следовать за ним по пятам. Однако она продолжала бродить между деревьев с ружьем в руке, но на слишком большом расстоянии, чтобы иметь возможность ему помочь.

Добравшись до бассейна и увидев перед собой оскаленные пасти с высунутыми языками, она сразу же поняла, что эти

адские твари никогда не позволят ей приблизиться. Тогда она вскинула ружье и выстрелила. Раз, другой, третий. Первому доbermanу она попала прямо в голову, но по второму промахнулась, и он бросился прочь, с трудом волоча за собой уже два трупa. Пес начал терять силы, и ему не удалось достичь противоположного края бассейна, на который он упорно старался выбраться.

Как раз в это время вернулся Патрис, ездивший петь серенаду под окнами Роз Сепюлькр, у мельницы на берегу Лозона. Ее нескладная сестра рискнула на мгновение выглянуть из окошка мансарды, и Патрис был уверен, что это Роз послала ее разузнать, что происходит, поскольку почти тотчас тихонечко приоткрылся ставень на ее собственном окне.

И теперь, въезжая в аллею парка Понтрадьё на своей красной спортивной машине, Патрис, несмотря на разгулявшуюся стихию, чувствовал себя превосходно.

Два выстрела экономки набросились на него, точно пара сварливых котов, заставив резко затормозить. Он всегда хранил в автомобиле привезенный с фронта револьвер, который временами доставал из отделения для перчаток, чтобы любовно погладить его рукоять. Теперь Патрис выхватил его и выскочил из машины.

Сначала он решил, что стреляет отец, поскольку было примерно то время, когда Гаспар совершал свой ежевечерний двухкратный обход бассейна. Не раздумывая, Патрис пустился бежать в этом направлении и, продравшись через кусты бересклета, увидел над краем мраморной облицовки голову доbermanа, пытавшегося подтянуться на передних лапах. И еще он заметил служанку с ружьем в руках. Этого было достаточно, чтобы оценить ситуацию. Два выстрела заставили пса рухнуть обратно в воду. Патрис бросился вперед и лег животом на край бассейна. Тела его отца и двух собак медленно уходили под воду. С трудом ему удалось ухватиться за ошейник одного из доbermanов.

— Помогите мне! — крикнул Патрис.

Гренадерша последовала его примеру и тоже уцепилась за поводок. Вдвоем они подтащили тело Гаспара к краю бассейна. Патрис на ощупь отыскал крепившийся к поясу мертвеца карабин и отцепил трупы убитых собак. Освобожденное от груза тело его отца перевернулось на спину, и луна осветила его лицо, на котором застыло выражение ужаса пополам с изумлением; рот был широко разинут, глаза вытаращены.

Патрис и гренадерша пытались вырвать труп из водяного плена, когда услышали крики, и на поверхности бассейна заплясали огни фонарей — это были арендатор с соседней фермы, его сын и дочь, прибежавшие на помощь.

— Мы уже собирались ложиться — как вдруг эти выстрелы! Мы сразу поняли: что-то здесь случилось. К счастью, стреляли с подветренной стороны, а то бы нам нипочем не расслышать...

Они повалились плашмя на облицовку бассейна и, охваченные болезненным возбуждением, пытались уцепиться за край одежды Гаспара.

— Закройте ему глаза! — кричал фермер. — Нужно сделать это немедленно! Он уже и так совсем холодный, потом ничего не выйдет!

Впятером они хватались за одежду мертвеца, но даже совместными усилиями не удавалось вытащить тело из бассейна.

В какое-то мгновение Патрис поднял глаза и заметил Шармен, бегущую к ним от кустов бересклета.

— Пустите! — сказал кто-то у него за спиной. — Дайте мне.

Обернувшись, Патрис увидел Серафена, который отстранил фермера и его дочь и, погрузив руки в воду, подтянул к себе труп Гаспара. Он ухватился за воротник его куртки и, постепенно выпрямляясь, вытащил тело на край бассейна, где осторожно опустил на мраморные плиты.

Все дрожали от холода, хотя ветер улегся, словно по волшебству, и не могли отвести глаз от мертвеца, который, так или иначе, довлел над жизнью каждого из них, и только что, вот так, окончил свой земной путь.

— Нужно унести его отсюда, — сказал после паузы фермер.

— Серафен! — позвал Патрис. — Ты берись за ноги, а мы, вдвоем, за руки.

Серафен нагнулся.

— Нет! — завизжала гренадерша, вскидывая ружье. — Это твоя вина! — выкрикнула она, поворачиваясь к Патрису. — Не привел бы ты его сюда, ничего бы не случилось! Этот парень приносит несчастье! Достаточно только поглядеть на него! — Она протянула свою руку, похожую на валец прачки, и ткнула пальцем в Серафена. — Вот, вот, поглядите! Ничего? Ах, да, вы ведь родом не из Шансора! Но я-то его насквозь вижу, сколько б он ни прятался за своим ангельским личиком! Я знаю, что он такое! Уж я-то знаю!

— Умолкни, старая ведьма! Ты сошла с ума! — прикрикнула Шармен, в то время как Патрис, улучив минуту, выхватил у гренадерши ружье.

— Для нее это тяжелый удар, — сказал он.

Они присели, чтобы поднять эту мокрую, мертвую массу, которая уже застыла, сделавшись неповоротливой, как бревно, и с ней нелегко было управляться.

Патрис и фермер взяли за левую руку, его сын и рослая, крепко сбита дочь — за правую. Серафен тихонько отстранил Шармен и встал в ногах у трупа — на фронте ему часто доводилось выволакивать с поля тела убитых, в том числе под артобстрелом. А гренадерша всю дорогу, пока они несли мертвеца, бережно поддерживала его голову.

Кортеж тяжело протопал по главной аллее Понтрадье к дому, где на верхней ступеньке лестницы ожидала глухая, у ко-

торой, посреди ее вечного безмолвия, все же дрогнула в сердце какая-то струна. Шармен бросилась к матери, помешав ей спуститься.

В последний раз Гаспар Дюпен возвращался в свой дом, и его безжизненное тело оставляло за собой долгий мокрый след — память о прекрасном бассейне, которым он так гордился.

Серафен всю ночь провел рядом с Патрисом, бодрствуя у тела своего поверженного врага. В гостиной, где сдвинули к стенам мебель, безликую под наспех наброшенными чехлами, соорудили временное ложе, на которое и положили Гаспара — как был, в сапогах деревенского помещика, поскольку их не удавалось снять с его застывших ног. Ледяная вода способствовала преждевременному охолождению трупа.

Тут же топтался фермер, неловко переминаясь с ноги на ногу. Он не знал, как ему и детям испросить позволения удалиться: завтра утром они должны были приступить к сбору винограда. Патрис заметил его смущение и кивком выразил согласие.

Шармен в досаде грызла ногти, украдкой бросая взгляды на Серафена. Уж не взбрело ли этому недотепе в голову, что она будет всю ночь торчать у трупа отца, которого, по правде, никогда не любила? Их так некстати прерванная страсть чувствительно жалила ее неудовлетворенное тело.

В Патрисе смерть отца пробудила грустную снисходительность, которую он обычно к нему испытывал. Он сожалел, что Гаспара нет больше в живых, однако это чувство не могло целиком вырвать его из нового, счастливого состояния. Душой он все еще был там, наверху, возле мельницы Сен-Сепюлькр, уверенный, что это Роз попросила сестру поглядеть, кто устроился при таком ветре на утесе у начала каскада, чтобы сыграть ей на мандолине. Перед глазами у него продолжала стоять фигурка Роз, прильнувшая украдкой к приотворенному ставню.

Пожалуй, единственным в этой комнате, кого по-настоящему и глубоко затронула внезапная смерть Гаспара Дюпена, был Серафен Монж. Он даже рискнул подойти под свирепым оком грендерши, чтобы взглянуть на сомкнутые на четках руки мертвеца. Ведь эти самые руки когда-то точили резак на камне у источника Сиубер, чтобы потом вонзить его в горло Жирарды. Теперь его жизни тоже пришел конец, только совершилось это в мире и спокойствии, как у любого человека, сумевшего избежать угрызений совести и ускользнуть от правосудия. Он беспокойно шевельнулся.

— Куда же вы? — встрепелась Шармен.

— Я должен вернуться домой. Завтра утром...

— Завтра — воскресенье, — прервала его Шармен. — К тому же вам все равно придется задержаться. Сейчас прибудет врач и жандармы — Патрис вызвал их по телефону. Они захотят узнать... Ведь вы же были на месте происшествия. — Ей показа-

лось, что у него готов сорваться протестующий жест. — Не беспокойтесь. Я объясню, почему вы тут оказались.

— Мне нечего опасаться! — неосторожно буркнул Серафен. — Во всяком случае, за себя.

И он уселся на стул. Однако тотчас подумал, что не имеет права расслабляться и давать волю эмоциям, чтобы не выдать себя. Его поведение не должно вызывать никаких подозрений. Действовать нужно спокойно и осмотрительно, смириться с постигшей его неудачей. Этот ускользнул — пусть так. Но ведь остались еще двое. Серафен больше не раскрыл рта, зато глаза его не отрывались от трупа, стараясь насытиться этим зрелищем.

Наконец, около пяти часов утра, приехал доктор в своей старомодной машине.

— Как это случилось? — спросил он. — И как давно?

Ему назвали время. Доктор казался удивленным, однако не сделал никаких замечаний. Опершись подбородком на руку, он обвел взглядом собравшихся. Ему не раз случалось наблюдать поведение семьи перед лицом внезапной смерти. Гаспар Дюпен, в свое время заработавший для этих людей кучу денег, теперь — если верить слухам — проматывал их на любовницу, и в немалых количествах. А доктор Роман, сам будучи уроженцем Дофине, был хорошо осведомлен о чувствительности здешних наследников в отношении денег. Утонуть в бассейне во время ночной прогулки — это непременно вызовет толки...

Он с подозрительным видом кружил вокруг покойника, разглядывал его так и эдак, ощупывал, обшаривал одежду, надеясь найти какую-нибудь зацепку: след от удара, кровоподтек, хотя бы царапину, которые позволили бы отказать в выдаче свидетельства о смерти и подвергнуть тело более тщательному обследованию. Однако придраться было не к чему. Этот человек умер, наглотавшись воды, и все тут. Все его усилия не дали результата, и это приводило доктора в бешенство, поскольку, вопреки очевидному, в нем крепло глубокое внутреннее убеждение. Но на этом основании не откажешь в разрешении на похороны.

— Молодой человек, — он ткнул пальцем в Серафена, который приподнялся со своего стула, — как я погляжу, вы обладаете незаурядной силой и, кроме того, не член семьи. Вы ведь не родственник господина Дюпена? Помогите мне раздеть жертву.

Это оказалось нелегкой задачей, поскольку труп окоченел от затылка до пальцев ног, негнувшийся, словно бревно, а доктор не рискнул снимать одежду, разрезав ее с помощью ножниц или бритвы.

Долетевшее из парка утробное урчанье доbermanов возвестило о прибытии жандармов.

— В чем дело? — спросил, входя, бригадир. — Что здесь произошло?

Голос его прозвучал довольно нервно, поскольку он не вполне оправился от зрелища двух разъяренных тварей, которые бросались на сетку, пытаясь вырваться и растерзать его.

— У вас тут опасные животные, — пробормотал он, вытирая пот со лба.

— Это собаки отца, — сказал Патрис. — Нас они не слушают. Я велю их пристрелить.

Когда бригадир сообщили, что жертва упала в бассейн и захлебнулась, после чего труп вытащили из воды и перенесли в гостиную, его лицо исказила недовольная гримаса, не сходящая до самого конца визита.

— Следовало оставить тело на месте происшествия.

— Но ведь мы не были уверены в его смерти, — оправдываясь, пояснила Шармен. — Надеялись, что отец еще жив.

— А вы, доктор, что скажете? Вы ведь осмотрели покойника.

Доктор ответил так, будто читал протокол:

— Он оступился. Упал в ледяную воду, потащив следом собаку. Смерть от гиперемии. Тут не может быть никаких вопросов. На теле не обнаружено никаких подозрительных следов, как то: кровоподтеков, ссадин, ран... — Сознывая цену произносимых слов, доктор попытался выразиться как можно более обтекаемо в надежде, что собеседник не обратит на это внимания. — У вас ко мне все? — округлился он.

— Пока да, — откликнулся бригадир, прилежно записывая что-то в блокнот.

Доктор Роман открыл свой портфель и выложил на стол чистый бланк.

“Я, нижеподписавшийся, доктор медицины, заявляю, что, обследовав тело etc...”

Таким образом все прошло бы законным путем, и Гаспара Дюпена зарыли бы в могилу целехоньким, а не раскромсали, как скотину на бойне, если бы жандарм Симон, движимый профессиональной щепетильностью, не вздумал порыскать в окрестностях бассейна, дабы проникнуться атмосферой.

Этот не в меру подозрительный жандарм предпринял круговой обход бассейна, сунув обе руки за поясной ремень, мысленно пытаясь втиснуться в шкуру жертвы, и нога у него поехала ровнехонько в том месте, где несколько часов назад поскользнулся Гаспар Дюпен.

— Естественная смерть! — провозгласил доктор Роман, и в эту самую минуту в гостиную ворвался мокрый жандарм, оставляя на паркете лужи воды. Он отдал честь, как велит устав, щелкая при этом зубами от холода.

— В чем дело, Симон? — повернулся к нему бригадир. — Тысяча чертей... что это с вами приключилось?

— Смерть-то, может быть, и естественная, господин бригадир, — выпалил жандарм, — да только откос ему кто-то намылил!

— Что за чушь вы городите?

Доктор в мгновение ока затолкал на дно портфеля выписанное было разрешение на похороны.

— Так и пневмонию подхватить недолго! — засуетился он. — Ну-ка, живо раздевайтесь! Снимите с него мундир и пусть ему дадут сухую одежду. Этот человек рискует...

Когда подкрепленный двумя стаканами водки и обряженный в наспех подобранный костюм фермера жандарм смог наконец связно рассказать, что с ним случилось, все бросились в парк к бассейну и склонились над тем местом, куда он указывал пальцем.

— Вот здесь! Проведите рукой!

Присевший на корточки бригадир осторожно провел кончиками пальцев по мраморной облицовке. На ощупь она была скользкой, словно одетая ледяной коркой, и в двух местах оцарапана разной обувью — сапогами Гаспара Дюпена и тяжелыми ботинками жандарма.

— И так на протяжении почти трех метров! — торжествующе воскликнул Симон. — Тот, кто прогуливался по краю, непременно должен был бултыхнуться головой в воду!

Доктор Роман принялся.

— Гм... Пахнет содой. Смесь мыла, вероятно, хозяйственного, и воска. Каток, — пробормотал он задумчиво, — настоящий каток...

— А я вам что говорил! — не унимался жандарм. — Ему натерли мылом край бассейна!

Жизнь человеческая держится на тонкой нити, и, чтобы оборвать ее, не нужно ни динамита, ни револьвера, ни даже ножа. Человек, придумавший эту ловушку, простенькую и недорогую, но вместе с тем надежную, хорошо это знал. Если только у него не вызывала отвращения необходимость испачкать руки, дотронувшись до своей жертвы...

Серафен с недоверием рассматривал мраморную облицовку, которую немного мыла и хорошего воска, взятые в соответствующих пропорциях, превратили в смертельную западню. Тот, кто это сделал, должен был, как и он, знать, что каждый вечер хозяин Понтрадье выходил подышать свежим воздухом около своего бассейна, прикрепив к поясу поводки двух собак, которые затрудняли его движения...

Итак, Гаспар Дюпен, был все-таки убит, но удар ему нанес не он, Серафен.

“Ищи того, кому выгодно преступление...”

За три дня следствием было установлено, что пострадавший имел любовницу, которая обдирала его, как липку, и его дети — в присутствии третьих лиц — не раз жаловались на такое положение вещей.

Жандармы, роясь повсюду, обнаружили в хозяйственных пристройках усадьбы солидный запас жидкого черного мыла, а

также пчелиного воска. А еще они обнаружили, что почато по три банки каждого из упомянутых продуктов. Почему три, когда с головой хватило бы одной? Этот вопрос задавали всем, однако ответы никого не удовлетворили, в особенности же, судью.

И напрасно гренадерша обвиняющим перстом указывала на Серафена: "Говорю вам, это он! Разве вы не знаете? Тот самый, что разрушил свой дом. А теперь он окончательно спятил! Когда-то вся его семья была зверски перебита, он — единственный, кто уцелел. Вам не кажется странным, что только он избежал смерти? О, этот человек приносит несчастье! Беда идет за ним по пятам, она повсюду, где бы он ни появился! Да, да, это он! Я чувствую это, вот здесь!"

Серафена Монжа в расчет не приняли. Во-первых, он не следовал за жертвой; во-вторых, был довольно глуповат, чтобы измыслить такую изощренную ловушку; и, наконец, в-третьих, сам господин Англес из департамента путей сообщения простер над ним покровительственную длань. А господин Англес олицетворял собой две вещи: власть и длинную руку. И если б ему не отдали его работника, эта рука была способна дотянуться до самого Парижа!

Зато судье не понравилась насмешливая улыбка Патриса, и, спустя 48 часов после того, как совершилось преступление, он велел препроводить его в свой кабинет, где на столе были выставлены банка с черным мылом и коробочка воска, а также лежали и боевой револьвер, и мандолина.

— Что делали эти два столь неуместных предмета в вашем автомобиле? — грозно спросил судья, указывая на банку с мылом и воск. — Вы можете это объяснить?

— Разумеется, — спокойно ответил Патрис. — Техника, она, знаете ли, ломается — и нередко, — а я кое-что в этом смысле, вот и занимаюсь ремонтом. И когда заканчиваю возиться с железом, руки у меня оказываются выпачканными в машинном масле, а я как-то не привык появляться в обществе с грязными руками... Это вам объяснение насчет мыла.

— Прекрасно! А воск?

— Ваши люди должны были заметить, что в моем автомобиле имеется деревянная отделка: приборная доска, например, или внутренняя сторона дверец. Время от времени ее надо натирать воском...

— Согласен! — замахал руками судья. — А что скажете по поводу этого? — И он дернул струны мандолины под носом у потенциального подозреваемого.

— Я впервые слышу, — взорвался Патрис, — о том, что мой отец был убит при помощи тупого орудия. К тому же эта вещь, как вы можете убедиться, довольно хрупкая.

— Не спорю. Вот только в вашем времяпровождении, как вы нам его расписали, есть провал в, без малого, два с половиной ча-

са. Итак, следите за моими рассуждениями. В то утро, когда произошла трагедия, в усадьбу к девяти часам, как и каждый день, явился сын арендатора, чтобы собрать с поверхности воды опавшие листья. Он обошел весь бассейн по периметру и не поскользнулся — значит, в этот час ловушка еще не была приготовлена. Однако, начиная с этой минуты, мы прослеживаем действия и передвижения всех членов семьи жертвы и, в частности, ваши. Что до остальных, они имеют довольно убедительное алиби. Но возьмемся за вас. В десять минут десятого сын арендатора видит, как вы проезжаете мимо него, направляясь в Маноск, где у вас должна состояться встреча с инженерами-электриками. Вы провели с ними утро, вместе позавтракали и расстались около трех часов пополудни. Затем вы отправились на стройку, где у вас на работе произошло собрание. В половине шестого вас видели у продавца газет, в шесть — играющим в бридж в задней комнате кафе “Глетчер” в обществе дантиста, нотариуса и судебного секретаря. Около восьми вечера вы покинули их, выпив за это время два стакана мятной настойки с минеральной водой, и дальше ваш след теряется — вплоть до той минуты, когда в десять часов вы — неожиданно! — появляетесь в парке у бассейна, где борется со смертью ваш отец.

— К этому времени он уже был мертв.

— Допустим. Однако вы дважды стреляете из этого револьвера... — Судья приподнял оружие и со стуком опустил обратно на стол. — Вы хотите сказать — по собаке? Кстати, примите мои поздравления, вы — превосходный стрелок, попали псу точно между глаз... Только вопрос не в этом. Нам не известно, что вы делали в промежутке между восьмью и десятью часами вечера. А этого времени вам с лихвой хватило бы, чтобы вернуться в усадьбу и намылить край бассейна. Вот я и хочу знать, где вы были. И еще меня интересует, зачем вы возите эту штуку, — он указал на мандолину, — в своем автомобиле.

— Ну уж это вас не касается, — процедил сквозь зубы Патрис, едва сдерживаясь, чтобы, в свою очередь, не спросить: “А где были вы во время войны?”

— То есть вы отказываетесь отвечать?

— Отнюдь! Если вам угодно, я отправился упражняться в игре на склонах Ганагоби.

— И, конечно же, там вас никто не видел?

— Я не слишком искусен в музыке, чтобы собирать слушателей.

— Такой ответ неудовлетворителен, — проворчал судья. — Я буду вынужден вас задержать. Послушайте, постараемся понять друг друга. Я вовсе не обвиняю вас в убийстве отца. Дело в незаконном ношении оружия. Понимаю, военные сувениры и все такое, однако вы не имеете права выносить их из дома. Уже одного подобного нарушения достаточно, чтобы вы предстали перед судом присяжных...

— Это — не военный сувенир, — тихим, напряженным голосом произнес Патрис. — На память о войне я имею другие сувениры, и они всегда при мне. А что касается оружия, у меня был товарищ, изуродованный еще больше, чем я. Так вот, однажды он не выдержал и разнес себе голову... из этого самого револьвера. А мне оставил его в наследство — так, шутки ради.

— Я разрешаю вам, — пробормотал смутившийся судья, — нанять себе адвоката. Через сорок восемь часов мы рассмотрим возможность вашего временного освобождения. Но до тех пор — увы!

Когда Патриса вывели из кабинета судьи — без наручников, потому что даже жандармы испытывали смешанное с ужасом почтение к его изуродованному лицу, — в вестибюле Дворца Правосудия его ожидало большое счастье, какое он только мог вообразить. У высокого французского окна, забившись в уголок, сидела Роз Сепюлькр, которая, при появлении Патриса, вскинула на него покрасневшие, заплаканные глаза.

Она примчалась на велосипеде из самого Люра — платье в пыли, шляпка съехала набок, а ее миндалевидные глаза были полны слез, скатывавшихся с кончиков ресниц.

Поравнявшись с Роз, Патрис послал ей воздушный поцелуй и отправился в тюрьму, хмельной от счастья.

Мари приходилось развозить выпечку до самого Пон-Бернара, потому что Кокийя, булочник из Пейрюи, подцепил панариций и не мог больше месить тесто, так что уже восемь дней местный люд покупал хлеб частью в Люре, частью в Мэ. Для Селеста это означало двойную нагрузку. На обратном пути из Пон-Бернара у велосипеда Мари спустила шина. Это случилось не в первый раз, и девушка умела управляться с такими неприятностями. В ее дорожной сумке имелось все необходимое для ремонта, только нужна была вода, чтобы обнаружить дырку, так что Мари пришлось почти полкилометра толкать велосипед до источника Сиубер. Она не любила этот коварный источник, прятавшийся на уровне земли под низко нависшими ветвями, отчего там было темно в любую пору, однако у нее не было выбора.

Мари закатала рукава и принялась за работу. Девушка уже стащила шину, когда заметила, что забыла снять кольцо и рискует поцарапать свой аквамарин. Она стянула его с пальца и хотела положить на камень, которым обычно пользовались прачки, приходившие к источнику полоскать белье, как вдруг увидела большую выемку в форме серпа. Мари не знала, для чего служила эта выемка, но инстинктивно предпочла положить свое кольцо подальше, на более светлую плиту у выхода из зарослей, которая хорошо просматривалась с того места, где сидела девушка.

Ремонт занял больше времени, чем она предполагала. Дырочка, через которую просачивался воздух, оказалась такой крохотной, что Мари стоило немалого труда ее обнаружить, а потом нужно было еще залатать камеру. К тому же ей еще пришлось затягивать колесо с помощью английского ключа, который постоянно соскальзывал... Работа не ладилась, и Мари ворчала, досадуя на то, что испачкала руки и отмыть их как следует сможет только дома. В довершение ко всему у нее растрепалась прическа, а девушке не хотелось поправлять волосы грязными руками...

В таком раздраженном состоянии она забралась на велосипед и покатила вперед, яростно налегая на педали, как вдруг вскрикнула от ужаса: колечко с аквамаринном осталось лежать на камне!

Резким движением девушка развернула велосипед, будто укрощала норовистую лошадь, и проскочила мимо отчаянно сигналившего грузовика, даже этого не заметив. Ее любимое кольцо — подарок родителей ко дню восемнадцатилетия! И как только ее угораздило его забыть!

Мари спрыгнула на землю и побежала к источнику. Под густым сплетением ветвей было уже совсем темно. Девушка протянула руку к камню — ничего! Мари охватила паника, в голову приходили самые абсурдные мысли: она перепутала место, суслик сбросил колечко в воду... Едва не плача от огорчения, девушка обшарила траву вокруг источника, потом запустила руку в ручей, но со дна поднялся ил, и она напрасно елозила пальцами в липкой тине. Между тем окончательно стемнело, и дальнейшие поиски сделались невозможными. Продрогшая, в вымокшей, испачканной одежде, Мари со слезами на глазах повернула обратно в Люр.

Три дня спустя после смерти Гаспара Дюпена Серафен все еще не мог оправиться от потрясения, которое испытал перед трупом своего врага. Кто скопил траву прямо у него под ногами? Кто лишил его возможности отомстить? Ибо, как Дидон Сепюлькр — который не обманывался в душе, хотя старался в это поверить, и Селеста Дормэр — который не заблуждался, он ни минуты не верил в то, что виновник — Патрис. Сколько раз он готов был швырнуть свою трамбовку на грудь щебня, вскочить на велосипед и помчаться в Динь, чтобы выложить там все, что знает! Но каждую ночь над ним нависал неумолимый кошмар, намечавший вежами его крестную дорогу. Потому что стоило Серафену уклониться от цели, как страшный призрак вторгался в его сон, стараясь нашептать тайну, которую он ни за что на свете не желал знать.

Между тем день шел на убыль, и к шести часам уже успевало стемнеть. Вернувшись домой, Серафен открыл коробку из-под сахара, вынул долговые расписки и перечеркнул вексель Гаспа-

ра Дюпена химическим карандашом. Он думал о Патрисе, вторые сутки находившемся под арестом. О Дидоне Сепюлькре, который готовил к новому сезону свой пресс для отжимания масла. О Селеста Дормэре, который один, в безмолвии ночи, загружал в печь будущий хлеб. Эти люди, причинившие ему неизмеримое, не подлежащее прощению зло, занимали все его мысли, напрочь вытеснив прочие чувства. Отныне он должен был жить только для ненависти. Но что если они не те, кто в свое время истребил его семью? Первое сомнение закралось ему в душу, когда Серафен смотрел на лежащий перед ним труп Гаспара Дюпена. Этой смерти оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить преследующий его гневный призрак, и он находил, что мать возложила на него слишком тяжкое бремя. Однако эти минуты слабости длились недолго и приходили лишь тогда, когда, глядя на чужое тихое счастье, Серафен поддавался искушению жить, как все.

Однажды, глухим октябрьским вечером он, как обычно, поднялся по лестнице, толкнул в темноте рассохшуюся кухонную дверь, зажег свет и увидел сидящую за столом Шармен. От неожиданности он не сразу понял, чем она занята, но в следующее мгновение его взгляд упал на открытую коробку из-под сахара, в которой тускло поблескивали луидоры цвета старого меда. А потом он увидел три разложенных на клеенке расписки и посередине ту, которую перечеркнул химическим карандашом. Несколькими минутами он и Шармен смотрели друг на друга, ничего не говоря и не двигаясь.

— Я вас не выдам, — наконец произнесла Шармен. — Я не любила отца и теперь знаю, что он вам сделал. — Она указала на разложенные посреди стола бумаги. — Так это он устроил резню в Ля Бюрльер?

— Их было трое, — глухо ответил Серафен. Ноги у него подкосились, и он тяжело опустился на стул, продолжая смотреть ей в лицо.

— Вот, значит, в чем ваша тайна. Вы — мститель. Карающая десница... — Она собрала лежавшие на столе расписки, сложила их, сунула обратно в коробку и захлопнула крышку. — С этой минуты, мы — единое целое и должны держаться друг за друга, как жертвы кораблекрушения. А если вас мучат угрызения совести, знайте, что Патрис будет освобожден завтра.

— Это не он... — пробормотал Серафен.

— Разумеется.

Шармен обошла вокруг стола и наклонилась к уху Серафена.

— Вы оказали нам добрую услугу, — прошептала она. — Еще немного, и отец бы нас разорил.

Он продолжал сидеть, сдвинув колени, уронив на них сжатые кулаки.

— Уходите! — сказал он хрипло. — Я не могу...

— Не можете? — Стоя у него за спиной, она обняла его, упираясь грудью в его плечи со вздувшимися мускулами; ее длин-

ные гибкие руки скользнули к талии и задержались, прежде чем спуститься ниже. — В самом деле? Но я буду приходить снова и снова! Каждый вечер! Пока вы не уступите! — Она резко поднялась и вышла, хлопнув дверью.

Серафен услышал звук запускаемого двигателя, и внезапно его пронзила мысль, что Шармен прочла бумаги, и теперь он оказался в ее власти. А Серафен не мог допустить, чтобы ее желание обратилось в ненависть. Если он хочет добиться поставленной цели и покарать двоих оставшихся в живых убийц, нужно отбросить все навязчивые видения и кошмары, как обрубают пораженные болезнью ветки.

Раз нельзя, чтобы Шармен помешала его намерениям, значит, он должен потакать ей во всем. Лишь такой ценой ему удастся обезопасить ее, сделать своей сообщницей. Нечеловеческим усилием Серафен заставил себя подняться. Он сбежал по лестнице, прошел в сарай, схватил свой велосипед и, вскочив в седло, во весь дух помчался к Понтрадьё. Решено: Шармен получит то, чего желает, а он — ее прощение и молчание.

Мари терзалась от ревности: с пяти часов пополудни она жалила ее, словно тысяча раскаленных игл, перехватывая дыхание, отнимая голос, так что девушка едва могла вымолвить “да” или “нет”.

Она как раз гладила белье в комнатке позади булочной, когда в дверь просунулась голова старой Триканот.

— Эй, Клоринда! Слыхала новость? Похоже, наша веселая вдова...

Клоринда в это время отвешивала муку с отрубями для сестер из общины Четок.

— Какая? — спросила она.

— Да ты ее знаешь! Та, о которой писали в газетах. Дочка богача Дюпена.

— А-а! — протянула Клоринда.

— Так вот, — продолжала, захлебываясь, Триканот, — смерть отца, да еще при таких трагических обстоятельствах, не мешает этой красотке всюю вертеть хвостом. Поговаривают, она спуталась с Серафеном.

Клоринда оторвалась от весов.

— Да ты что!

Вот тут у Мари и перехватило горло, будто там застряла целая подушечка, утыканная иголками. Теперь она была готова на все.

В девять часов Селеста Дормэр снял с гвоздя ружье, взял подмышку сверток с дрожжами и, как обычно, отправился в пекарню. После смерти Гаспара Дюпена он избегал возвращаться домой, пока не рассветет, и, соорудив прямо в пекарне импровизированную постель из мешков с мукой, дремал там в свободные минуты, зажав между коленями ружье.

Что касается Клоринды, в девять часов она, зевая, подсчитывала кассу, ссыпала деньги в старую пастушескую шляпу и поднималась в свою комнату, по привычке, запинаясь о каждую ступеньку. Мари у себя в спальне слышала, как возится за стеной мать, и знала, что через пару минут, наскоро умывшись холодной водой из кувшина, она уляжется в постель — и почти тотчас раздастся умиротворенный храп.

Дождавшись знакомых звуков, Мари тихонько приоткрыла дверь, на цыпочках спустилась по лестнице, прошла по коридору в пристройку, взяла велосипед и, стараясь не шуметь, выбра-лась из дома.

Девушка мчалась в Пейрюи, чтобы покончить с мучительной неизвестностью — этим бичом всех ревнивцев. Крутя педали, словно одержимая, она за четверть часа преодолела расстояние, отделявшее Пейрюи от Люра.

Вот и маленькая площадь с фонтаном, окруженная домами — богатыми и бедными вперемешку. Каждый день Мари останав-ливалась здесь, чтобы выгрузить хлеб для монастырской школы. Темные закоулки скрывали начала пустынных улиц, в сараях без дверей дремали тележки с задранными к небу оглоблями. Разнокалиберные окна светящимся пунктиром помечали фасады; сквозь зеленые жалюзи и черные от старости ставни с разболтанными петлями пробивался холодный блеск электричества или ровное мерцание керосиновых ламп, а то колеблющиеся огоньки каганцов отбрасывали тень в глубь пристройек, служивших убежищем для пары коз, и лачуг стариков.

Три платана несли стражу посреди площади, и фонарь у дома нотариуса загорался и гас в просветах между колеблющейся под ветром листвой. Желтая опаль пятнала землю, превращая в бо-гато изукрашенный персидский ковер.

Мари дрожала от одиночества и униженности, высматривая свет в окне Серафена. Там, наверху, колыхались медлительные тени, проплывая между абажуром с подвесками и слюдой запы-ленных стекол. Но вот досада: со своего места Мари видела толь-ко потолок комнаты, тогда как ревнивое воображение буйно до-рисовывало все остальное. Однако этого было недостаточно, она хотела иметь твердую уверенность. Мари огляделась, ища спо-соб проникнуть непосредственно в занимавшую ее комнату. Вдруг за приоткрытой дверью соседней пристройки она замети-ла вырисовывавшиеся в полумраке небольшие козлы. Мари уже направилась в ту сторону, когда внезапное исчезновение света заставило ее повернуть голову. Занятая поисками лучшего на-блюдательного пункта, девушка на несколько секунд выпустила из поля зрения подъезд Серафена, и за это время случилось то, что ее теперь насторожило.

Мари показалось, будто она различает под колышущимися ветвями, на границе между светом и тенью, смутный силуэт уда-

ляющегося человека. Несомненно, он только что выскользнул из открытой на темную лестницу двери дома Серафена. Мари не видела непосредственно, как это произошло, но поскольку она держала под наблюдением всю площадь, маловероятно, чтобы он появился из другого места.

Сплетение ветвей, раскачивающихся перед единственным фонарем, рассекало силуэт незнакомца на четверти, обряжая его в костюм арлекина. Дойдя до фонтана, он внезапно канул во тьму, и почти тотчас по гравию мягко зашелестели шины.

Мари вздохнула с облегчением. Если человек, которого она только что видела, вышел от Серафена, это вполне объясняет подозрительное движение теней между окном и лампой.

Но тут, в темном закоулке, где мгновение назад исчез незнакомец, девушка разглядела очертания автомобиля. Черный и блестящий, на высоких колесах, он имел щегольской вид дамского авто. Мари инстинктивно подняла глаза к окну Серафена: тени все еще двигались. Тогда, не раздумывая больше, она бросилась к открытому сараю, схватила козлы и подтащила их к стволу одного из платанов, напрочь позабыв о том, что кто-нибудь может в эту самую минуту проходить через площадь и ее увидеть.

Ревность отважна и безрассудна: если она решила — ничто ее не удержит. Впрочем, Мари сочла, что ей хватит пары минут, чтобы сориентироваться в обстановке. Но не успела она занять свой наблюдательный пункт, как из дома вылетела Шармен, бросилась к своей машине и, забравшись в нее, унеслась, точно вихрь.

После отъезда Шармен девушка еще в течение нескольких минут трясущимися руками цеплялась за козлы, затем спустилась на землю и привалилась к стволу платана, подождать, пока хоть немного уляжется охватившее ее возбуждение.

Но из подъезда выбежал Серафен, выкатил свой велосипед и, вскочив на него, помчался в том же направлении, что и Шармен, а до нее — прятанный в тени неизвестный.

Без долгих раздумий девушка тоже забралась в седло и последовала, на некотором расстоянии, за Серафеном, чтобы — как она себя убеждала — выяснить все до конца, на деле же потому, что попросту не знала, куда деваться или "где повесить свой фонарь", как любила говаривать ее мать.

Шармен резко затормозила перед воротами гаража и вышла из машины. Когда умолк шум двигателя, Понтрадьё показался ей охваченным какой-то странной тишиной. Она машинально подняла глаза. Планки жалюзи на окне у ее матери не были повернуты, и сквозь щели пробивался свет. Свет был также наверху, в круглом окошке мансарды, которую занимала гренадерша. Должно быть, обе женщины, каждая на свой лад, оплакивали покойника.

Шармен заколебалась. Подняться к себе в спальню? Она знала, что не уснет, и решила пройтись по аллее. Она тихо проскользнула мимо зарослей букса — его запах приносил ей утешение, воскрешая в памяти времена детства. Шармен сорвала несколько веточек и поднесла к лицу, вдыхая их аромат.

Дальше аллея поворачивала, и впереди проблескивала сонная гладь бассейна. Шармен направилась туда, как вдруг услышала за спиной вкрадчивый звук, словно drobный топот кавалькады, где копыта коней обернуты мягким войлоком. Она хотела обернуться, чтобы посмотреть, кто бродит здесь в такой неурочный час, но не успела. Огромная масса рухнула ей на плечи и с хрустом сокрушила шейные позвонки.

Прикинув к рулю, с искаженным, застывшим лицом, Серафен крутил педали, точно одержимый. Теперь, каковы бы ни были последствия, он сторал от желания стиснуть Шармен в объятиях. Нетерпение гнало его вперед. Он хотел обнять ее всю, одним движением своей большой руки. В это мгновение ему казалось, нет ничего важнее, чем увидеть, как ее глаза поднимутся к его лицу, и он прочтет в них призыв, страсть и нежность.

Серафен спрыгнул с велосипеда, как обычно, у портала без решетки, перед большим тополем. Он наскоро спрятал машину в канаве и нырнул в соседнюю аллею. Кругом царило безмолвие. Луна была на исходе и едва освещала землю у подножия деревьев. Легкий бриз щекотал его ноздри влажным запахом букса. Сквозь поредевшую листву он видел очертания Понтрадье. На фасаде светились два окна. Было ли одно из них окном Шармен? Что она делает в этот час? Серафен представил, как войдет в ее комнату, обнимет сзади за плечи и скажет, почему не смог ответить на ее любовь...

Занятый своими мыслями, он не заметил, как очутился на пересечении двух обсаженных буксом аллей. Там, в игре светотени, созданной луной, усеявшей землю темными и светлыми пятнами, маячило что-то вроде холмика. Это что-то подрагивало и муарово переливалось, переходя из тьмы на свет, а над ним мерцали, вспыхивая, четыре тусклых огонька. В следующее мгновение Серафен услышал глухое ворчание и хруст костей, перемалываемых мощными челюстями. Звук ворвался в сознание Серафена с разрушительной силой циклона, но задуматься о его природе он не успел, потому что от бесформенной копошащейся массы вдруг отделился темный кусок и понесся на него, одним скачком покрывая несколько метров. Это была огромная собака.

Не раздумывая, Серафен рванулся навстречу. Прямо перед собой он увидел оскаленную пасть. Доберман подобрался для прыжка, но Серафен опередил его, и два тела — человека и зверя — с глухим шумом сшиблись в воздухе. Собака метила в горло, однако промахнулась, и ее зубы лязгнули у его груди. Оглу-

шенное ударом, животное перекувыркнулось и рухнуло на землю. Воспользовавшись этим, Серафен навалился сверху, придавив собаку своим весом. Послышался треск ломающихся ребер. Но почти тотчас второй доберман, разинув клыкастую пасть, бросился на человека, норовя перегрызть ему глотку. Лево́й рукой Серафен прикрыл горло, а правую выбросил вперед. Его кулак угодил между клыков, не давая им сомкнуться на запястье, стесняя собаке дыхание. Тогда свободной рукой Серафен схватил добермана за морду и рванул кверху. Собака пыталась его повалить, упершись передними лапами ему в бедра, вспарывая когтями кожу, выдирая клочья мяса. На какое-то мгновение она ослабила хватку, чтобы набрать в легкие воздуха, Серафен почувствовал у себя на лице ее горячее дыхание и сквозь запах мяса и крови различил слабый аромат бергамота, перевернувший ему душу. Теперь обе его руки оказались в пасти собаки, ее клыки пронзали его плоть, втыкались в нее, словно гвозди. Серафен уперся ногами в землю, все мускулы его тела напряглись и вздулись. Вцепившись одной рукой в верхнюю, а другой — в нижнюю челюсть пса, собрав всю силу своей ненависти, он начал медленно разжимать ему пасть. Ему удалось зажать тело собаки между ногами, и он тянул, тянул — пока не послышался хруст, и собака, издав отчаянный хрип, прекратила борьбу, повиснув на руках Серафена. Ее клыки по-прежнему оставались вонзенными в его плоть, и ему пришлось выдирать их, точно рыболовные крючки. Отброшенное в сторону, животное завертелось на месте с разинутой пастью, которую не могло закрыть. Серафен схватил пса за задние лапы, несколько раз ударил о землю и остановился, только когда почувствовал, что ему тоже не хватает воздуха. Он рухнул на колени и почти на четвереньках прополз расстояние, отделявшее его от темного холмика.

— Шармен! — простонал Серафен.

Ему удалось кое-как стащить с себя изорванную в клочья рубашку и прикрыть ею то, что осталось от военной вдовы, но все равно, сквозь тяжелый запах растерзанного мяса и внутренностей, к сердцу Серафена, словно воспоминание, еще пробивался аромат великолепного тела, которым она была.

Он сложил свои искромсанные клыками, залитые кровью руки.

— Отче наш, иже еси на небесех... — сорвалось с его губ.

Он не произносил этих слов даже в годы войны — с тех самых пор, как сестры из сиротского приюта заставляли его твердить их на ночь — и теперь вместе с рыданиями выталкивал из горла, подобно сгусткам крови.

Внезапно его слух коснулся знакомый звук — щелкнул затвор. Серафен поднял голову и сквозь туман, застилавший ему глаза, увидел прицелившуюся в него гренадершу. "Вот и конец!" — подумал он, но в то же мгновение что-то метнулось через кусты букса и сшибло гренадершу с ног, выбив у нее ружье,

которое дважды выстрелило в воздух. Это была Мари. Она схватила ружье и ударила его о каменный бордюр, а обломки зашвырнула подальше в аллею. После этого девушка подбежала к Серафену и тоже опустилась на колени, по другую сторону от тела Шармен.

— Матерь Божья! — воскликнула она. — Твои руки...

Мари сорвала с шеи косынку и потянулась к Серафену.

— Нет! — сказал он.

А потом прибежали люди; они все подходили и подходили. И все избегали смотреть на тело Шармен и на Серафена. Его невозможно было заставить подняться, а тем более — разжать руки, чтобы обработать раны. Этого не смогли ни жандармы, ни арендатор со своим семейством, ни доктор, который бегал вокруг и кричал: "Но вы же заболаете бешенством! У вас будет столбняк! Вы умрете от гангрены!" На все уговоры Серафен отвечал: "Ну и пусть!" — и продолжал стискивать руки. Доктор извел на него три флакона арники, которую с грехом пополам вылил на раны.

И когда труп Шармен унесли, Серафен все еще стоял на коленях, со стиснутыми кулаками, перед тем местом, где она лежала...

Судья, который, согласился временно освободить Патриса из-под ареста, утром лично явился в Понтрадьё. Он ознакомился с протоколами допросов, которые провели накануне жандармы. Прочел заключение врача. Наведаясь в прачечную, где лежали собранные на плетенку останки Шармен, и даже приподнял покрывавшую их простыню. Это зрелище заставило его попятиться и перекреститься.

Первым, кого он увидел, когда его проводили в гостиную, был Серафен Монж, с грудью, едва прикрытой ключьями окровавленной рубашки, которую ему вернули. Огромные кулаки дорожного рабочего, все в дырах от собачьих клыков и рваных ранах, тоже были покрыты запекшейся кровью, кое-где еще сочилась сукровица. Взглянув на него, судья почувствовал неясную тревогу. Потом жандармы посвятили его в историю Серафена, в трехнедельном возрасте чудом уцелевшего во время зверского истребления всей его семьи; они рассказали, как он, по камешку, разобрал свой родной дом, чтобы избавиться от преследовавшего его кошмара, а теперь снова оказался в центре двух, не менее загадочных, преступлений.

Судье показали место, где произошла трагедия, а также останки двух собак, вид которых заставил его задуматься. Одна была расплющена, словно по ней прошелся паровой каток, вторая — просто разодрана в клочья. А ведь каждая из этих тварей весила никак не меньше пятидесяти кило! Как мог человек, один и без оружия, сотворить с ними такое? Ему, правда, тоже здорово досталось, но все-таки... Угрюмый, избегающий любопытных взглядов... Герой, жертва ... или, может быть, преступник? У судьбы было сильное искушение заподозрить Серафена.

Что, если он сам подстроил происшествие, во время которого якобы рисковал жизнью? Что там заявила эта девчонка с растрепавшимися косами, которая на допросе прямо-таки пожирала Монжа глазами? Жандармы должны были занести ее показания в протокол.

“Когда моя мать уснула, я выбралась из дома и отправилась в Пейрюи. — С какой целью? — Чтобы проследить за Серафеном. — Зачем? — Потому что до меня дошло, будто он встречается с веселой вдовой. — И вы видели его в обществе жертвы? — Да. — В этот момент она была еще жива? — О да! Даже очень! — В котором часу это было? — Моя мать легла около девяти часов, ну и учитывая время, которое понадобилось мне, чтобы добраться до Пейрюи... — А почему потом вы последовали за Монжем до самого Понтрадье? — Потому что я его люблю...”

Значит, Серафен находился на глазах у Мари примерно с девяти вечера, когда жертва, по словам девушки, была еще жива, до того момента, когда Шармен решила вернуться домой. “Почему вы расстались?” На этот вопрос подозреваемый не пожелал отвечать; впрочем, он не ответил и на другие — вместо него говорила белокурая девушка. Мадемуазель Дормэр утверждала, что после отъезда Шармен он тоже помчался в Понтрадье, а она, в свою очередь, последовала за ним. Таким образом, Серафен не мог добраться до места преступления раньше жертвы, чтобы открыть загородку, где содержались собаки, равно как и ревнивая Мари.

Семейство арендатора и экономка слышали, как подъехала машина Шармен, но не слышали ни криков, ни собачьего лая.

В конце концов судье пришлось сдаться. По всему выходило, что убийца Гаспара Дюпена и его дочери одно и то же лицо; Шармен устранили, потому что она мешала, а, может быть, была посвящена в тайну смерти отца, и могла заговорить. Однако тут дело запутывалось еще больше, поскольку — какая досада! — единственный человек, выигрывающий в результате обоих преступлений, находился в тюрьме. По крайней мере, в эту ночь, ибо сейчас должен быть на полпути к Понтрадье в своей красной спортивной машине. Черт возьми! Хорошенькое же его ожидало зрелище! Что до остальных присутствующих, если намылить край бассейна мог любой из них, то вряд ли кому-то удалось бы выпустить на волю собак, не разделив при этом участи Шармен. И тем не менее кто-то это сделал. Кто-то, ощущавший себя настолько в безопасности, что рискнул закрепить в открытом положении дверь паддока! Судья почувствовал, что от всего этого у него голова идет кругом. Он даже подумал, не обратиться ли к марсельским коллегам, чтобы они проверили алиби отца любовницы Дюпена, профессионального заводчика собак, единственного, кто знал этих тварей настолько хорошо, чтобы выпустить из загородки, не боясь быть растерзанным. Но какой у него мог быть мотив? В свое время им уже поинтересовались при рассле-

довании убийства Гаспара Дюпена, и тогда его алиби оказалось стопроцентным. Да и с какой стати этому человеку убивать Шармен?

“Нужно найти мотив, — твердил себе судья, — а без этого...”

Между тем позвонили от бригадного комиссара: родители Мари подняли на ноги всю округу, и жители Люра прочесывают окрестные заросли в поисках девушки, а булочница в истерике, требует вернуть ей дочь, и деревне грозит остаться без хлеба. Уже начали обшаривать дно водоемов, даже перекрыли воду в канале...

“Нет, — сказал себе судья, — нужно положить этому конец!”

И тут, впервые за все время, заговорил Серафен.

— Я не буду подавать жалобу, — сказал он.

— То есть как? Ведь она собиралась вас убить и сама в этом созналась! А вы отказываетесь подавать жалобу...

— У меня нет такого права.

— Что за чушь? — изумился судья. — Правосудие вам это разрешает, и я не понимаю, почему вы колеблетесь.

В этот момент дверь распахнулась, и вбежали родные Мари. Мать закричала: “Мари!”, схватила дочь в охапку и принялась покрывать слезами и поцелуями, причитая: “Бедная ты наша девочка!” И они потащили ее прочь. У отца на плече болталось ружье, он кричал: “Едем! Едем быстро!” На пару с матерью они втолкнули Мари в автомобиль, который наняли в Пейрюи. Та отбивалась от них и кричала. Она хотела остаться с Серафеном. Потребовалось немало упорства, чтобы затащить ее в машину... Мари кричала, что непременно должна рассказать что-то важное. Она вспомнила, что когда ехала ночью следом за Серафеном, то разминувшись на дороге с велосипедом без фонаря и черными, бесшумно катящимися колесами. И после этого, в бреду, она все время повторяла: “Черные... бесшумные колеса!” Однако родители не позволили ей докончить, заметив, что у девушки начинается лихорадка. А через какое-то время Мари слегла, чтобы больше не подняться, и все последующие события происходили уже без нее.

На следующий день Серафен снова дробил булыжники, распухшими руками сжимая свою кувалду, в тщетной надежде задыться.

Народная молва быстро превратила убитых им собак в бешеных, так что теперь дети и проезжавшие мимо велосипедисты старались держаться подальше. В то же время все жадно ожидали проявления у дорожного рабочего первых признаков болезни, а местные силачи готовились, в случае необходимости, скрутить его и быстренько удушить между двумя матрацами.

Серафен не заболел бешенством, однако постепенно его охватывал все больший ужас. Кто-то угадал его намерения. Этот кто-то подкарауливал его, следил за каждым его шагом, убивал вме-

сто него. "Но нет! — твердил себе Серафен. — Ни за что на свете я не убил бы Шармен! Пусть бы даже она на меня донесла! Я бы не смог причинить ей вред."

Долгие часы проводил он без движения, рухнув на скамью и уставясь невидящим взглядом в стол, стоящий косо с того самого вечера, когда Шармен его оттолкнула. Он не мог отвести глаз от этого пустого стула, на который — он знал — никогда больше не осмелится сесть. Шармен все еще была в этой комнате, хранившей слабый запах бергамота.

Однажды вечером Серафен открыл железную коробку. Он вытряхнул оттуда бумаги, приподнял конфорку плиты и медленно поднес их к пламени, однако сжечь не решился — в последнюю минуту это показалось ему святотатством. Сложив, он убрал их назад в коробку.

— Больше никогда! — сказал он себе. Серафен дал слово впредь не желать никому смерти.

На какое-то время это решение как будто вернуло мир его душе. Он не жил больше, замкнувшись на своих внутренних ощущениях. Ему удалось уснуть и две ночи он проспал спокойно. Во сне его огромные кулаки, где новая плоть постепенно затягивала раны, разжались и ладони легли поверх стеганого одеяла. Серафен позволил себе расслабиться.

Кошмар обрушился на него внезапно, точно удар вилами в спину. На этот раз не было спасительного посвистывания мертвых листьев, которое обычно предупреждало его о надвигающейся опасности, помогая вырваться из оков сна, и жадная плоть была окутана не запахом холодной сажи, но едва уловимым ароматом бергамота. Жаждущее тело обвилось вокруг него, и в ухо просочились слова. Призрак продолжал сжимать его в тисках, пока Серафен не сдался. Он наслаждался, одновременно содрогаясь от ужаса. Очнувшись, он обнаружил, что сидит на постели, и волосы у него встали дыбом. Что она сказала? Что она хотела ему сказать? Каким голосом — голосом, которого он не слышал ни разу в жизни — отдавала она свои приказания? Она говорила долго, однако в его памяти запечатлелись лишь последние слова — те, что должны были в ней остаться. "Я послала тебя не для того, чтобы ты испытывал сострадание".

И с этой минуты совершилась странная вещь: по мере того как заживали его раны, не оставляя после себя рубцов, так и дух Серафена освобождался от сожалений о Шармен, Патрисе, Мари, он чувствовал себя нацеленным к новым жертвам, которых требовала мать и которые он должен был ей принести.

Со следующего вечера он принялся бродить по холмам вокруг мельницы Сен-Сепюлькр, где свил гнездо второй убийца.

Мельница Сен-Сепюлькр устроена под продолговатой скалой, с которой воды Лозона стекают в узкий проход, расширяющийся потом, словно чаша, открывая вид на округлые верши-

ны гор, обступивших Люр; на первый взгляд, до них совсем близко, так что кажется, достаточно протянуть руку — и вы сможете их коснуться. У этой мельницы нет привычного колеса с лопастями — водам Лозона не хватило бы силы его вращать — его роль исполняет хитроумная система шлюзов, расположенных друг над другом резервуаров, люков, клапанов, пестов, деревянных зацеплений с шиповыми замками и пазами, всевозможных кронштейнов, зубчатых реек и противовесов. Когда все это приходит в движение, над мельницей стоит шум, напоминающий щелканье костей гигантского скелета; я сравнил бы ее с часами, вместо времени перемалывающими оливки.

За годы существования мельницы последовательно сменявшие друг друга поколения Сепюлькров вносили в ее устройство все новые усовершенствования, призванные компенсировать случающийся иногда недостаток воды, и в итоге система настолько усложнилась, что каждый год, прежде чем запустить пресс, приходилось осматривать и отлаживать весь механизм, начиная с бьефов — желобов, служащих для подачи воды.

В тот день Дидон Сепюлькр вышел из дома на рассвете, вооружившись лопатой и ведерком со смазкой. Стоял такой туман, что нельзя было разглядеть кончик собственной сигареты. Лозон, обезводевший за лето, местами обнажил покрытые мхом голыши, устилавшие его ложе, и только слабый шум напоминал человеку о его существовании.

Прежде чем подняться к водоподводящему желобу, Дидон Сепюлькр повертел головой и тщательно принюхался, на душе у него было беспокойно. На прошлой неделе, таким же туманным утром, ему померещилось, будто он различает на мостках силуэт человека, склонившегося над водопадом. Что он делал там, если туман был такой густой, что забивал ноздри и не позволял увидеть дальше вытянутой руки?

Трудно не быть подозрительным, когда сама обстановка благоприятствует замышляющим зло, думал Дидон Сепюлькр. Подобно тому, как Селеста Дормэр, отправляясь месить тесто, брал с собой ружье, он тоже избегал выходить безоружным. Конечно, не ахти какая защита — что проку от ружья при таком тумане? Да и как им воспользоваться, когда у тебя заняты руки, а сам ты скрючился над желобом так, что из-за края видны только голова и плечи? У нападающего куда больше возможностей: скажем, незаметно подкрасться сзади, бесшумно ступая в тумане по мягкому илу. А если ты положишь ружье поближе, всегда есть риск неосторожно задеть его лопатой — и глядишь, оно выстрелит само, угодив тебе прямо в живот. И все-таки Дидон предпочел захватить из дому оружие, это как-то успокаивало...

С такой экипировкой — лопата, ведерко смазки и ружье за спиной — он выглядел довольно смешно, если бы кто-нибудь мог его увидеть. Зато Тереза хохотала от души. Впрочем, знай она то, что знал он, ей было бы не до смеха. Пожалуй, тогда она сама

зарядила бы ружье и проводила мужа до мельницы, не снимая пальца с курка. Но что он мог ей сказать? “Серафен Монж разрушил свой дом. Потом умер Гаспар Дюпен. И с тех пор меня преследует страх...” А как объяснить, чего и, главное, почему он боится?

Дидон вздохнул и принялся взбираться по ступеням к водоподводящему желобу. Через две недели день св. Екатерины, а мельница не готова. Жатва, вспашка, уборка винограда. И так — каждый год. Всякий раз он говорил себе: “Ну, уж в этом году меня врасплох не застанут. Я вычищу механизм заранее и приведу его в порядок, вот только...” Но у него всегда не хватало времени за другими делами — одним прессом ведь жив не будешь. Так и получалось, что мельница — последнее колесо в тележке. И вот через две недели — день св. Екатерины...

С такими мыслями Дидон Сепюлькр шагал к откосу водоподводящего желоба — лопата на плече, ружье за спиной, в руках ведерко смазки. Он ориентировался по рокоту Лозона, поскольку все вокруг окутывал туман до того густой, что ветви осин поникли под ним, словно отяжелевшие от дождя. Вообще погода — хуже не придумаешь. Даже листва на дубах начала жухнуть на три недели раньше срока, и скоро их позолота потускнеет перед зимним облысением.

Дидону было не по нутру это зыбкое месиво. Туман сыграл с ним злую шутку, и он едва не налетел на кронштейн, полагая, что до него еще, по меньшей мере, три метра.

Наконец он спустился в желоб, повесил ружье на кронштейн и, поплевав на руки, энергично взялся за работу. Дело спорилось. Набрав на лопату плотную илистую массу, он со звучным шлепком выбрасывал ее за край желоба на слежавшиеся запасы минувших лет, постепенно обнажая основание шлюза. Этот шлюзовый затвор относился, наверное, ко временам первых Сепюлькров, но прекрасно сохранился, несмотря на почтенный возраст, хотя утратил изначальный цвет, подобно фамильной мебели за стенами старого дома.

За дубовой дверью мельницы с ревом неслись по голышам Лозон. Что за капризный поток! Дидон любовно оглаживал руками, полными смазки, направляющие затвора, чтобы обеспечить лучшее скольжение щита. Одновременно он прислушивался к рокоту Лозона, который словно перекачивал бутылки. В этот год вода будет высокой. Тут Дидон редко ошибался: когда, очищая шлюзовый затвор, он прикладывал ухо к щиту, шум, который он слышал, предупреждал его о том, как поведет себя своеобразный поток с сегодняшнего дня и до праздника св. Екатерины.

Внезапно вдоль позвоночника у него пробежала холодная дрожь, словно чей-то взгляд уперся ему в спину. Дидон схватил ружье и резко обернулся, пытаясь проникнуть сквозь окутавший его кокон тумана. Он был один. Но один ли? Если кто-нибудь

прячется здесь, на границе тумана, укрытый им, будто занавесом, Дидону его не разглядеть. Что делать? Выстрелить наугад, крикнув: "Берегись!", чтобы нагнать страху? А если вместо того, чего он опасался в течение последних двадцати пяти лет, и что теперь — после смерти Гаспара Дюпена он был в этом уверен — нависло над его головой, он столкнется с обыкновенным рыболовом-браконьером? Наконец, возможно, это кто-нибудь из соседей, кому не спится на рассвете, бродит под тополями. Нет. Стрелять — не выход.

Но Дидону было не по себе все последующие часы, до самого вечера, он старался быть начеку, то и дело косясь по сторонам, прерывая работу, чтобы обернуться и застать врасплох — что?

Переходя от желоба к желобу, от одного водосборного колодца к другому, он чувствовал, как давит ему на спину чей-то взгляд — и самое страшное заключалось в том, что он знал, чей именно. В какое-то мгновение Дидону даже показалось, будто он слышит приглушенный, быстро подавленный кашель, который он тоже узнал. Сжимая в руке ружье, он крикнул:

— Кто здесь?

В ответ послышался только шелест мокрых листьев на берегах да похожий на позвякивание сталкивающихся бутылок рокот Лозона. Дидон вернулся на место, чувствуя, как с каждой секундой его охватывает все больший ужас. В его расстроенном сознании крепло ощущение чужого присутствия, которое преследовало его весь день. Напрасно он старался сжать его в комок, оттеснить в самый дальний закоулок памяти — застывшее, подобно статуе на городской площади, оно таило в себе еще большую угрозу.

Однако со временем, силой логических рассуждений, Дидон Сепюлькр сумел побороть навалившуюся было на него панику и теперь почти успокоился. Очистка подводных вод желобов и шлюзовых затворов была закончена. Все приведено в надлежащий порядок: тростники во рвах выкошены, плотина укреплена, канавки прочищены, механизм смазан снаружи. Однако, желая убедиться, не забыл ли он все-таки чего-нибудь, Дидон решил еще повернуть механизм обратной стороной.

Ворча, он в течение нескольких секунд напрасно искал служивший для этой цели длинный шест с железной колодкой. В конце концов шест нашелся, но не на обычном месте, а за большой плитой, параллельной трубе, должно быть, забытый кем-то из поденщиков с прошлого сезона.

Вооружившись этим инструментом, Дидон перешагнул через край резервуара и подложил колодку шеста под один из жерновов. Навалившись всем телом на рычаг, он смог поколебать два круглых камня весом каждый в тонну, одновременно внимательно прислушиваясь к ходу шестерен — вплоть до самых малюсеньких. Механизм работал четко и слаженно — ни скрежета, ни визга — можно было спокойно начинать сезон. Дидон

спрыгнул на землю и отнес шест на привычное место, где в следующий раз его будет легко найти.

Теперь оставалось еще влить литр масла в каменный вкладыш подшипника, где вращалась ось поворота жернова. Во время работы вся нагрузка приходилась на эту нижнюю опору, гасившую толчки. В качестве смазки здесь можно было использовать только оливковое масло — в противном случае, при каждом повороте, раздавался оглушительный визг, напоминающий вопли голодного младенца.

С полной бутылкой Дидон вернулся к чану для растирания и мгновение колебался, прежде чем снова перешагнуть через его край. Бросив взгляд на ушедший до половины в землю рычаг, который приводил в действие два гироскопа сцепления шестерен, он подумал о том, что теперь, когда все приведено в порядок, надо бы обездвижить механизм — на тот случай, если вдруг не выдержит мартельера. Дидон поступал так уже на протяжении тридцати лет и не собирался изменять своим привычкам. Впрочем, мартельера никогда не подводила, сдерживая поток, надежная и крепкая, будто прабабушкин шкаф. Правда, и Лозон редко вздувался так сильно, как в эту ночь. Но если задумываться обо всем...

Дидон спустился к жерновам и присел на корточки перед осью. Он достал из кармана полую тростинку, которую приставил к желобку в камне, наклонил бутылку и принял медленно капать масло в паз. Это была утомительная и небезопасная работа в тени нависших жерновов, которые заставляли Дидона изворачиваться так и эдак, и неустойчивость его положения еще усугублялась наклоном резервуара. Весь сосредоточившись на своем занятии, от напряжения Дидон даже высунул кончик языка.

И тогда от стены отделился тот, кто следил за ним через слуховое оконце под потоками воды, которую извергали мельничные желоба. Он быстро поднялся по выбитым в земле ступеням и в полной темноте прошел вдоль бьефа так же уверенно, как сделал бы это среди бела дня. Навстречу ему с рокотом бежал Лозон, гулко стуча о брюхо мартельеры, словно ударяя в гигантский барабан. Расставив ноги, человек крепко уперся ими в стенки бьефа и, схватившись за рукоятки мартельеры, стремительным рывком поднял ее на воздух. Удерживая ее одной рукой, другой он отыскал на ощупь штифт, который вонзил в узкий проход, — и жирная вода потока устремилась в прочищенные канавки, словно стальная змея.

Дидон услышал шум. Этот звук просачивался сквозь все другие — гул потока, дробный перестук дождя, шорох листьев, осыпавшихся под порывами ветра, — влетая свою ноту в общую симфонию. Упругая, стиснутая со всех сторон вода ворвалась в пазы, затопляя водосборные колодцы, ударяясь в лопасти зубчатых реек, заставляя щелкать кастаньеты противовесов; бесконечно малыми вибрациями она толкала большое колесо, которое

медленно — плеча за плечей — поворачивалось, передавая мощь Лозона оси из лиственницы — квадратного сечения и широкой, словно торс человека, к которой были прикреплены жернова, каждый — весом в тонну. Сидя между ними на корточках, Дидон произвел два лишних действия: прочистил тростинку, которой собирался пользоваться в будущем сезоне, и заткнул пробкой бутылку с маслом. Но так он поступал из года в года, вот уже больше двадцати пяти лет. Почему на сей раз он должен был изменить своим привычкам и сначала выбраться из чана?

Однако потраченные на это секунды оказались роковыми. В следующее мгновение Дидон увидел, как по другую сторону резервуара дрогнул в своем пазу рычаг сцепления, один из жерновов отрезал ему путь к отступлению, а второй, децентрированный, толкнул в спину. От удара он потерял равновесие, и тело его брызнуло во все стороны под массой жернова с чавкающим звуком раздавленного насекомого.

Дробно стучал дождь, превращая Лозон из жалкого ручейка в могучий водопад, шум которого был слышен за километр, а теперь к этим звукам присоединился еще грохот работающего пресса. Мельница и жилой дом, разделенные каретными сараями, конюшнями и ригами, были связаны общим фундаментом, и рокотание вращающихся жерновов передавалось от одного здания к другому.

Этот шум пробудил Роз Сепюлькр, на мгновение вырвав из объятий сна, согретого мечтами о любви. Знакомый с детства звук, такой же привычный, как лошадь, мирно жующая овес в конюшне, не сулил ничего плохого, и Роз повернулась на другой бок, чтобы вновь погрузиться в сон. Но тут рядом заворочалась сестра, бормоча что-то себе под нос, и это заставило Роз окончательно проснуться.

— Как это? — спросила она удивленно. — Сейчас ведь еще не канун дня св. Екатерины?

— Что там такое? — буркнула Марсель.

Роз схватила сестру за руку.

— Ты слышишь?

— А что я должна слышать?

— Жернова!

— Ну и что?

— Какое сегодня число?

— Понятия не имею. И вообще, оставь меня в покое!

Но Роз трянула ее за плечи.

— Разве ты не слышишь?

— Ну, слышу, — пробормотала Марсель. — Это жернова — должно быть, па проверяет, как работает пресс...

— Чушь! — отрезала Роз. — Его никогда не запускают вхолостую: от этого механизм портится.

— Да ладно тебе... — вяло отмахнулась Марсель и опять уткнулась носом в подушку.

Но Роз соскочила на коврик у постели, рывком стащила с сестры одеяло и принялась ее тормошить.

— Эй, проснись! Говорю тебе: творится что-то неладное!

Она быстро всунула ноги в туфли, набросила на плечи халатик, а другой швырнула Марсель.

— Ой! Ты что, спятила? Ну, что там может твориться?

Однако Роз силой поволокла ее к двери, вытолкнула в коридор, а оттуда — на лестницу. Дождь на мгновение задержал их на пороге дома. Напротив, сквозь щели в ставнях и грязные оконные стекла, просачивался слабый свет над маслянистым паром, поднимавшимся из рвов. Под холодным дождем Марсель окончательно проснулась. Сестры бегом пересекли двор и совместными усилиями распахнули тяжелую дверь мельницы.

Они не сразу поняли, что за багровая каша чавкает под вращающимися жерновами, обрызгивая их красным в скупом свете электрических лампочек. Из оцепенения девушек вывел глухой стук. Правая рука Дидона оказалась на краю чана, вне пределов досягаемости жерновов. Перемолов мышцы и кости, они, в конце концов, полностью отделили ее от тела на высоте локтя, и она упала под собственным весом, шлепнувшись о плиты пола. Сестры разом издали вопль, покрывший все шумы — включая канонаду дождя и рев водопада, и он ворвался в тяжелый сон Терезы, которая вылетела в коридор, на бегу натягивая халат. Вопль повторился. Он несся со стороны мельницы. Бросившись туда, Тереза увидела распахнутую дверь и Марсель, которая вцепилась в рычаг сцепления и что было сил тянула его на себя.

— Ма! Не входи! Не надо тебе заходить!

Дочери отгаскивали ее от двери, выталкивая под дождь, мокрые растрепанные волосы делали их похожими на утопленниц. Тереза отбивалась, вслепую нанося удары, отдирая руки девушек, вцепившихся в ее одежду, и, наконец, прорвалась внутрь.

Жернова остановились. Рука Дидона с растопыренными пальцами скрючилась на полу в последнем отчаянном жесте утопающего. Издав пронзительный звериный вопль, Тереза выскочила с мельницы. Скользя и спотыкаясь, она взбежала по земляным ступеням на мост и принялась звать на помощь. Обезумев, она кричала, повертываясь во все стороны, с отчаянной силой вонзая ногти в ладони. Дочери подхватили ее вопль и, цепляясь за материн подол, словно были четырехлетними девочками, бежали следом по раскисшей от дождя дороге. Вокруг царил мрак, нигде ни огонька — кроме тусклого, маслянистого света на мельнице, куда никак нельзя оборачиваться.

Три женщины, покинутые Богом, мчались по Люрской равнине между Сигонс и Планье; три одиноких женщины, повернутые в ужас, вопили, будто почувшие смерть животные. Ветер швырял им в лицо охапки палых листьев, Лозон ревел, извиваясь в теснине своего песчаного русла, и падал с неба дождь.

Три женщины, оскользаясь и падая, вскарабкались по крутому склону к деревушке. Не переставая вопить, они принялись стучать большим бронзовым молотком в дверь семинарии, но из-за толстых, метровых стен не доносилось ни звука.

Тогда, спотыкаясь в своих мокрых шлепанцах, они потащились вверх по извилистой деревенской улочке, на свет единственного фонаря, бросавшего на мокрую мостовую жирную желтую полосу.

Селеста Дормэр как раз обмакнул в желток кисточку и смазывал ею свежее испеченные хлебы, когда сквозь шум дождя услышал этот вопль, крик, бормотанье, агонию истощившей себя скорби, которая затихала, как отступающий гром. Охваченный суеверным страхом, булочник разом припомнил все местные предания и легенды, вообразив чудовищного монстра невиданных форм и размеров, кого не могла вместить эта тихая деревенская улочка. Он бросился к ружью, заметался между печью и сваленными грудой мешками, наконец застыл, поворотившись лицом к водяной завесе перед распахнутой дверью.

Но то, что он увидел, было во стократ ужаснее безымянного чудища.

Да женщины ли это? Эти три распухших лица, с разинутыми в крике ртами, которые извергали дождь и ужас, с вытаращенными глазами, казалось, не вмещавшими зрачок... Их размытые ливнем тела как будто слились воедино, спаянные общим несчастьем.

Прошло не менее трех минут, прежде чем он узнал их, и все это время рты их не закрывались, хотя не издали больше ни звука. Все, что они смогли, это начертить в воздухе дрожащими руками движение вращающегося колеса.

Серафен шел за гробом Дидона Сепюлькра, в котором покоилось то, что удалось собрать с помощью куска холстины, лопаты и ведра.

Он начинал сомневаться в здравости своего рассудка. Вот уже в третий раз кто-то проделывал вместо него его работу, причем настолько ужасным способом, что он задавался вопросом, а хватило ли бы на такое его самого? Кто? Все эти вечера, бродя вокруг мельницы и обдумывая, как достичь своей цели, Серафен ощущал чье-то незримое присутствие. Кто-то был здесь рядом, в тумане или ночной темноте, неуловимый, быстрый и осторожный, точно взбегающая по ветке белка. Но почему? У кого еще, кроме него, Серафена, могли быть такие счеты с мельником, чтобы столкнуть его под жернова? И кто одновременно мог быть также заинтересован в смерти Гаспара Дюпена и Шармен?

Серафен смотрел, как медленно продвигается вперед катафалк, возвышающийся над процессией, потому что дорога от мельницы до церкви и люрского кладбища шла в гору и была настолько крута, что для подмоги в оглобли пришлось запрячь еще

одну лошадь. За гробом шагал Патрис, обнимая одетую в глубокий траур Роз, которую прикрывал своим зонтом. С приходом ноября над Люром зарядили дожди.

Жандармы плотной шеренгой стискивали толпу, среди которой, возможно, затаился убийца, в эту самую минуту, где-нибудь в хвосте кортежа, рассказывающий своим приятелям о совершенном злодеянии. Как знать? Мартельеру ведь обнаружили в поднятом состоянии, закрепленной с помощью вставленного в гнездо штыря. Но дождь уничтожил все следы. Между тем в эти долгие безлунные ночи любой из жителей деревушки мог незаметно выскользнуть из дома, пробраться под покровом темноты по хорошо знакомой дороге и поднять шлюзовый затвор, пока Дидон проверял сцепления. Так же, как любой мог намазать мылом край бассейна в поместье Гаспара Дюпена. Но отнюдь не любой — отпереть дверцу пададока, чтобы выпустить на волю свирепых собак, рискуя сам быть растерзанным в клочья.

Серафен пробирался сквозь укрывающуюся под зонтиками толпу, и дождь поливал его непокрытую голову. Люди расступались, давая ему дорогу, вокруг неизменно образовывалась пустота. Все старались отодвинуться подальше, никто не хотел оказаться в его тени.

Несколько раз он боролся с искушением раздвинуть толпу и крикнуть жандармам: "Арестуйте меня! Я не убийца, но желал смерти этим троим. Отведите меня к судье. Он умнее, чем вы или я, и, возможно, поймет".

Однако Серафен молча дошагал до церкви и кладбища, где помог добровольцам опустить в могилу легкий гроб.

Унылый дождь хлестал Люрскую долину, и Дюранс ревела, словно скорбя о бренности человеческой жизни.

Мари слегла. В бреду она размахивала руками, словно отбивалась от чего-то, и без конца твердила: "Я должна им сказать... должна сказать..."

— Доктор говорит, надо ждать, чтобы болезнь проявилась. Он не знает, что это такое.

— Она ест?

— Где там — в рот ничего не берет! И все время бредит.

— Вот как? Что же она говорит?

— Ох, да всякие глупости!

— Какие?

— Ну, вроде она что-то позабыла... Видела что-то или кого-то и теперь должна об этом рассказать...

Клоринда повалилась на прилавок, утирая слезы растрепанными волосами. "Зеница ее очей"...

— Надо напоить ее отваром зверобоя с козьим молоком, чтобы отогнать болезнь.

— Чего уж я только ей не давала! Иссоп и белену, семечки сарсапарели, пальчатку, таволгу, заячью капусту... — Клорин-

да зарыдала пуще прежнего. — Бедняжка ничего не ест и не пьет! Даже воду приходится вливать ей кофейной ложечкой сквозь зубы. Конечно, мать и сестра помогают мне по дому, да только я вся извелась. А ты хочешь, чтобы я думала о том, как правильно отсчитать сдачу!

По дороге к кладбищу кортеж с останками Дидона Сепюлькра должен был пройти мимо окон Мари. Катафалк подпрыгивал на ухабах, разлаженно дребезжали колеса, тревожно ржали лошади, шаркали шаги и люди перешептывались, склоняясь друг к другу понурыми головами. Правда, кюре и мальчика из хора попросили прервать литанию, пока процессия не минует дом больной, но Мари вдруг перестала стонать, широко раскрыла воспаленные от лихорадки глаза и села на постели.

— Кого это хоронят?

— Никого. Так, одного старика. Лежи спокойно, не то лихорадка усилится.

— Но я должна пойти и сказать им...

Она отбросила одеяло, спустила ноги на пол, хотела встать, но пошатнулась и упала обратно на подушки.

— Бедная моя девочка, куда тебе идти — ты ведь на ногах не стоишь! Вот когда поправишься, тогда все и расскажешь...

— Но тогда будет слишком поздно! — воскликнула Мари, беспомощно перекатывая голову по подушке с отчаянием человека, которого никто не понимает.

Клоринда и ее сестра на цыпочках вышли из нарядной спальни с безделушками саксонского фарфора, кокетливым секретером маркетри, изящным столиком для рукоделья.

— Бедняжка! Она все оцупывает пустое место на пальце, где было кольцо, и спрашивает, где ее аквамарин... Надо бы съездить в Экс — купить другое. Да как оставить лавку и больную Мари? Ума не приложу, что делать!

Заглянула Триканот, узнать, какие новости. Она трижды обошла комнату, и ее шаги гулко отдавались на плиточном полу. Она сморщила нос и фыркнула. Затем переменяла освященный букс, который усыхал в розовой вазочке саксонского фарфора, украшенной изображением пухлого ангелочка, походившего скорее на античного амура, чем одного из воителей крылатой рати Предвечного Отца. Наконец Триканот изрекла:

— Лихорадка, как же! Я-то знаю, что у нее... Господь, сохрани! — И поджала свои тонкие губы.

Несчастье снова нависло над Люром.

А тем временем человек, державший в своих руках ключи от тайны, ехал по направлению к Люру, побуждаемый каким-то болезненным желанием еще раз увидеть эти места. Он был грустен и в трауре — туюлю его шляпы опоясывал широкий черный креп. Человек этот только что схоронил горячо любимую жену. Откинувшись на подушки лимузина, с глазами, покрасневшими от слез, проделал он путь из Сен-Шели-д'Апше

в Оверни, где за четыре военных года нажил состояние на армейских поставках.

Его трое детей, которым не терпелось опробовать собственные крылья, убедили отца воспользоваться этими печальными обстоятельствами, чтобы немного передохнуть, и он направлялся в Марсель, чтобы потом отплыть на Антильские острова, где у него были кое-какие дела.

Он мог бы путешествовать прямо долиной Роны, по хорошему шоссе, однако в Лионе сказал шоферу: "Поезжайте дальше на Гренобль, мы проедем через Альпы".

Этот крюк он сделал в память о покойной жене, единственной поверенной его прошлого, которая на смертном одре взяла с него слово заехать в эти края.

Вот почему этот богатый и печальный господин трясся в своей роскошной машине по скверной дороге между Ле Монестье-де-Клермон и Крестовым перевалом, по обе стороны которой, на протяжении тридцати километров, полыхали клены в осеннем убранстве.

Ноябрь выдался мягким. Грустный взгляд путешественника задумчиво провожал холмы, одетые лесом далекие горы, деревушки с серыми колокольнями, дожидавшимися Рождества, чтобы раскинуть над снегом гостеприимные огни. Он созерцал этот край, шепотом говоривший о своем мирном счастье у каждого дорожного поворота; бедный край, у которого не было нужды быть богатым; край, которого он никогда не видел.

Да, он не видел его — и однако четверть века назад перемерил пешком, подгоняемый страхом. Он помнил только дождь, ночь и неуют заброшенных риг на опушках леса, где единственными его товарищами были страх да голод. Четверть века назад, 29 сентября 1896 года, он спасался бегством по этим дорогам. Заслышав позвякивание колокольчиков на почтовом фургоне, он стремглав бросался в придорожный ров. Пронеслась мимо энергичная рысь лошадей, женский смех под опущенным верхом экипажа, шутки мужчин, аромат духов, запах кожи и сигарного дыма, а он убегал, как затравленный зверь, преследуемый стуком ножа гильотины, который непременно опустится на его хрупкие двадцатилетние плечи, если он даст себя схватить.

Потому что кто бы ему поверил? Кто дал бы себе труд выслушать его объяснения? Он твердил это и сейчас, откинувшись на подушки своего автомобиля, глядя, как проносятся мимо одетые в пурпур клены и мирные дымки над фермами, как с каждой минутой приближается Крестовый перевал с частоколом высоких сосен, тот самый, где, поставив ногу на склон, все еще под проливным дождем, он впервые сказал себе, что, возможно, выкарабкается...

В полдень он добрался до Систерона, где велел шоферу остановиться на улице Сонери, чтобы купить в табачной лавочке га-

зету. В глаза ему бросился растянувшийся над тремя черными колонками заголовок: "Новое преступление в департаменте Нижние Альпы! Мельник раздавлен собственными жерновами. Безусловно, это убийство". Тут же была помещена довольно скверная фотография, на которой все же можно было различить мельничные жернова. Путешественник окаменел на сиденье своего автомобиля. Ему почудилось, будто время повернуло вспять, и он, весь дрожа, опять спасается бегством под проливным дождем. Напрасно он говорил себе, что в наши дни преступление не такая уж редкость — то, что он вот уже во второй раз попадает в этот край под знаком пролитой крови казалось ему зловещим предзнаменованием. Подавленный страх ожил в нем с новой силой, и он едва не приказал шоферу повернуть назад, однако обещание, данное умирающей жене и, пожалуй, в не меньшей степени любопытство побуждали ехать дальше. словно какая-то злая сила, против воли, втягивала его в орбиту несчастья...

В Систероне он задержался, чтобы дать шоферу перекусить, тогда как сам, едва притронувшись к еде, отправился побродить по улицам. За прошедшую четверть века городок почти не изменился. Путешественника охватили смутение и растерянность — словно и не было всех этих лет спокойной жизни. Он вспомнил, как старался тогда ночью избегать редких уличных фонарей, как снял башмаки, чтобы заглушить шум своих шагов...

Уезжая из Систерона, он забился в глубь автомобиля, как будто боялся быть узнанным. Бонз-Анфан, Пейпэн, Шато-Арну, Пейрюи... После Пейрюи он велел шоферу сбавить скорость, опасаясь проскочить мимо нужного места. Вот и памятная ферма в Пон-Бернаре с голубятней у края дороги. Он приказал остановить машину и вышел.

— Подождите меня здесь, — сказал он.

Владевшая им тревога рассеялась, он шагал по дороге, словно опять стал прежним юношей, опьяненным молодостью и свободой. Даже принялся насвистывать песенку, с которой когда-то прошел через всю Францию.

Он узнавал каждый утес, каждый пучок полевых маков, каждую ивовую рожицу. Вот у этого источника, вытекавшего прямо из-под земли, со странным углублением в камне, он останавливался тогда, чтобы напиться. Вечерело. Скоро он будет на месте. Ля Бюрльер. Ему сказали: "Постоялый двор Ля Бюрльер. Хозяина зовут Фелисьен Монж. Увидишь, он хорошо тебя примет..."

Путник узнавал все, кроме железнодорожной ветки — в те дни ее здесь еще не было. Внезапно — ему показалось, прошло минут пять, не больше, — он услышал вкрадчивый, баюкающий шум, это был ветер в кронах кипарисов. Этот звук он слышал и тогда. Дорога, которой ему никогда не забыть, свернула вправо. В потемках он то и дело спотыкался на выщербленных

плитах, где оставили глубокие борозды тяжелые подводы нескольких поколений ломовых возчиков. Путник вновь ощутил свою тогдашнюю легкость, бесшабашную уверенность в себе. Чтобы иметь пристойный вид, он энергично отер башмаки пучком сорванной на откосе травы, залихватски сдвинул набок широкополую шляпу, расправил украшавшие трость праздничные ленты. Он распахнул ту дверь со словами: "Привет честной компании!"

Ту дверь... Но где она? Ветер продолжал раскачивать четыре одиноких кипариса, и они отвечали протяжной, берущей за душу жалобой. Человек ошеломленно смотрел на широкое пустое пространство, усыпанное измельченным щебнем, сквозь который кое-где уже пробивались первые редкие травинки. Он машинально ступил на этот белый четырехугольник, и едва коснулся ногой земли, как его пронзило мимолетное ощущение, будто он только что прошел сквозь стену. Навстречу ему хлынули запахи прошлого: сохнувших пеленок, грудного молока, горячего супа и сажи — словно лежащий под его ногами пустой кусок земли хранил их все эти годы, чтобы теперь воскресить для него.

Он снова увидел представшую ему тогда картину: женщина, молодая и хорошенькая, угрюмого вида рыжий мужчина, заложив руки за спину, меряет шагами кухню, старик в кресле перед очагом, под большим обеденным столом, хихикая, возятся двое мальчишек, в углу — высокие часы, а рядом, на полу — колыбель с плачущим младенцем...

Это было здесь, между четырьмя кипарисами, которые высоко над его головой шептали о дальнем странствии.

Он попятился за черту белого прямоугольника, как если бы по нечаянности ступил на чью-то могилу.

И тут он увидел колодец — белый под осенним солнцем, как тогда, в лунном свете. Мраморная облицовка блестела, словно была положена только вчера. Человек медленно приблизился к колодцу, продолжая видеть его таким, как ночью четверть века назад, когда молоденьким пареньком бежал отсюда, не разбирая дороги, а следом рокотало гневное дыхание Дюранс.

Внезапно порыв ветра взметнул перед ним столб сухих листьев. Они долго плясали в воздухе, образуя призрачный силуэт, потом осыпались на дно колодца. А в вышине кипарисы нашептывали какую-то позабытую историю...

Человек услышал треньканье колокольцев среди каменных дубов и направился туда. Под деревьями, немного выше по усыпанному желудями склону, старуха пасла нескольких коз. Она подняла голову и посмотрела в его сторону. Путник приблизился, снял шляпу.

— Скажите, когда-то здесь, кажется, был постоянный двор, Ля Бюрльер...

— Был, — подтвердила козья пастушка.

Она говорила, пришепетывая, как человек, у которого не хватает зубов.

— А вы не знаете... что с ним произошло? Тут был пожар?

— Нет, сударь. Преступление. Ужасное, мерзительное преступление, о котором местный люд помнит до сих пор. — Старуха прислонилась худой спиной к каменистому склону. — Пять человек, сударь! Здесь было зарезано пять человек!

Пять... Путешественник прикрыл глаза. Тогда, вне себя от ужаса, он не смог подсчитать, сколько мертвых тел было в комнате, только следил, не отрываясь, за ручейком, который бежал к нему, извиваясь, словно змея, перелился через край люка, с мягким, шлепающим звуком ударился о ступени, ведущие в подпол, обрызгал его башмаки и штаны... Кто поверил бы ему, с ног до головы измазанному этой кровью?

Тем временем пастушка рассказывала, как было обнаружено преступление, о погребении жертв, аресте виновных, судебном процессе — при переполненном зале, и, наконец, о гильотине, нож которой опускался трижды. А еще — о дрожи ужаса, преследующей суеверных жителей деревушки в ненастные вечера.

Он стиснул кулаки, защищаясь от этого потока слов, обрушившегося на него из черного беззубого рта. Десять раз он готов был перебить ее — и десять раз останавливался. Ему хотелось крикнуть: "Нет, вы ошибаетесь! Все было совсем не так! И эти трое преступников, казнью которых вы так гордитесь, — они были не виновны! Слышите: не виновны!"

Мысль об этих троих казненных, чьи кости, возможно, давным-давно истлели в общей могиле, потрясла его, привела в ужас: подумать только, ведь одного-единственного его слова было достаточно, чтоб их спасти! Но тогда это его голова скатилась бы под ножом гильотины. Потому что кто бы ему поверил?

— Вы, никак, побледнели, сударь? Да уж, историю, что я вам рассказала, приятной не назовешь. Но, к счастью, один все же уцелел — Господь, по доброте своей, сохранил ему жизнь. И, знаете, это все он сделал... — Концом своей клюки старуха ткнула в направлении пустыря между кипарисами. — Камня на камне не оставил, не хотел, чтоб ему напоминали!

Один уцелевший... Да как мог кто-то уцелеть во время этой бойни? Он помнит, как бежал тогда, оскользаясь в лужах крови, с вытаращенными от ужаса глазами, и видел только трупы. В памяти у него всплыла рука женщины, с растопыренными пальцами, которая все тянулась, тянулась — и бессильно упала. Один уцелевший...

— Да, — сказала старуха. — Это настоящее чудо! Может, они его не заметили. А может, отступились, считая, что смерть ангелочка накличет на них беду. Ему ведь было-то всего три недели от роду...

Три недели... Младенец, плакавший в колыбели под часами. Сегодня ему должно быть двадцать пять лет. Человек, которому он сможет наконец-то рассказать правду, облегчить свою душу...

— И он... жив сейчас? — спросил путешественник.

— Жив ли он? Черт возьми! Это здоровенный парень, ростом с каланчу. А уж красавчик! — Она хлопнула в ладоши и закатила глаза, будто призывая небо в свидетели правдивости своих слов.

— И... он живет в здешних краях?

Взгляд Триканот сделался подозрительным. Что-то внутри подсказывало ей не соваться в это дело. В Люре и так творится немало жутких вещей. А тут еще этот господин: черный костюм, черный галстук, креп на шляпе и лицо похоронное! Нередко, думала Триканот, беда возвещает о себе таким вот гонцом. Он напомнил ей черного человека, который во время войны в сопровождении двух жандармов разносил похоронки, крики за дверью — матерей, жен... Человек в трауре — дурная примета. Бедняга Серафен и так уже нахлебался, не стоит лишний раз беречь его раны!

— Сударыня, — после минутного колебания сказал незнакомец, — я чувствую, что вы знаете, где он, и не решаетесь мне сказать. Если этот человек разрушил свой дом, значит, его до сих пор терзает преступление, отнявшее у него всех близких. Быть может, его преследуют сомнения... Так вот: я могу открыть ему долю правды, и, думаю, ему станет легче, если он это узнает.

— Правды? — Триканот поперхнулась и со свистом втянула воздух. — Но правда уже известна!

— Нет, — тихо проговорил незнакомец.

Окаменевшая от изумления, Триканот добрую минуту не могла раскрыть рта.

— Он живет в Пейрюю, — сказала она наконец, — на площади у фонтана, где высечены такие мерзопакостные рожи... Узкий дом с пристройкой, подниметесь по лестнице...

Незнакомец поблагодарил ее, поклонился, надел шляпу и зашагал прочь. Триканот слушала, как замирают его шаги, и ветер перешептывается с кипарисами, пока две козы не ткнулись мордами ей в руку, напоминая, что пора возвращаться домой. Тогда, пронзительно свистнув, старуха созвала своих коз и, подбрав юбки, потная и задыхающаяся, поспешила в деревню. Она уже представляла, как крикнет сейчас: "Эй, Клоринда! Выглянь-ка на минутку! Помнишь историю с Ля Бюрльер? Так вот, ты не знаешь...", но внезапно замедлила шаг. Нет. Придется держать это про себя. Бедняжка Клоринда! Ей собственного горя хватает, чтоб еще выслушивать о чужих несчастьях!

Незнакомец быстро отыскал дом Серафена Монжа, и шофер, ворча и ругаясь, с трудом припарковал лимузин на крошечной площади, где невозможно было толком развернуться.

Человек выбрался из машины, поднялся по трем ступенькам и трижды постучал в узкую дверь. Никакого ответа. Он потянул за ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Поколебавшись минуту, незнакомец вошел и поднялся по лестнице, которая вела прямо в кухню.

Здесь он какое-то время стоял перед скромным домашним очагом, ощущая себя незванным гостем. Он увидел блиставший чистотой пол, холодную плиту, выстроившуюся у края мойки посуду. Стол был сдвинут по отношению к стульям. Незнакомец прошел в альков, где помещалась аккуратно застеленная кровать с очень чистыми простынями и единственной тоненькой подушкой. В этом бедном жилище царил педантичный порядок человека, который не желает, чтобы посторонние могли судить о нем по внешнему виду его дома. Все здесь было безликим, за исключением, быть может, слабого, едва уловимого запаха бергамота: ни газеты, ни книги, вообще ничего позволяющего составить хоть какое-то представление о характере и привычках хозяина.

Человеку в трауре пришлось вырвать листок из своего блокнота, чтобы набросать несколько строчек для единственного уцелевшего из Ля Бюрльер. Покончив с этим, он принялся искать какой-нибудь предмет, чтобы придавить им оставленную посреди стола записку.

Ничего! Хотя, нет. Внезапно его внимание привлекла стоявшая на этажерке рядом со сковородкой коробочка из-под сахара — как раз то, что нужно. Незнакомец потянулся к ней и нашел странно тяжелой, но в первый момент не придавал этому значения. Он подsunул записку под край коробочки, и только теперь его заинтриговал ее вес. Уступая любопытству, он откинул крышку, не разворачивая, приподнял сложенные листки бумаги, заглянул вовнутрь — покачал головой, захлопнул коробочку и вышел.

Сердце его дрогнуло от жалости к обитавшему здесь человеку, ибо тот, кто оставляет незапертой дверь комнаты, где хранятся четыре килограмма золотых монет, в душе должен быть глубоко несчастен.

Когда лимузин выехал на дорогу, поднимающуюся к Мальфугасс, вечернее солнце бросало косые лучи на заросли каменных дубов на склонах Сен-Дона, превращая их в океанские волны. Неподвижная зыбь этих лесов, густых, словно овечье руно, обрамляла возведенную на холме старинную церковь, издали похожую на груду камней.

Построенная почти десять веков назад, она упорно противилась разрушению. За прошедшие годы церковь разграбили, ободрали, сбили водосточные желоба и узорчатые капители изящных колонок, украшенных сценами из жизни святого, — и все равно она упрямо вздымала над зеленью лесов свой шпиль, увенчанный усеченным крестом с короткими — чтобы противо-

стоять эрозии — горизонтальными перекладами. Эта серая громада стояла на отшибе, вдалеке от обитаемых мест, одинокая, массивная, отмеченная печатью безмолвной тайны и смутной угрозы, присущей всем твердыням веры.

Кто построил ее? Что за люди, вытянувшись нескончаемой цепью, передавали из рук в руки камни, нестройными песнопениями славя святого? Теперь ее обступили, стиснули со всех сторон вечнозеленые каменные дубы, приподнимая над собой вздыбленными узлами корней.

Церковь не изменилась, хотя вот уже четверть века прошло с памятного вечера, когда она явилась взгляду юного путника в последних пробившихся сквозь облака лунных лучах, за несколько мгновений до того, как все погрузилось во тьму и вновь зарядил дождь. Она и тогда была разрушена, как сейчас, и такие же хилые растеньица напрасно пытались укорениться на обрушенной кровле.

Человек приказал шоферу подождать его у подножия холма, а сам принялся взбираться к развалинам церкви. Ему казалось, он ступает по следам того стройного, ловкого юноши, которому страх и опасность будто придали крылья. Он поддался тогда искушению укрыться от дождя под этим черным портиком, нависшим над огромным пустым нефом с плотно утоптаным земляным полом. И здесь же, обретя немного здравого смысла, он сказал себе, что единственный шанс на спасение для человека, невольно оказавшегося свидетелем такого жуткого преступления, — бегство...

Человек взглянул на часы. Придет ли Серафен? Не зря ли он назначил ему свидание здесь, вместо того чтобы просто подождать у него дома? Поддавшись желанию сделать эту церковь свидетельницей своей исповеди, он рисковал теперь провозгласить ее в пустоте...

Он не отводил глаз от портика, где постепенно меркнул свет. Внезапно светлый прямоугольник пересекла какая-то темная масса: ведущие сюда четыре ступени за прошедшие годы полностью обрушились, и взобраться на площадку можно было, только подтянувшись на руках, как сделал он сам.

Новоприбывший медленно выпрямился и шагнул вперед. Путешественник смотрел, как он приближается, глядя на него лишенными выражения глазами, которые, однако, казалось, пронизывали его насквозь. Эта атлетическая фигура двигалась на удивление легко и бесшумно, сливаясь с приземистой колонной, из тени которой она возникла и служила как бы ее продолжением — будто человек нес колонну на своих плечах.

Подойдя вплотную, он протянул мужчине в трауре записку.

— Это вы написали?

— Да.

— Меня зовут Серафен Монж.

— Знаю. Когда я увидел вас впервые, вы лежали в колыбели и надрывались от плача, потому что были голодны... — Человек в трауре понизил голос. — Я был там... в день, когда совершилось преступление.

— Вы там были?

— Да. Сейчас я вам все расскажу. Постарайтесь выслушать, не прерывая. Судить меня будете потом.

— Я не судья, чтобы судить.

— Нет, вы имеете на это право... как потомок. Так вот, я был там. Я распахнул дверь — помнится, даже не постучавшись, настолько был уверен, что меня примут с распростертыми объятиями, — и сразу же понял, что явился некстати. Ваш отец нахмурился, как будто хотел сказать: “Тебя только здесь не хватало!” Вид у него был какой-то затравленный, он нервно расхаживал взад-вперед. Ваша мать поспешно спрятала грудь — думаю, она как раз собиралась вас покормить. Было ясно, что я — отнюдь не желанный гость. Но что вы хотите: я отшагал больше ста километров под дождем, поливавшим меня от самого Марсея. И потом, в ту пору мне было двадцать лет — юноша, опьяненный свободой и открывавшимся перед ним будущим! Другие казались мне тусклыми фигурами на гобелене, среди которых только я один живой. — Человек в трауре вздохнул. — Вы, должно быть, удивляетесь про себя, зачем я вас сюда вызвал?

— Нет, — сказал Серафен. — Говорите. Итак, вы были в кухне. Моя мать собиралась дать мне грудь. Мой отец расхаживал взад-вперед...

— Да. Остановившись, он схватил меня за руку и поднял крышку люка. Господи, как только после всего, что произошло, я могу произносить это слово без содрогания! Он проводил меня по крутой лестнице вниз, туда, где размещались старые конюшни. Потом принес каравай домашнего хлеба, колбасу и сыр — все это, не говоря ни слова, ни о чем меня не спросив. Посреди лба у него залегла глубокая морщина, которая не разглаживалась.

Серафен слушал, не отрывая жадного взгляда от губ незнакомца. Старый Бюрль рассказывал о мертвых. Этот же говорил о живых. Его слова рисовали Серафену живого отца, спускающегося по крутой лестнице с хлебом в руках; живую мать, смущенную неожиданным вторжением чужака, стыдливо прикрывающую грудь.

— Он устроил меня на мешках с почтой, — продолжал между тем человек в трауре. — Как сейчас помню: пахло сургучом, с джутовых мешков свисали большие красные печати. Было довольно жестко, зато тепло, а главное — сухо. Я устроился поудобнее и принялся за еду. Должно быть, я уснул — как был, с последним недожеванным куском во рту. Однако сон мой оказался недолгим. Меня разбудил какой-то глухой шум, тяжелый удар, сотрясший балки. От неожиданности я вскочил. Мне хоте-

лось пить: ваш отец забыл оставить мне воды. На маленьком столике стоял фонарь. Я взял его и осветил ведра, из которых поили лошадей. Мне нередко случалось довольствоваться таким источником, однако ведра были пусты. Тогда я сказал себе: "Раз уж тебе приспичило напиться, ничего не поделаешь, придется побеспокоить хозяев".

Он помолчал и повторил:

— Придется побеспокоить хозяев... В темноте я подошел к лестнице. Лошади вели себя беспокойно: фыркали, вздыхали, вытягивали шеи к своим корытам. Но... в двадцать лет на такие мелочи не обращаешь внимания.

Человек в трауре вздохнул, потом возобновил рассказ.

— Наверх вели двадцать две ступеньки. О, впоследствии я не раз пересчитывал их в своих воспоминаниях! Помню еще, моя рука приподняла крышку и оставалась в таком положении минуту, может, больше... До меня не сразу дошло, что происходит. То есть, чтобы это увидеть, понадобилось всего несколько секунд, а вот осознать...

Он тяжело опустился на усыпанную обломками ступеньку алтаря, как будто у него вдруг подкосились ноги от того, что еще только предстояло сказать.

— Не сразу... — повторил он. — Я увидел что-то вроде красного шпагата, который, раскручиваясь, катился прямо ко мне, медленно, не собирая пыли, словно увлекаемый собственным весом. Как вам сказать... Он катился, попадая в трещины между плитами, пока не достиг края люка — и тут он будто взорвался, хлынул вниз, так что у меня оказались забрызганными штаны и башмаки. Машинально я пощупал капли — они были теплыми... Однако, прежде чем я успел задуматься, меньше чем в метре от меня я увидел широкую юбку и корсаж, массу спутанных волос... Боже праведный! Все это ползло, издавая жуткий звук, наподобие продырявленных кузнечных мехов, а впереди была рука с растопыренными пальцами, и эта рука тянулась к колыбели, где были вы; она почти дотянулась, но упала и замерла, так и не успев коснуться колыбели...

— Мама, — тихо проговорил Серафен.

— Потом я увидел еще, как в тумане — понимаете, лампа опрокинулась, и единственное освещение давал огонь в очаге — двоих схватившихся мужчин. Одним из них был ваш отец. В руке он держал что-то блестящее и красное, у второго тоже было оружие, и они старались перерезать друг другу горло, молча, без единого звука. Ваш отец как будто начал одерживать верх. Ему удалось оттолкнуть противника, тот отлетел к очагу, потерял равновесие и опрокинулся на спину, однако, падая, ухватился за вертел, который сорвал со стены. Он сжимал его в ту минуту, когда ваш отец бросился на него и напоролся на острие. С вертелом, торчавшим в теле, ваш отец сделал еще шаг, два шага... Он уперся обеими руками в камни очага — и тогда тот, второй...

— Второй? — задыхаясь, спросил Серафен. — Вы уверены, что там был только один человек?

— Да. Уверен. Один человек, сжимавший в руке что-то блестящее. Он подскочил к вашему отцу, запрокинул ему голову и полоснул по горлу...

— Один человек... — повторил Серафен.

— Да. Впрочем, в комнате был еще кто-то. Кажется, старик. Он сидел в кресле перед очагом, уронив руки на подлокотники и уставясь в потолок. Старик с большой красной бородой...

— А того человека, — перебил Серафен, — вы хорошо его рассмотрели?

— Нет. Помню черный силуэт. Блестящий глаз. Пару ног, руки — немного похожие на ваши... Еще видел плечи, спину... Я же сказал вам: лампа опрокинулась и погасла. И потом — я до смерти перепугался! Это сейчас я рассказываю долго, а тогда сразу же захлопнул крышку люка. Она чмокнула, соприкоснувшись с ручейком застывающей крови, — никогда мне не забыть этого звука. Я говорил себе: если тот человек его услышал, мне конец. Мне было жутко, понимаете — жутко! Я обезумел от страха. Вам случалось такое испытывать?

Серафен поднял глаза к верхушкам колонн, теперь совершенно невидимым в темноте нефа.

— О да! — прошептал он.

— Тогда вы должны понять. Страх отнял у меня способность соображать. Он мучил меня на протяжении многих месяцев, даже лет. Я скатился по лестнице и забился в свой угол. И там я понял, что когда тот человек, наверху, уйдет, я останусь наедине с трупами, перепачканный их кровью, которая, стекая в люк, обрызгала мою обувь и одежду. Мой рассказ о неизвестном человеке, которого я толком и не рассмотрел, кого, возможно, никогда не найдут — кто бы в него поверил? А мои бумаги? Они вполне могли быть поддельными. В те дни по Франции бродило немало таких парней, как я — веселых, шумных, перекати-поле. Жандармы и власти их недолюбливали, смотрели искоса. Что было, если б за меня взялись жандармы?

Серафен почувствовал, что при этом воспоминании его собеседника еще и сегодня пробирает дрожь.

— Ужас, который я испытал при этой мысли, превосходил даже страх, охвативший меня, когда я поднял крышку люка. Теперь я был одержим страхом — перед людьми, перед эшафотом. Потому что кто бы мне поверил?

Человек сделал паузу.

— Тогда, — продолжал он после минутного молчания, — я схватил свою трость, шляпу и дорожный мешок, в который сунул остатки хлеба — потом он мне очень пригодился, я съел все, до последней крошки. Как мог, поправил мешки, на которых лежал, и выскочил через воротца конюшни. Я бежал, как безумный. Я и был безумен. Помню, я увидел колодец, а перед ним...

стоял человек. Он был повернут ко мне спиной, но мне показалось, он услышал мои шаги и сейчас обернется. Я отпрянул назад и спрятался за тележкой. Между тем человек наклонился, поискал что-то на земле, потом размахнулся и бросил это в колодец. Что-то тяжелое... Я услышал: "плюх!"

— Один человек... — пробормотал Серафен.

— Да. Всего один. И я его не разглядел. Шляпа отбрасывала тень на его лицо. Помню только, что был он безбородый. Он ступал тяжело, ссутулясь. Не могу поклясться, но в какой-то момент мне показалось, что у него вздрагивают плечи — как будто он плакал...

— И это был тот самый человек, который у вас на глазах прогнулся вертелом моего отца?

— Да, это совершенно точно.

— И не было никого другого?

— Никого.

— И он бросил что-то в колодец?

— Да. И потом побрел, понурясь, в сторону железнодорожной насыпи. А я пустился наутек. Не разбирая дороги, через лес, через холмы. Я бежал прямо на север. Вместо компаса мне служил запах гор. Так я очутился возле этой церкви. Не знаю ее названия...

— Церковь святого Доната, — машинально уронил Серафен.

— Я молился, — продолжал человек в трауре, — и получил совет: беги! Что я и сделал.

— Один человек... — прошептал Серафен. — И вы не знаете, как он выглядел?

— Двадцать пять лет, — сказал незнакомец. — С тех пор прошла целая жизнь. Я только что потерял жену... Нет, я не знаю. Но даже если бы смог вам его описать, что бы это дало? Как он выглядит теперь, четверть века спустя? А война? Возможно, его давно нет в живых.

— Если б он умер, — проговорил Серафен, — я почувствовал бы это здесь, — рукой он указал себе на грудь. Человек в трауре смотрел на него. Серафен не шевелился, он продолжал стоять, прислонившись спиной к колонне, как будто врос в нее.

— Четверть века... — устало повторил путешественник. — Вы слишком молоды, чтобы знать, что это такое...

Он умолк, озадаченный. В полутьме ему показалось, что Серафен смеется. Внезапно Серафен повернулся и зашагал в направлении слабого света, который брезжил над портиком.

Человек в трауре последовал за ним.

— Не могу ли я, — спросил он неуверенно, — что-нибудь сделать для вас? Знаете... Как бы это сказать... Словом, я богат и...

Тут он прикусил язык, вспомнив о коробке из-под сахара, полной золотых луидоров.

— А я, — сказал Серафен, — еще беднее, чем вы думаете. Я был отнят от материнской груди трех недель от роду. Вся мою

жизнь я не знал, что такое мать. Единственное, что от нее осталось... это страшный сон, который командует мною. Вот вы говорите, двадцать пять лет... По-вашему, это много? А она ничуть не переменялась, у нее все так же перерезано горло и... — он едва не добавил: “на сосках последние капли молока, которые предназначались мне”, однако сдержался. — Я знаю, она не простила, — продолжал он. — И я не прощаю. А вы, с вашей исповедью, пришли слишком поздно... Слишком поздно...

И он ушел, не бросив ни кивка, ни взгляда, ни слова признательности этому подавленному человеку, который был богачом.

Сухие листья с печальным шелестом устилали землю вокруг церкви. Настала ночь.

“Я должен был догадаться, — говорил впоследствии мсье Англес, — в первый и последний раз он попросил у меня день отпуска. Если не ошибаюсь, это был понедельник...”

Серафен спал беспокойно, урывками, преследуемый бессвязными мыслями. Один человек. Колодец. Он бросил что-то в колодец. И вся эта бойня — дело рук его одного. А как же тогда двое других? Выходит, он ошибался, хотел убить двоих невиновных... Или одного невиновного и одного виноватого? Правду знал теперь только один человек: тот, кто остался в живых, люрский булочник Селеста Дормэр. Значит, это он убрал тех двоих... Но почему? Колодец... Человек, которого видел незнакомец, бросил что-то в колодец. Что-то, с помощью чего его можно было уличить. В тот самый колодец, к которому Серафен не смел приблизиться, преследуемый призраком своей матери. Кстати, есть ли там внутри вода? И сколько? Метр, два? Что-то ему мешало, он не мог заставить себя заглянуть в колодец. Как отыскать лежащую на дне улику? Что с ней случилось по прошествии четверти века?

Серафен был у себя дома, в объятom ночью Пейрюи, и, заложив руки за голову, вслушивался в плеск фонтана. Он подумал о Мари Дормэр. Говорят, бедняжка не на шутку больна. Это скверно. Она так любила жизнь, была такой импульсивной. Серафен сказал себе, что должен с ней повидаться. Возможно, девушке полегчает, если она узнает, что он тревожится о ее здоровье. В любом случае, это его ни к чему не обязывает. Разве он не сказал ей, что не может любить никого?

Внезапно он сел на своей постели. Образ Мари, сидящей на краю колодца, когда он едва не столкнул ее вниз, пробудил в его душе какое-то тревожное воспоминание. Однажды он слышал, как мсье Англес разговаривал с коллегой-геодезистом. Серафен тогда запомнил его слова, а сказал он вот что: “Здесьние колодцы почти все высохли. Когда компания, разрабатывавшая рудники в Сигонсе, в 1910 году расширила свою деятельность, проложенные ею новые галереи нарушили водоносные пласты и, особенно, сифоны. Так что вода ушла почти из всех колодцев”.

На следующее утро Серафен попросил у мсье Англеса отпуск и отправился на велосипеде по дороге в Форкалькье. Там он купил на рынке бухту каната, пеньковый трос и ацетиленовую лампу. Рабочие, садившиеся в грузовик, увидев его, не могли удержаться от шуток.

— Эй, Серафен! — кричали они. — Да ты, никак, вешаться собрался?

— Возможно, — буркнул он в ответ.

К полудню он был в Ля Бюрльер. Триканот, которая, по обыкновению, пасла своих коз под дубами, рассказывала потом, что тоже подумала, уж не решил ли он удавиться. По ее словам, он четверть часа просидел под одним из кипарисов, не шевелясь и уставясь на колодец. Триканот охватило любопытство, и она больше не сводила с него глаз. Старуха спряталась за большим кустом розмарина и оттуда принялась следить за Серафеном.

“Он уселся, — рассказывала козья пастушка, — на скамью под кипарисом, размотал свою веревку и через равные промежутки — примерно в полметра — начал вязать на ней узлы. Ох и долго же провозился! А потом встал и ушел. Пошел он в сторону дороги и пропадал там добрых десять минут. Велосипед и веревка лежали под деревом, а на скамье стояла карбидная лампа. А когда он вернулся, то нес на плече железнодорожную шпалу, которую, должно быть, нашел брошенной у путей. И тут... как вам сказать? Я видела, как он идет с этой шпалой. Мне-то, конечно, нипочем не поднять, но для такого силача — груз небольшой. И все же... Ну, сколько там было от кипариса до колодца? Метров пятьдесят. Так вот, он останавливался через каждые три метра. Из моего укрытия я хорошо видела его лицо. Он двигался осторожно, будто выслеживающий добычу охотник. То застынет на месте — даже ногу на землю не поставит, то опять — вперед. Когда он подошел достаточно близко, я заметила, какой странный был у него взгляд. Причем смотрел он не на колодец, а на бассейн, где раньше стирали белье. Знаете, этот бассейн, который сейчас завален сухими листьями? Бог ты мой! Он так на него уставился, будто ждал, что оттуда явится сам Антихрист! Похоже, парень чего-то здорово боялся. Наконец он добрался до края бассейна и положил шпалу на облицовку, выждал еще немного — с таким видом, будто готов в любую секунду отскочить назад, а потом поднял свой брус — словно это была сухая ветка — и пристроил поперек колодца. Я смотрела на него, а он — на бассейн. Лицо у него стало какое-то удивленное. Он подошел к бассейну, зарылся руками в листья и начал их перемешивать. Зачем? Да кто ж его знает? Быть может, что-то искал... Во всяком случае, копался он так минуты с три...”

Нет, в этот раз, несмотря на все его опасения, Жиранда не появилась из своей полной сухих листьев гробницы, чтобы напом-

нить сыну о его долге; словно из этого мрачного места был наконец изгнан поселившийся здесь злой дух, и дорога расчищена от обломков — остается только идти вперед к цели.

Серафен положил шпалу поперек колодца, так, чтобы концы выходили за его края. Он обвязал вокруг нее канат, а конец спустил вниз. Потом зажег ацетиленовую лампу, укрепленную на пеньковом тросе, отрегулировал ее и, наклонившись, метр за метром, стал осторожно опускать в колодец. Белое пламя освещало круг желтоватого известняка, ажурные веточки заразихи или бледную зелень папоротника, растущего без доступа солнца. Серафен все медленнее пропускал веревку между пальцами, внимательно вглядываясь в темноту под лампой. Вскоре ею была освещена вся внутренность колодца, прямо под кружком света Серафен увидел дно. Он продолжал пропускать трос между пальцами, сантиметр за сантиметром, пока не почувствовал, что натяжение ослабло — лампа коснулась дна. Она не погасла: пламя по-прежнему было высоким и ярким.

Серафен привязал верхний конец троса к одному из прутьев венчавшей колодец арки, перешагнул через край, ухватился за лежавшую поперек шпалу и потом — за свисавший вниз канат. Медленно, не торопясь, минуя узел за узлом, он спустился в колодец. По подсчетам Серафена, его глубина должна была составлять около десяти метров. Он обнаружил на стенках концентрические круги, которые в свое время оставила вода. Расположенные на разной высоте, они знаменовали благоприятные или неблагоприятные годы, когда воды было в изобилии, либо, напротив, не хватало.

Когда Серафен поставил ногу на твердый белый камень, первым, что бросилось ему в глаза, был освещенный ацетиленовым пламенем череп, который глядел на него пустыми глазницами, скаля в ухмылке нетронутые кариесом зубы. Скелет застыл в позе глубокой задумчивости, застрявши под сводом, уходившим, точно грот, на два-три метра в глубь искрящейся известковой скалы, служившей основанием колодца. Под согнутыми ногами скелета тоненьким ручейком бежала вода, с бормотанием исчезающая в жерле подземной воронки.

Скелет был совершенно целым, потому что окаменел, благодаря отложениям кальция, намертво спаявшим его кости. Судя по состоянию зубов, останки принадлежали человеку сравнительно молодому. На костях перекрещивались ремни портупей, тоже обызвесткованные, к широкому, с пряжкой, поясу крепилось что-то вроде патронной сумки. Серафен разглядывал скелет с отрешенным спокойствием человека, который настолько часто сталкивался со смертью, что привык смотреть ей в лицо. Но его заинтересовала одна вещь — какая-то закопанная в известковые отложения бугорчатая лента вилась по дну колодца до огромного круглого голыща. Присмотревшись повнимательней, Серафен обнаружил, что это кнут, другой конец которого

обернут вокруг превратившихся в окаменевшую магму ног мертвеца, и понял, что человека, чьи останки он видит перед собой, сбросили в колодец со связанными за спиной руками и камнем у ног в роли балласта. Вот только был ли он тогда уже мертв?

Серафен запрокинул голову и увидел сверху черную дыру неба с тускло мерцавшими звездами. Ля Бюрльер, родовое гнездо Монжей. Когда-то один из его предков столкнул этого человека в колодец, а даже если не приложил к тому рук сам, должен был знать о преступлении... Меч Правосудия, который Серафен держал занесенным с тех пор, как обнаружил долговые обязательства, внезапно сломался у него в руке. Потомок убийц или пособников убийства, по какому праву он взялся карать других за их провинности? Им вдруг овладело болезненное любопытство. Он сорвал с пояса окаменевшую сумку, и от резкого движения скелет обрушился на него, точно сломанная ветром сухая ветвь. Кости рассыпались, череп откатился до горловины воронки, где журча, исчезал ручеек. Зажав в руке сумку, Серафен вынул из кармана перочинный нож и принялся счищать с пряжки известковую скорлупу. Внутри было пусто, если не считать бесформенной полужидкой массы, еще мягкой и клейкой, пахнувшей сургучом. Серафен ковырнул ее ножом. Лезвие скользнуло по металлу — это была потемневшая от времени монета. Позабыв, что искал совсем другую вещь, Серафен поскреб ее и поднес к лампе, осветив лицевую сторону с грушевидным профилем короля-буржуа. Монета была идентична тем, которые заполняли коробку из-под сахара, хранившуюся в тайнике кухни Ля Бюрльер. Выходит, с момента преступления прошло больше семидесяти лет, над Францией прокатились две войны. Его отец, который еще не родился в царствование Луи-Филиппа, не мог совершить этого убийства, даже если воспользовался его плодами. И Жирарда, его мать, не принадлежала к разбойничьему семейству, но ей перерезали горло, и он должен отомстить.

Все еще стоя на коленях, Серафен повернулся, забыв про скелет. Под свернувшимся кольцами канатом он обнаружил два каких-то плоских предмета, тоже соединенных кожаным ремнем, но еще не покрытых известковыми отложениями. Кожа была вытертой, но сохранила упругость. Серафен разрезал ремень с помощью перочинного ножа. Он подобрал упавшие на землю предметы, внимательно осмотрел при свете лампы, завернул в носовой платок и сунул в карман. Потом он выпрямился, отряхнул колени и начал медленно, узел за узлом, подниматься на поверхность.

“Я видела, как он выбрался из колодца, — рассказывала Триканот. — При этом он не выглядел более взволнованным или растерянным, чем когда спускался. Он оставил у сруба свернутый канат, пеньковый трос и зажженную лампу — несмотря на

ярко светившее солнце, а потом сел на свой велосипед и уехал — шлеп-шлеп. Но теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, он знал, куда направляется... “

Да, он знал, куда едет. Разбитая повозками дорога вилась среди оливковых деревьев, и стоящий на отшибе дом показался не сразу. Здесь редко ходили — ведущая к нему тропинка поросла пастушьей сумкой, пыреем и перекати-полем. Она обрывалась прямо у порога.

Дом был большой, квадратный, в два этажа, под четырехскатной крышей. Ставни на окнах — плотно закрыты и, судя по всему, уже давно. Слева от дома, из зарослей юкки, поднимался одинокий кипарис, такой же старый, как кипарисы Ля Бюрлер. Его вершина, раскачиваясь под ветром, мелкими черточками прочерчивала вечернее небо.

Жилым казался только нижний этаж с незапертыми ставнями на трех больших окнах. Фронтон над распахнутой дверью украшал высеченный в камне листок аканта. Тут же лежал старый велосипед с багажником, небрежно прислоненный к стене, как будто хозяин бросил его второпях.

Серафен оставил свой велосипед у кипариса. Какое-то время он стоял неподвижно, разглядывая фасад. Дверь была завешена мешковиной, которую колебал сквозняк. Укрывшись за ней, можно было, самому оставаясь невидимым, следить за всем, что происходило на дороге. Зато для незваного гостя этот занавес был непроницаем, словно уста оракула.

Серафен подошел к дому и приподнял край мешковины. За ней оказалась вторая, внутренняя створка, которую никогда не закрывали, потому что в углу у наличника росло несколько одуванчиков. Расположенная против входа темная лестница вела на второй этаж, откуда сочился запах сырости и плесени. Слева, в стене, была закрытая на задвижку дверь. Серафен отодвинул засов и толкнул ее — дверь со скрипом повернулась на проржавевших петлях, скребя плиточный пол.

В просторной комнате, куда свет проникал через три фасадных окна, были свалены в беспорядке различные предметы, необходимые в повседневном быту. На одном из окон была задернута тяжелая штора, не позволявшая как следует рассмотреть то, что находилось в глубине комнаты. На мраморной полке украшенного гербом камина Серафен увидел — и это было первым, что бросилось ему в глаза, — картину в раме, завешенную черной вуалью.

Серафен медленно обвел взглядом эту холодную комнату, из которой ушла жизнь. На полу вокруг письменного стола-бюро, покрытого пылью, громоздилось все, что падало с него в течение многих лет, сметаясь, чтобы освободить место. Груда свежего пепла в очаге свидетельствовала о том, что совсем недавно здесь был большой костер. Дальше, в полумраке, Серафен увидел кровать под изодранным зеленым пологом.

От этой угрюмой обстановки веяло давно укоренившимся несчастьем, холодом, прогнать который не под силу никакому огню. Тусклые солнечные лучи, проникая сквозь пыльные окна, таинственно ложились на красные плиты пола. На стенах под потолком висели потемневшие от времени картины, должно быть, религиозного содержания, на которых уже ничего толком нельзя было разобрать.

Серафен подошел к кровати и встал в изножье. Перед ним на постели был распростерт человек, по самый подбородок укрытый одеялом. Он молча смотрел на Серафена. Одного взгляда, брошенного на его лицо, было достаточно, чтобы понять — часы его сочтены. При мысли о том, что он может привлечь на суд своей матери только покойников или умирающих, Серафеном овладел глухой гнев. Единственными живыми существами, кого ему удалось покарать, оказались две собаки. Слишком поздно. Терзавшее его преступление поблекло, превратившись в историю, из числа тех, что люди рассказывают друг другу вечерами на посиделках, прежде чем расстаться за порогом, дрожа от возбуждающего страха. Серафен ощущал ужасную горечь и пустоту. Но он хотел знать.

Старые губы растянулись, будто шнурки кошелька, и умирающий заговорил, вполне отчетливо:

— Еще немного — и ты бы меня не застал. Я подцепил лихорадку в ту ночь, когда подстерег Дидона. Промок до костей — и вот...

Серафен вынул из кармана два предмета, которые достал со дна колодца, и бросил на постель, так, чтобы умирающий мог до них дотянуться.

— А.З., — спросил он, — это вы?

— Да, я — Александр Зорм. Теперь я в довольно жалком состоянии, но в свое время это имя на многих наводило трепет.

Он вздохнул, и в груди у него захрипело, забулькало — словно заиграла волынка. Его рука нащупала предметы, которые Серафен швырнул на одеяло. Умирающий ухватил один из них и стиснул его пальцами.

— Это мой, — сказал он, — мне и смотреть не надо, достаточно прикоснуться, хотя вода и ржавчина сделали свое дело. Мой резак... Я так и не купил другого. Что за блажь — везде выжигать свои инициалы, словно боялись, будто нас обворуют! — Он усмехнулся и потряс головой. — Без этого, — он кивнул на резак, — мы с тобой оба были бы мертвы. И никто никогда не узнал...

Из горла умирающего вырвался странный хлюпающий звук, по временам его сотрясала сильная икота. Не отрывая от Серафена черных горящих глаз, он машинально поглаживал костяную ручку резака, четверть века назад брошенного на дно колодца.

— Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу его снова. А еще меньше — что мне принесешь его ты.

— Я должен знать, — сказал Серафен.

— О да! Когда я увидел тебя с папашей Бюрлем, понял, что ты непременно узнаешь. — Умирающий издал хриплый смешок. — Старый болтун не мог прихватить эту тайну в рай...

— Я узнал не от него.

— И теперь ты уверен, что знаешь? Так вот, ни черта ты не знаешь! Думаешь, почему я швырнул в колодец оба резака? Ты видел инициалы на втором?

— Ф.М., — сказал Серафен.

— Именно, Ф.М., — повторил Зорм. — Фелисьен Монж. Когда я вошел, он только что перерезал горло твоей матери. Она... еще шевелилась... Ползла с перерезанным горлом, и я слышал, как толчками вытекала кровь, точно из горлышка бутылки. Она ползла к тебе: хотела помешать Монжу, который уже схватил тебя за головку и собирался зарезать. Вот этим! — он нацупал второй резак, лезвие которого тоже было изъедено ржавчиной, как у его собственного, и потряс им перед лицом Серафена. — Тогда я бросился к нему и ударил, но промахнулся. Мы схватились. В какой-то момент ему удалось оттолкнуть меня к стене и, не оказавшись у меня под рукой вертела, мне бы ничем не управиться с Монжем. Ничем! В тот вечер он был словно кусок раскаленного железа. И даже когда я проткнул его вертелом, при последнем издыхании, Монж продолжал осыпать меня оскорблениями. Жизнь упорно не хотела уходить из его тела. Я ждал, что его черная душа вылетит, чтобы плюнуть мне в лицо, вцепится мне в горло своими призрачными руками, отравит ядом своих брызжущих ненавистью слов... А все потому...

— Почему? — спросил Серафен.

— Почему, почему! Все вы вечно спрашиваете, почему. Откуда мне знать? Должно быть, из страха. Видишь ли, одни наводят страх на других. После этого удара четверть века я сам не знал покоя.

— Почему?

Глаза Зорма убегали от взгляда Серафена, как шарик в ватерпасе, который пытаются установить вертикально.

— Монж меня не выносил, — буркнул он. — Считал, что приношу несчастье.

— Но почему моя мать? Мои братья? Почему я, раз вы говорите...

Зорм кивнул.

— Я вырвал тебя у него. Его резак был в каких-нибудь трех сантиметрах от твоей шейки. Он бы просто снес тебе голову.

— Но почему?!

Зорм ответил не сразу. Внезапно он насторожился, скосил глаза и прислушался. Серафену показалось, будто снаружи доносится гул мотора.

— Здесь на меня не рассчитывай, — проговорил Зорм. — Скажу только, что у меня было достаточно причин поскорее унести

оттуда ноги. Кто бы мне поверил? Одному, в окружении пяти мертвецов, при моей дурной славе да еще с вертелом и резакон, помеченным моими инициалами. Нужно было быть сумасшедшим, чтобы на это надеяться! Меня бы тотчас поволокли на эшафот под радостное улюлюканье толпы!..

Хрипы в его груди усилились, заглушая слова. Он продолжал после паузы:

— Тогда я выбрался из дома, пошел к колодцу и бросил туда оба резака. Я мог бы оставить резак Монжа. Не знаю, почему я швырнул его на дно.

— Мне сказали, что вы плакали, — прошептал Серафен.

— Кто это тебе сказал? — Зорм подскочил, словно его подбросило пружиной, и сел, привалившись к подушке. — Кто тебе сказал? — повторил он, в голосе его послышалась угроза.

— Какое это имеет значение? — пробормотал Серафен. — Я спустился на дно колодца. Я нашел то, что осталось от двух резаков. Но какое все это имеет значение?..

На этот раз Зорм не пытался уклониться от его взгляда, и Серафен увидел, что руки умирающего сжались в кулаки.

— Ты ошибаешься, — сказал он глухо. — Я не знаю, что такое слезы. Я боялся — а это совсем другое.

— Но кого вы могли бояться?

Зорм с трудом проглотил вязкую слюну. Его глаза опять избегали глаз Серафена.

— Ладно, — проговорил он, — я тебе все расскажу. А ты расскажешь жандармам. Так вот, той ночью, когда я шел к колодцу, я увидел троих мужчин, прятавшихся за грудой разбитых повозок. О, им казалось, они в надежном укрытии! Однако их резаки блестили в лунном свете, будто змеинная кожа в траве. Правда, лиц их я не разглядел, потому что они натянули сетки пасечников. Зато они должны были отлично рассмотреть мое. Не может быть, чтобы они меня не узнали. И я бежал, как жалкий трус. Я забился в эту дыру, затаился, с минуты на минуту ожидая появления жандармов. К счастью... к счастью, мне повезло и...

Он запнулся, подбирая слова.

— Гильотинировали трех невиновных, — закончил Серафен.

— Глупцы! Должно быть, они забрели в усадьбу на рассвете. Скорее всего, уже основательно под хмельком. Они увидели открытую дверь, что-то стащили — яйца, ветчину... У раковины как раз стояла бутылка водки: Монж держал ее наготове, чтобы наливать возчикам... Конечно, они не могли не заметить трупы! Но водка... бутылка подействовала на них, как приманка. Что с них возьмешь — дикари! Подбираясь к выпивке, они должны были перешагивать через трупы... Тебя они даже не заметили! Что ты хочешь...

Он проворчал какое-то ругательство по адресу казненных герцеговинцев. Серафен смотрел на его искаженное судорогой

землисто-серое лицо. Слова, слетавшие с этих бескровных губ, казалось, не имели ничего общего с преследовавшей его, Серафена, жуткой картиной.

— Я сказал — к счастью, — продолжал Зорм, — но кто знает? Уж лучше эшафот, чем столько лет постоянного страха. Тогда я не разглядел, кто эти трое. Мало ли что... Случайная женщина, попойка, когда море по колено и весело мочатся на крапиву... “Помните историю с Ля Бюрльер? Так вот, я знаю, что там произошло. И было все не так, как вы думаете...” Это ведь так легко, сорвется с языка — и пиши пропало... К счастью, здешний люд обходит меня стороной, даже смотреть избегают. Никогда, — сказал Зорм, — никогда и никто не смотрел на меня так, как ты...

Он умолк и снова прислушался. В наступившей тишине листва кипариса перешептывалась с ветром. Зорм откинулся на подушку.

— Уже поздно, — пробормотал Серафен.

— Ах, да! — сказал Зорм. — Ты ведь пришел, чтобы узнать. Думаешь, у меня будет время все тебе рассказать? Когда я увидел, как ты молотишь кулаками по камням, я понял, что ты не отступишься, перевернешь все плиты, чтобы докопаться до скрытой под ними тайны. С тех пор я ходил за тобой по пятам. Я ведь был в лавровой роце в тот день, когда ты говорил... говорил с дочкой Селеста Дормэра. И вечером, когда за тобой приходил брат Каликст. И тогда я понял, что все цепляется одно за другое, увлекая тебя к ложной истине.

— Так это вы звали меня той ночью?

— Да. И я пошел за тобой к источнику Сиубер, видел, как ты проводил рукой по тому месту, где точили резак и косы. Я понял: ты что-то узнал... Дни и ночи следил я за тем, как ты разрушаешь Ля Бюрльер. Я бродил среди развалин, после того как ты разобрал дымовую трубу, и увидел тайник, который ты обнаружил. Мне нужно было узнать, что ты нашел.

— Значит, ваше присутствие я почувал в моей кухне?

— Я сказал себе: “Когда он схватит их за глотку, они станут выкрикивать мое имя и поднимут визг, точно свиньи под ножом мясника. Они будут твердить это, пока он не услышит. И он придет. И тогда...”

— Я пришел, — сказал Серафен.

— Слишком поздно. Я умираю, а ты теперь знаешь правду. Но я не мог рисковать, что не успею тебе всего рассказать. И потом, ты мог мне не поверить...

— Еще могу.

— Подожди, если хочешь, чтобы я закончил. Так вот, я не мог рисковать. Я не знал, когда и как ты возьмешься за них. Когда я увидел, что ты направляешься в Понтрадьё, я поехал следом. Гаспар был первым. Во всяком случае, он это заслужил. Если эти трое не убили Монжа в ту ночь, то лишь потому, что я их опередил. Я оказал им славную услугу...

Зорм умолк. Его взгляд был прикован к одному из окон, занавеска на котором колебалась от сквозняка.

— Кто еще здесь? — проворчал он. — Я не ждал никого, кроме тебя.

— Это ветер, — сказал Серафен.

— Знаешь, это ты меня надоумил. Я видел, как ты поглаживал край бассейна, как будто находил его недостаточно гладким... И я видел также, как в тумане ты остановился перед мартельерой бьефа на мельнице Сепюлькра, а потом вернулся и заглянул в слуховое окно.

— Это, правда, все так... — прошептал Серафен.

— Да, — сказал Зорм, — но остальное-то сделал я.

— А Шармен? Вы забыли о Шармен. Потому что это ведь вы выпустили из вольера собак?

— Животные — не люди, — вздохнул Зорм. — Природа для меня — открытая книга. Я мог разговаривать с совами, барсуками... Представляешь, с барсуками! Они часами слушали меня, сидя на задних лапках. И уж тем более я умел говорить с собаками...

— Но Шармен ничего вам не сделала.

— Она меня видела. Правда, какую-то долю секунды... Ночью, в парке, она приняла меня за тебя и окликнула: "Серафен!"

Серафен почувствовал, как сердце замерло у него в груди и провалилось куда-то в пятки, потому что Зорм произнес его имя голосом Шармен.

— Вследствии она могла об этом вспомнить, — продолжал Зорм, — узнать меня при встрече... Я не мог рисковать. — Он усмехнулся. — Надо же, столько натворить, чтобы избежать смерти, и вот тебе...

Серафен отвел взгляд и, отвернувшись, отошел от постели. Ошеломленный, бродил он по огромной комнате. Так вот какова правда, принесшая столько зла! Человек в припадке безумия истребляет свою семью. У другого человека нет иного выхода, кроме как убить первого, чтобы спасти его, Серафена, лежащего в колыбели...

Он остановился перед занимавшим угол комнаты большим столом. Он говорил себе, что сам, будучи сыном убийцы и потомком преступников, не имеет права судить поступки других. Скелет, обнаруженный на дне колодца, давил ему на плечи, как будто он выволок наверх труп и таскал его теперь за собой.

Серафен стоял, тупо уставясь на этот огромный стол, где в диком беспорядке были свалены самые разнообразные вещи. Вероятно, они накапливались здесь не один десяток лет, иногда чистые, иногда покрытые пылью, отжившие свой век: посудины с песком для просушки чернил, часы с выпуклыми крышками, исцарапанными от небрежного обращения, гравюры, изображавшие религиозные сюжеты, при одном взгляде на которые делалось не по себе, выцветшие фотографии надменных женщин и

хитрых, сластолюбивых стариков, перочинные ножи, пуговицы от воротничков, потертые обручальные кольца, дамские зеркала, пряди волос в медальонах, митенки, монокли — как будто десятки людей вытряхнули на этот стол содержимое своих карманов, прежде чем отойти ко сну. Весь этот невообразимый вещный хаос венчала роза ветров, выгравированная на фаянсовой плитке, и секстант, привинченный некогда в корабельной каюте.

И, словно по контрасту с этим беспорядком, перед просевшим, набитым соломой креслом оставался довольно большой кусок свободного пространства. Здесь, на аккуратно вытертой поверхности были расставлены по высоте несколько причудливых флаконов, отливших мутно-радужным туманом, а перед ними — предмет совершенно неуместный в доме одинокого старика человека. Это была кукольная кровать из орехового дерева, с высокими точеными ножками и блестящими шариками в изножье и изголовье — точная копия настоящей кровати — роскошная игрушка, изготовленная, наверно, более века назад. Она стояла на пластинке из какого-то матового металла, по-видимому, свинца.

На кровати лежала кукла — фигурка около тридцати сантиметров в длину, грубо вылепленная из горшечной глины, с нескладным туловищем, тонкими ногами и длинными, словно у обезьяны, руками. Две маленьких выпуклости на торсе изображали груди, а между ними, погруженные в глиняное тело, торчали собранные в пучок семь галстучных булавок с камнями разных цветов. Овальная голова, немного склоненная набок, только формой напоминала человеческую — ни глаз, ни носа, ни рта. Посреди лба была воткнута еще одна булавка с насаженным на нее кольцом, которое покоилось на кукольной головке, точно диадема, расплющивая ее своей тяжестью. Вставленный в кольцо аквамарин концентрировал лучи заливавшего комнату заходящего солнца и отбрасывал свет в синие глаза Серафена.

Он уже видел это кольцо. Но где, при каких обстоятельствах? Серафен не припоминал, чтобы когда-нибудь интересовался кольцами, и, однако, оно было ему знакомо. Шармен? Нет. Шармен не носила колец. И вдруг его осенило.

— Мари!

Серафен увидел ее, нарядную, свежую, будто майское утро, как она сидит, болтая ногами, на краю колодца, куда он хотел ее столкнуть. Тогда Мари держалась рукой за один из прутьев железной арки, а на пальце у нее было кольцо — то самое, которое искрится теперь на утыканной булавками кукле.

— Мари!

Серафену вспомнились боязливые перешептывания людей, с которыми он сталкивался в последние дни и еще сегодня утром на рынке в Форкальке, эти слова предвещали беду: “Ма-

ри, дочь булочника из Люра... Говорят, у нее тиф... Ей кладут лед на голову... Ей сделали пункцию... Бедняжка долго не протянет... А жаль, такая красotka!"

— Мари! — прошептал Серафен.

Он сорвал кольцо с аквамарина и сунул себе в карман. Схватил глиняную куклу и раздавил в своих огромных ладонях. Иголки, которыми она была утыкана, вонзались ему в тело, но он не чувствовал боли — так же, как когда в него впивались клыки доbermanов, потому что им вновь овладела разрушительная ярость. Бешенство захлестнуло Серафена. Он швырнул останки куклы на пол и топтал их ногами, потом бросился к умирающему, опрокинув по пути табурет. Но тут послышались чьи-то легкие шаги, и Роз Сепюлькр загородила ему дорогу.

— Нет! — крикнула она. — Только не ты! Ты не должен его убивать!

— Отойди!

Серафен хотел схватить ее за запястье и оттолкнуть в сторону, но девушка легко увернулась и убежала к тому месту между стеной и опорой арки над очагом, где во всех деревенских домах — только руку протяни — хранятся ружья. Роз сорвала с гвоздя ружье, судя по тяжести, заряженное, и направила его в грудь Серафену. Она пятилась от него, шаг за шагом, а он, тяжело дыша, продолжал наступать.

— Остановись! — снова крикнула Роз. — Не делай этого, иначе будешь жалеть всю жизнь!

Он молча положил руку на ствол ружья.

— Выслушай хотя бы, что я тебе скажу! А потом делай, как хочешь, я не стану вмешиваться. Но все, что он тут наговорил, неправда! Мы были под окном — я и Патрис — и слышали. А еще мы были у тебя дома и нашли бумаги. Теперь мы знаем... Но ты не знаешь! Все не так, как ты думаешь. Ты не должен его убивать!

Серафен остановился. Ствол ружья уперся ему в живот, но не это заставило его остановиться. Он подумал, что перед ним дочь Дидона Сепюлькра, раздавленного жерновами. Она все слышала, следовательно, знает теперь, кто убил ее отца. Если она потребует у Серафена ареста убийцы...

Между тем Роз вздохнула и опустила ружье.

— Ты хотел знать правду, — сказала она. — Ты так давно ее ищешь... Так слушай!

— Молчи! — крикнул Зорм.

Нечеловеческим усилием он сел на постели, отбросив простыни и одеяло; было видно, что смерть уже обглодала это тело, так что его можно сразу класть в гроб.

— Ну уж нет! — воскликнула Роз. — Сейчас он получит свою правду!

Она подбежала к камину и концом ствола приподняла черную вуаль, скрывавшую одинокий портрет на мраморной пол-

ке. С поблекшей фотографии смотрело лицо молодой женщины. У нее были печальные глаза, левый немного косил.

Это зрелище потрясло Серафена больше, чем зияющее дуло, он попятился. Его охватила дрожь, огромное тело начало содрогаться, словно дерево под топором лесоруба. Он конвульсивно провел рукой по лицу, но портрет с чуть косящим взглядом светлых глаз был на прежнем месте — осязаемый, материальный. Его можно было взять в руки, повернуть, поцеловать в губы. Те самые губы, которые столько раз являлись ему в ночном кошмаре, желая сказать то, что Серафен упорно отказывался слышать, приоткрытый рот с мелкими зубками. Серафен услышал шорох мертвых листьев возле колодца.

— Моя мать... — прошептал он.

Роз взглянула на него с удивлением.

— Откуда ты знаешь? — спросила она. — Ведь ты ее никогда не видел!

Серафен покачал головой. Он ни с кем не мог разделить тайну, благодаря которой узнал лицо своей матери. Он начал догадываться, что именно она хотела ему сказать.

— Она была подругой моей матери, — заговорила Роз, — девушками они вместе ходили к первому причастию. Когда мама рассказывала о преступлении, она показала мне снимок, где они сфотографированы вдвоем — мама и Жирарда.

Серафен смотрел на креп, черным пятном выделявшийся на красных плитах перед камином.

— Моя мать... — повторил он.

— Теперь ты понимаешь? — мягко проговорила Роз.

Зорм упал на подушки. В его дыхании все явственнее прослушивался свист воздуха, выходящего из продырявленной волюнки.

— Она любила меня до того, как сделаться его женой, — прошептал он. — И я тоже. Но когда она поняла, что тот — просто грубое животное, было слишком поздно. Один раз, всего один лишь раз были мы вместе. А после ее смерти я уже не смотрел на других женщин...

— Все здесь это знали, — сказала Роз.

— Я не хотел, чтобы она лишилась уважения в глазах окружающих...

— Все! — повторила с нажимом Роз. — Моя мать мне так и сказала: дитя любви. Акушерка проговорила за пару часов до смерти. “Бедняжка Серафен, когда он родился, голова у него была точнехонько, как у Зорма. Ну, просто вылитый! Я не знала, как его держать, чтоб Юилляу не заметил...”

— Один-единственный раз! — прохрипел Зорм с тем звуком, с каким из бурдюка выходит последний воздух. — Я хотел сберечь ее доброе имя. Не хотел, чтоб о ней судачили. И потом, когда я увидел тебя... увидел тебя...

— Скажите же ему сейчас, когда вам уже нечего терять, почему вы убили моего отца и Гаспара Дюпена. Скажите ему правду, Зорм!

— Я не хотел, чтобы ты стал убийцей. Когда я нашел у тебя бумаги, которые ты обнаружил в тайнике, я понял, что ты собираешься делать... И тогда я сделал это вместо тебя. Я не мог открыть правду: твоя мать взяла с меня слово... Я хотел, чтобы в твоих глазах она осталась незапятнанной. И еще я хотел, чтобы хоть ты ускользнул от судьбы.

— Но Шармен...

— Нет. Она не узнала меня тем вечером в парке. Но я видел, как она приходила к тебе и взяла коробку из-под сахара. Таким образом, ты оказался в ее власти.

— А Мари? — прошептал Серафен.

— Забудь о ней.

— Нет! — воскликнул Серафен.

Он протянул к умирающему исколотые булавками, перепачканные кровью и глиной руки.

— Ей не повезло, — сказал Зорм. — На свою беду, она разглядела меня в тот день, когда я застал у тебя Шармен. Даже в бреду она не перестает повторять: “Я его видела... я должна рассказать...” И потом... я подумал, что вместо ее отца, который слишком осторожен... хватит и дочери... Что после разорения и траура, в который погрузятся три семьи, ты наконец успокоишься...

В последнем усилии он приподнялся на локтях и устремил на Серафена свой еще полный жизни, сверкающий взгляд.

— Теперь ты доволен, Ангел Мщения?

— Он заговаривается... — прошептала Роз.

— Слишком поздно... Мари умрет... У меня не хватит сил воротить сделанное...

Зорм упал на подушки, с губ его сорвалось какое-то бормотанье. Позже Роз клялась, что ей удалось разобрать слова: “Я мог бы еще... пальцы...”

— Отец! — Серафен отстранил девушку, попятившуюся на несколько шагов, и склонился над кроватью. Зорм лежал, вытянувшись, и плоть медленно опадала под чертами его лица, расплываясь по костяку проступавшего черепа. Невидящие глаза были широко раскрыты.

— Ты не создан, чтобы карать, — мягко сказала Роз.

Серафен отвернулся. Он чувствовал себя еще более разбитым и подавленным, чем когда вернулся с фронта, оставив позади столько смертей. Но имя Мари служило ему путеводной звездой.

Проходя мимо камина, он взглянул на портрет своей матери. Рука его поднялась, словно он хотел погладить это лицо, но жест остался незавершенным. Чары развеялись.

Когда Патрис увидел его выходящим из дома, черты Серафена хранили свою обычную неподвижность. Из деликатности

Патрис его не окликнул. К тому же он не мог помешать себе быть счастливым. Он начинал видеть свое изувеченное лицо глазами Роз, ее любовь исцеляла его. А счастливые эгоистичны.

Что до Серафена, он смотрел на Патриса, не видя его. Он вскочил на свой велосипед и помчался что было духу, не оборачиваясь назад.

Вот уже неделю обитателям Люра приходилось есть плохо пропеченный хлеб. Селеста было не до работы. И люди его не осуждали. Они говорили: "Что вы хотите, когда его малышка в таком состоянии? — Ей хуже? — О, совсем плохо! Она попросила, чтоб ей принесли часы и колыбель. — Какие часы? И при чем тут колыбель? — Ах, нет смысла объяснять! Вы все равно не поймете..."

Когда Серафен вырос на пороге пекарни, загородив собой весь проем, держа под мышкой роковую коробку из-под сахара, Селеста сидела, навалившись на разделочный стол, уронив перед собой белые от муки руки. У него не было сил даже начать месить тесто. Он чувствовал, как в его жилах пульсирует лихорадка, сжигавшая тело Мари.

Когда он осознал, что кто-то стоит в дверях, закрывая доступ остаткам дневного света, он поднял голову и сделал слабое движение по направлению к ружью. Но рука его упала. К чему все это? Какой смысл спасать свою жизнь, если Мари должна умереть?

Серафену пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы пройти в узкую дверь.

— Не стоит, — сказал он, увидев нацеленное ему в живот ружье. — Я знаю, кто убийца моей матери.

— В самом деле? — пробормотал Дормэр.

Теперь эта давняя история казалась ему не имеющей никакого отношения к его жизни, словно приключилась с кем-то другим, будто ему ее рассказали, а он выслушал без особого внимания.

— Зорм умер, — сказал Серафен.

— А, хорошо...

Селеста немного повертел в мозгу эту новость, которая объявилась слишком поздно. Еще неделю назад он выбежал бы на улицу, пьяный от радости, с трудом подавляя желание кричать во всю глотку: "Зорм умер!", но теперь, на фоне обрушившегося на него несчастья, этот факт едва дошел до его сознания.

— Но тогда, если Зорм умер, быть может, я могу рассказать тебе правду?

Серафен кивнул.

— За этим я и пришел.

Селеста смотрел прямо перед собой на белый свод пекарни.

— У тебя не найдется сигареты? — спросил он. — Я оставил свои на прилавке в булочной.

Серафен молча свернул самокрутку. Смешанный запах табака, муки и сосновых веток, сваленных на антресолях, казалось, придал несчастному булочнику немного бодрости.

— Когда мы в ту ночь подошли к Ля Бюрльер с резаками в руках, — начал он, — Зорм как раз выходил оттуда. Лицо у него было жуткое и пальцы в крови. Он пошел к колодцу, а потом уехал на дрезине. Тогда мы заглянули в дом. Внутри все было залито кровью, как на бойне... Даже в воздухе стоял кровавый туман... Об остальном не спрашивай. Мы ушли через плато Ганагоби, каждый в свою сторону, и потом избегали друг друга. Если нам случалось столкнуться на улице, мы спешили свернуть в боковой переулок. С тех пор я не знал покоя. Думаю, те двое тоже, до самой смерти. Все боялись Зорма.

— Кстати, насчет мертвецов, — вставил Серафен, — это сделал Зорм. Он тоже вас боялся.

— Так, значит, это не ты?

— Нет. Я хотел. Но он меня опередил.

— Ах, мы боялись не только Зорма... Было еще правосудие. Даже когда гильотинировали тех троих, я продолжал чувствовать у себя на шее нож гильотины. Ночами я вскакивал, точно подброшенный пружиной, и слышал, как падает лезвие, со свистом рассекая воздух. — Он помолчал несколько минут. — Мой отец сказал мне перед смертью: “Селеста, запомни, сынок, если у тебя возникнет какая нужда, обратись к Фелисьену Монжу. Он не сможет тебе отказать. Слышишь? Не сможет...” Я понял, что это какая-то старая история, еще между нашими дедами. Не знаю, в чем там было дело...

— Я знаю, — сказал Серафен.

— А! Тогда я могу тебе рассказать. Я слышал об этом от одного старика из Вильнев, он умер почти в столетнем возрасте. Он рассказал мне, но тогда я не поверил.

— Спуститесь в колодец Ля Бюрльер, — сказал Серафен, — и убедитесь сами.

— А! Что ты хочешь? Так уж здесь повелось: если желаешь пробиться в жизни, нужно чуток подтолкнуть счастливый случай...

— А как же! — вздохнул Серафен.

— Так вот, — продолжал Селеста, — когда возникла нужда, Монж не сказал “нет”. Ни мне, ни Дидону, ни Гаспару. Только каждый год мы, трое, встречались в день св. Михаила перед воротами усадьбы Ля Бюрльер. Двадцать три процента! В один прекрасный день мы взбунтовались, мы больше так не могли. Нам пришлось жениться на безобразных наследниках, чтобы получить хоть какие-то гроши. Но, — добавил он, качая головой, — как мы ни храбрились, оказалось, задуманное нам не

под силу. Когда мы увидели всю эту кровь, нас чуть наизнанку не вывернуло, мы цеплялись друг за дружку, будто пьяные... Да еще ты кричал в колыбели!

— Вы знаете, что Монж не был моим отцом?

— Увы.

— Я не имею права даже на имя, которое ношу, — с горечью сказал Серафен.

Он протянул булочнику коробку из-под сахара, украшенную бретонским пейзажем с придорожным распятием.

— Здесь ваши расписки Монжу, можете их сжечь. А под ними — золотые монеты. Это для Мари. Отдадите ей, когда она поправится.

— Поправится... — пробормотал Селеста. — Поправится...

Внезапно он уронил голову на руки и разрыдался.

— Она умрет! — простонал он. — Доктор сказал, и недели не протянет!

Серафен поднялся и положил руку ему на плечо.

— Вы отдадите ей золотые, когда она поправится, — повторил он с нажимом. И добавил с грустью: — Чтобы она простила меня, если сможет, за то, что я вторгся в ее жизнь.

Удивленный булочник поднял голову. Он чувствовал рядом дыхание человека, которого так боялся, с чьим образом были связаны самые мрачные воспоминания в его жизни. Странно, но теперь рука Серафена на его плече ощущалась им как защита и покровительство. Селеста машинально открыл коробку. Вот она расписка, которая отравила ему жизнь, состарила раньше срока и едва не погубила, как двух других. Сейчас это просто ничего не значащая бумажка. Под сложенными долговыми обязательствами сонно поблескивали монеты, сияние их было мирным и теплым, как будто ничего не случилось.

— На них еще больше крови, чем на бумагах, — сказал Серафен.

— Но... А ты? — растерянно пробормотал Селеста.

— Я? На что они мне?

— Ну, ты мог бы... Так что ты собираешься делать?

— Я хочу увидеть Мари.

Серафен повернулся к булочнику спиной и, пригнувшись, вышел через низкую дверь на пустынную улицу. Была уже глубокая ночь. Откинув занавеску из шариков, заменявшую внутреннюю дверь в булочной, он увидел за прилавком плачущую Клоринду.

— Я пришел повидать Мари, — сказал Серафен и, не дожидаясь ответа, тяжело ступая, поднялся по узкой лестнице, в жилые комнаты. Из полуоткрытой двери, за которой горел ночник, на него пахнуло жаром, удушливым запахом болезни. Серафен толкнул створку.

“Я сидела подле Мари, — рассказывала потом Триканот. — Обернулась и увидела его. Он был — как бы это вам сказать? —

весь окружен ореолом гнева. Я видела, что он дрожит, словно ивовая ветка. От него пахло камнем, чревом земли, опавшими листьями, потоком — чем угодно, только не человеком. Тогда я встала и тихонько вышла. Я оставила их одних, как молодых в брачную ночь”.

Теперь Серафен был наедине с Мари.

Девушка лежала, стиснув кулаки, точно боролась с кем-то или чем-то. Даже сейчас чувствовалось, что где-то, в самой глубине ее существа, собрана в тугой комок огромная сила, не позволяющая окончательно вырвать жизнь из этого тела, не желающая поддаваться смерти, но готовая сражаться до последнего вздоха, в жестокой и отчаянной схватке.

За время болезни Мари страшно исхудала, под одеялом лишь смутно угадывались очертания ее иссохшего тела. Передешие волосы слиплись, обнажая выпуклый лоб и слегка оттопыренные уши. Глаза были открыты, беспокойные, настороженные, готовые в любую минуту закатиться. Дыхания почти не ощущалось, но при каждом слабом вздохе комнату наполняло невыносимое зловоние. Пальцы, скрюченные, будто у скупой старухи, судорожно скребли одеяло, быстрым движением прядущего паука.

Серафен огляделся. Он увидел безделушки саксонского фарфора, аккуратно расставленные на мраморной доске комода, и без особого удивления обнаружил в изножье кровати свою колыбель, а в ней — точно уродливого младенца — часовой механизм, который она когда-то вырвала у него в Ля Бюрльер, чтобы увезти с собой.

В изголовье больной стоял мягкий стул с обивкой в желтую и зеленую полоску — такие являются предметом роскоши у здешних небогатых людей. Серафен развернул стул перпендикулярно кровати и опустился на него, сдерживая дыхание. Он протянул руки к скрюченным костлявым пальцам и крепко сжал их в своих ладонях. Он почувствовал жар под холодной, шелушащейся кожей, что-то злобно противилось его усилию, будто острые кошачьи когти впивались ему в тело. Но вот напряжение спало, теперь это были просто бедные, покорные, измученные болезнью руки, и они говорили Серафену то, что не могли сказать губы Мари.

Он поднял глаза к распятию и вазочке с веточкой освященного букса, взгляд его был полон тревоги и немного вопроса.

Мир вокруг погружался в ночь, и Серафен наедине с умирающей Мари чувствовал себя жалкой соломинкой, сил в которой осталось не больше, чем у распростертого перед ним тела. Но он упрямо не выпускал ее рук. Теперь на ней сосредоточились все его мысли, сочувствие и сострадание, и постепенно Серафен начал улавливать слабое, еще бесконечно хрупкое дыхание, едва приподнимавшее одеяло, словно на груди у девушки лежала мраморная плита.

Окно спальни выходило на север, и сменявшие друг друга часы отмечались на черном небе движением Большой Медведицы, которая пятилась, отступая за горы. Но пока холмы и деревни, где мерцали редкие огоньки, лежали, объятые сном, и пройдет еще немало времени, прежде чем они пробудятся под улыбающимся солнцем.

Серафен не отводил глаз от распятия, расположенного на одной линии с окном. Он не позволял себе усомниться, но испытывал страх при мысли, что жалкий медиум не сумеет передать весь жар этой внутренней молитвы.

Ночь напролет боролся он со смертью тем единственным оружием, которое было в его распоряжении.

Иногда дыхание замирало на губах Мари, и, казалось, что девушка испустила последний вздох; пульс ее беспорядочно частил, будто жизнь пыталась ускользнуть, бежать навстречу настоящему призыву. Тогда он крепче сжимал бесчувственные пальцы в теплом гнезде своих ладоней, всеми силами поддерживая битву Мари. Но вот возок Большой Медведицы перевалил через отроги Грайи, и голова Серафена опустилась на грудь; он продолжал держать руки Мари в своих, однако теперь ладони его раскрылись, словно чаша, — поверженный усталостью, он засыпал, забывался...

Его разбудило ощущение появления чего-то нового в этой комнате. Беспорядочный пульс сменился размеренным движением часового механизма, он бился глухо, но ровно, и паузы лишь подчеркивали его величественный ритм.

Серафен поднял взгляд к лицу Мари. Глаза у нее были открыты, и она улыбалась. Жизнь возвращалась к ней с каждой минутой. Заострившиеся черты разгладились, округлившиеся щеки покрыл легкий румянец.

Чтобы девушка не чувствовала запаха смерти, Серафен распахнул окно навстречу свежему утреннему ветерку, и Мари поблагодарила его долгим вздохом.

Вернувшись к ней, он достал из кармана кольцо с аквамаринном и надел ей на палец.

Потом Серафен приложил палец к губам и вышел, пятясь, на цыпочках. Он спустился по лестнице. Клоринда сидела все в той же позе, уронив на руки растрепанную голову. Серафен тронул ее за плечо.

— Ступайте к дочери, — сказал он. — Она будет жить.

Он вышел на залитую солнцем улицу, не заметив Триканот и маркизы де Пескайре, двух старых женщин, которые пожирала его взглядом сквозь полуоткрытую дверь.

Он вывел свой велосипед и покатыл вдоль улочки. Четыре кипариса жалобно гнулись под ветром по краям ровной и чистой площадки, где стоял исчезнувший дом, который не был его родным домом. Серафен бросил последний взгляд на колодец и бассейн для прачек. Никогда больше мать не придет

навестить его. Чары развеялись, облетев, будто осенние листья.

Впереди лежала самая тяжелая из дорог — дорога повседневной жизни.

Серафен, не оборачиваясь, нажал на педали...

Я пересек Дюранс, которая не поет больше, перегороженная запрудами. Я вошел в деревушку, которая продолжает тихо стареть под скорлупой своих крыш, на затененных улочках, укрытых от солнца.

У первого встреченного старика спросил о Мари Дормэр. Теперь она носила другую фамилию, но, как старожил, он должен был знать, о ком речь.

— Ступайте мимо колокольни позади церкви. Первая улица направо. Там вы увидите дом с увитой зеленью беседкой и балконом. В это время Мари обычно выходит подышать воздухом.

Домик утопал в цветах, окруженный фуксиями, бегониями и геранью. Все это, заботливо ухоженное, говорило о мирной жизни и душевном спокойствии хозяйки. Мари с зеленой лейкой в руках как раз кончала поливку. Потом со складным стулом и вязаньем под мышкой она спустилась по ступенькам, тяжело переставляя опухшие ноги, и устроилась наполовину на солнце, наполовину в тени.

Теперь ей должно было быть около восьмидесяти двух лет, потому что в то ясное утро после ухода Серафена я оставил ее восемнадцати- или девятнадцатилетней. Я знал, что она вышла замуж за обычного человека, у которого, подобно ей, было счастливое детство. Они вырастили нескольких детей, разлетевшихся со временем, как это нынче модно, по свету. В итоге Мари доживала свой век одна, сидя перед дверью дома на складном стуле, и смотрела на спешивших мимо прохожих сквозь большие очки, какие носят люди, перенесшие операцию по поводу катаракты.

Прошлое, в котором она жила, погребено сейчас под спудом времени. Помнит ли она еще о нем? Как знать? Глаза, из которых удалили хрусталик, не могут больше выражать ни сожаления, ни меланхолии. Они остаются вечно смеющимися.

Мари что-то ловко вязала. Она поднялась мне навстречу, и я увидел, как блеснул аквамарин в кольце, которое шесть десятилетий назад Серафен надел ей на палец. Рука хранила следы прожитых лет, но камень и кольцо остались такими же, как в тот день, когда Селеста и Клоринда выбрали подарок к восемнадцатилетию своей малышки.

— Ах, так это вы хотели увидеть! — сказала Мари.

Она отложила вязанье и пошла впереди меня, чуть прихрамывая, но все же бодро. За дверью, затянутой сеткой от мух, была чистенькая деревянная лестница, по которой мы

поднялись на второй этаж. Дом содержался в идеальном порядке. В комнатах пахло ореховой настойкой и мастикой для полов.

Мари проводила меня в столовую, обставленную массивной мебелью. И я сразу же увидел часы. Механизм поместили в красивый, светлого дерева, футляр, украшенный цветочной росписью. На циферблате изящной вязью была выведена фамилия мастера: Combassive, Abries-en-Queyras.

— Идут минута в минуту! — с гордостью сказала Мари. — И вот! — она указала рукой на колыбель, стоявшую между часами и тяжелым столом в стиле Генриха II. Под ней был красный коврик, а внутри — два вазона с роскошными аспидистрами. У изголовья блестела звезда Верхних Альп, покровительница и заступница, которая царит над этими суровыми долинами.

— Я уверен, Мари, что сердце ваше также никогда не ошибается и ясно, как этот аквамарин, который так вам к лицу. Так скажите мне: вы знаете, кем на самом деле был Серафен?

— Ах! — воскликнула она. И после паузы: — Вот вы зачем пришли! И для этого мы должны были увидаться наедине?

Я кивнул.

— А разве сам он знал, кто он такой? Не раз... не раз казалось мне, что он заблудился на этой земле и кричит: "Освободите меня!" Как вы хотите, чтобы я, простая девушка, могла его удержать? Он ушел, уехал... А меня в двадцать лет выдали замуж. Муж мне достался, какого только поискать... Добрый, как хлеб. К тридцати годам у нас было уже четверо ребятишек. Вот так-то. В конце концов я узнала, что Серафен, меряясь силами с тридцатиметровыми соснами, таки добился своего. Великан против великана, но дерево одержало верх. Оно его раздавило. По крайней мере так сказал мне продавец груш из тех краев, где это случилось, когда я покупала у него фрукты на зиму. И еще он сказал: "Его похоронили в Аншастрей на старом кладбище под колючими кустами. То есть, я так думаю, что это был он". И когда умер мой бедный муж, мне захотелось съездить в Аншастрей. Я решила поставить хотя бы камень на его могиле, чтобы люди знали: кто-то о нем помнит. Тогда каждый год, 1 ноября, я отвозила бы ему цветы. Для меня это было бы, как прогулка. Вы бывали в Аншастрей? Это чудесное место, особенно осенью...

Я стала искать старое кладбище... Колючие кусты... Я встретила двух стариков, собиравших грибы; они жили там с незапамятных времен. Я описала им Серафена. Они порылись в своей памяти, посоветовались друг с другом. Припомнили всех рослых силачей, которых перевидали на своем веку. Но нет. Я ошибаюсь. Если это тот, о ком они думают, он вовсе не похоронен на старом кладбище. Скорее ваш Серафен погиб в лесу во время обвала в двадцать восьмом. Там он и остался. Ну да! Представьте себе: сотни тысяч кубометров камня, кто бы там

что мог найти! С тех пор на месте обвала успели вымахать двадцатиметровые сосны. И следа не осталось. Только большой шрам на горе в форме креста. Если ваш великан должен где-то быть, он там. И не нужно ему никакого камня — над ним и так сколько угодно камней...

— Но, Мари, вы говорите о том времени, когда его больше не видели. А раньше? Когда он жил рядом с вами?

Она глянула на меня так, словно я был непроницаемым оракулом, которому известны все тайны мира. Она глянула на меня так, словно хотела убедиться, что и ее тайна останется неразглашенной.

— Это было в ночь, когда он меня спас, после того как днем ходил на рынок в Форкалькье, спускался в колодец и присутствовал при смерти Зорма. Всю эту ночь напролет, сидя подле меня на стуле, он сражался со злом. И тогда я вдруг проснулась. Исцеленная. Его дыхание на моем лице пробудило меня. Он дышал, словно кузнечные мехи. Я будто вдыхала ветер с гор... Он сидел рядом, наклонив голову, согнув спину, мои руки лежали в его ладонях... и его ладони были раскрыты. Беззащитны, как две половинки разломленного граната. Помните, всегда — даже, когда его порвали собаки! — он держал их сжатыми в кулаки? А в эту ночь я осторожно высвободила свои руки и взглянула на его ладони... Так вот: они были девственно гладкими, на них не было линий! Потому-то у него и не могло быть жизни.

Еще и сейчас, шестьдесят лет спустя, Мари задохнулась, рассказывая об этом.

— Потом, оправившись от болезни, я звала его, кричала его имя всем ветрам. Родные боялись, как бы я не повредилась в уме. Но где мне было его искать? Когда он надел мне кольцо и вышел, приложив палец к губам, я думала, он вернется... А что подумали бы вы на моем месте? Триканот ходила за мной и трясла, как сливовое дерево. "Забудь его, дуреха! — кричала она. — Разве это человек? Да у него тело из пепла!" И я тогда ответила: "Я знаю это лучше, чем вы. Ну и что? Вы думаете, это помешает мне его оплакивать?"

... Вот что, среди прочего, рассказала Мари...

И тогда, чтобы никто, кроме меня, не учуял правды, мне осталось только убить ее. Что я и сделал. Мари мирно скончалась в ту же ночь, в полном одиночестве, в своей мягкой постели.

Ее дети, торопившиеся поскорей вернуться в свои Америки, продали обстановку красивого домика. Часы и колыбель Серафена приобрел антиквар из Форкалькье, державший магазинчик на площади Сен-Мишель. Эта лавка существует до сих пор, привлекая покупателей своей витриной, и, думаю, часы и колыбель занимают там почетное место.

*Перевод с французского
Татьяны КУДРИНОЙ.*



Оливер Кромвель

По портрету работы Р. Уокера,
гравировано Пельгамом в 1723 г.

Благочестивый узурпатор

Когда в начале прошлого века в Англии был спущен на воду новый линкор, военно-морское ведомство страны решило дать ему название "Оливер Кромвель". Но против этого резко возразил тогдашний король Англии Георг V. Его мнение учли: для британской короны нет более ненавистного имени, чем Кромвель, у нее давний, непримиримый счет к нему. Линкору дали другое название... В то же время непреложен и такой факт: у входа в палату общин в Вестминстере много лет назад был установлен (и вряд ли под аплодисменты королевской семьи) и поныне стоит строгий, величественный, потемневший от дождей и туманов памятник Оливеру Кромвелю (1599-1658 гг.), творцу и защитнику парламентских свобод в Англии.

Столь противоречивое отношение к нему возникло с самого начала английской революции XVII века, вождем которой Кромвель был. Событие это имело далеко идущие последствия для Европы и мира в целом. В середине XVII века в Англии, где, собственно говоря, парламентаризм как таковой и зародился, столкнулись две главные силы: король Карл I Стюарт, с его упрямым стремлением восстановить в стране абсолютизм в полном объеме и палата общин, вынужденная для защиты своих прав создать собственную армию во главе с депутатом от одного из сельских округов страны Оливером Кромвелем. Несколько лет кровопролитной гражданской войны за-

кончились свержением монархии и провозглашением республики — во главе с тем же Кромвелем...

Именно о таких непростых личностях, как он, знаменитый французский историк Ф. Гизо, посвятивший английской революции многолетний труд, напишет: “Люди, которых Бог избирает орудием своих великих предназначений, обыкновенно полны противоречий и таинственности; он дает им и совмещает в них, в глубоко затаенной пропорции, достоинства и недостатки, здравые мысли и заблуждения, величие духа и слабости, и эти люди, озарив современный им мир блеском своих дел и судьбы, сами остаются под покровом своей славы, неведомыми для всех, то благословляемые, то проклинаемые не знающим их человечеством...”

Вот одна из исторических головоломок, которые оставит нам после себя Кромвель: он возглавит революцию, сам не будучи революционером в общепринятом смысле слова. Судите сами. Его детство и юность прошли в тихом английском городке, со всех сторон окруженном полями, осушенными от болот, торфяниками и вересковыми пустошами. Большое влияние на Оливера оказал его отец, небогатый землевладелец (сквайр), по религиозным убеждениям протестант и пуританин. Кромвель вырос сыном, достойным отца: став взрослым, он не курит, не пьет, скромен в пище и одежде, не участвует во всякого рода веселых гуляниях, не был замечен в супружеской неверности. Как большинство протестантов тех времен, он с предубеждением и даже враждебностью относится к католикам (его школьный учитель, тоже оказавший на него сильное влияние, сочинит книгу, объявлявшую папу римского... дьяволом), сторонится общения с теми, кто беден, считая, что во всех своих бедах они повинны сами и, прежде всего, их лень. И вот таким богобоязненным и благочестивым он (за редкими, но, как мы увидим далее, весьма красноречивыми исключениями) останется до конца жизни... Свои идеалы Оливер черпает главным образом из Библии, но не столько из Евангелия, более близкого новым временам, проникнутым духом всепрощенчества, а из Ветхого завета с его преданиями патриархальной старины, проповедью сурового аскетизма и грозными пророчествами. История полна примеров, когда революционеры начинают с легкого недовольства жизнью, а заканчивают яростным неприятием и тотальным разрушением общественных устоев. Кромвель же, как политик и государственный деятель, дальше идеалов умеренного английского обывателя той эпохи так и не пойдет. У него, строго говоря, не было стройной системы взглядов на жизнь, он чаще всего руководствовался инстинктом и интуицией английского “третьего сословия”, отличавшегося фанатичным упрямством в отстаивании гражданских свобод и права на собственность.

Так, Кромвель, едва избранный в палату общин, в одном из своих первых выступлений требует от королевской власти освободить из Тауэра лондонского мастерового Джона Лилберна, угодившего в тюрьму за то, что требовал для всех англичан равных политических прав. Выпущенный на свободу, Лилберн возглавит движение левеллеров ("уравнителей"), станет другом, соратником, а впоследствии непримиримым противником Кромвеля. На первых порах Кромвель-депутат редко отваживается выступать, предпочитая с подобострастным видом слушать златоустов парламента. Но однажды этот рослый, неуклюжий, длинноволосый провинциал в темном, мешковато сшитом платье всех сильно удивит тем, с каким негодованием он возразит против попытки одного депутата взять под защиту интересы церковных иерархов.

— Ваша честь! — обратится Кромвель к спикеру палаты прямо с места, что в те времена считалось предосудительным. — Чем защищать епископов, не лучше ли задуматься, зачем они нужны вообще? Мы, протестанты, в своих молитвах к Богу можем обходиться без них...

Тогда он и будет замечен, как оратор, для которого соблюдение проформы — не главное. Нет, он знает, что хочет сказать, но, выступая, словно бы спускает с привязи свои страсти и нервы: кричит, захлебывается словами, притопывает, допускает непарламентские выражения. В недалеком будущем, когда к праву говорить от имени избирателей он добавит право меча, неистовости в нем не убавится. Слушая его, одни депутаты узреют в нем человека, на которого можно сделать ставку в борьбе с королевским произволом, в других он заронит надежду, что лучшего защитника слабых и угнетенных, чем он, не найти. Сбудутся ли ожидания тех и других, мы увидим...

А пока отметим такое качество Кромвеля, как его смелость. Никто в палате общин так открыто и с таким неподдельным возмущением не говорит о попытках короля навязать стране новые налоги, никто с такой решимостью не призывает людей братья за оружие, когда королевские войска своими демаршами стремятся взять парламент на испуг, чем он. Это ему первому приходит в голову мысль противопоставить угрозам короля силу в виде отборных отрядов граждан, за что благодарная палата ему, сугубо штатскому человеку, присвоит воинское звание. Когда дело дойдет до открытого столкновения с королевскими войсками, отряды граждан за счет добровольцев быстро перерастут в батальоны, полки и, наконец, в небольшую, но сплоченную, дисциплинированную армию, состоящую из тех же донельзя упрямых и благочестивых, что и Кромвель, пуритан. В отличие от солдат короля, его ополченцы не мародерствуют, не грабят местное население. ("В деревнях, куда приходят солдаты Кромвеля, все пры-

гают от радости и присоединяются к ним”, — сообщает летописец.) Обратив в бегство противника, “круглоголовые” (так в ту пору называли в Англии пуритан) располагаются на отдых, молятся перед принятием пищи и после, а затем, достав из нагрудных карманов книжечки с главными христианскими заветами, углубляются в чтение.

На глазах у притихшей от изумления Европы дотоле неизвестный Кромвель со своими “круглоголовыми” устраивает разгром за разгромом дворянским полкам Карла I, состоящим чуть ли не из одних потомков легендарного Ричарда Львиное Сердце. Конечно, у палаты общин есть и другие полководцы. Но Кромвель — особенный. Он выигрывает, казалось бы, заведомо проигранные сражения. (Благодаря чему делает головокружительную карьеру от капитана до генерал-лейтенанта.) Его невозмутимое поведение в бою наводит ужас на противника и вызывает прилив отваги у его солдат. Устремляясь в атаку, как правило, первым, Кромвель вместе со своими кавалеристами распевает божественные псалмы (к примеру, такой: “Боже, царь мой, с Тобой избодаем врагов наших!”), случается, он падает с убитого под ним коня, тут же оседлывает другого, громко подбадривает своих (“Во имя Твое попрем восстающих на нас!”). Но как только видит, что противник в полном смятении отступает, приказывает трубить отбой. Кромвель не любит проливать крови больше, чем необходимо. Он хочет одного: чтобы король считался с волей парламента и заодно с ним, Кромвелем...

Всех его выдающихся качеств и талантов нам не перечислить, укажем лишь на главные. Он проявит себя не только блестящим полководцем, но и реформатором, дипломатом, стратегом. При нем Англия, еще вчера третьеразрядная держава, приобретет статус великой. Его уже при жизни, в глаза и за глаза, называют великим человеком. Он поднимется на самую высокую ступень власти и в зените славы умрет собственной смертью, что в те времена с людьми такого масштаба как он случалось редко.

Но рано, право, рано ставить точку в нашем рассказе об Оливере Кромвеле...

Со временем его имя приобретет нарицательный смысл. В Англии и по сей день говорят: “Каждый самому себе Кромвель”. Говорят, когда хотят напомнить собеседнику, что всем нам когда-то будет воздано на небесах по заслугам, но пока мы живем на земле, наш главный судья — мы сами, наша совесть... Интересно, а как выглядит в свете этой поговорки, связанной с его именем, сам Кромвель? Что он думал о самом себе? Как соразмерял свои поступки со своей совестью?

Надо признать, это нелегкие вопросы. В самом деле, почему он, один из миллионов, называвший себя “простым джент-

льменом”, решит, что имеет право и даже обязанность вращать людскими массами, точно строительным материалом истории, поворачивать руль государственной машины по своему усмотрению? Он обладал большим самомнением? Стремился к власти? Сам он это в течение всей жизни упорно отрицает, называя себя “рабом Божиим”, сыном своего народа, слугой парламента. А как было на самом деле?

Говорят, в детстве он жил в комнате, увешанной гобеленами с впечатляющими сценами Страшного суда и злобным ликом сатаны. Еще утверждают, будто бы в раннем детстве к нему явится некто и сообщит, что ему предназначено исполнить великую миссию и совершить много богоугодных дел... Скорее всего, ничего такого не было, но, как подмечали близко знавшие Кромвеля люди, его всю жизнь преследовало то, что психоаналитики называют идеей провидческого поручения. Вот одно его характерное признание, явно не рассчитанное на широкую публику — оно сделано им в частном письме своей родственнице задолго до того, как он станет первым лицом в стране: “Вы знаете, какой я вел образ жизни. (Речь идет о коротком периоде жизни, когда он, выйдя из-под опеки отца, вел разгульный образ жизни, ухаживал за женщинами, посещал театр — И.З.). О, я жил в темноте, и мне это нравилось, я ненавидел свет. Это истина: я ненавидел благочестие, и все же Бог простил меня. О, как велико его милосердие! Господь примет меня в свои сыновья и даст мне возможность быть просветленным, таким же(!) просветленным, как Он!”. Но уверенность в том, что он наделен Божьей благодатью, у него поразительным образом сочетается с отрицанием своего превосходства над остальными людьми. Так, ни одну из блестящих побед, одержанных под его руководством, он не считает своей личной заслугой. “Таким образом, вы видите, что Бог работает на нас”, — так он объяснит своим солдатам очередную победу. О своей самой громкой победе над королевскими войсками он пошлет спикеру палаты короткий рапорт: “Сэр, это не что иное, как рука Божья, и Ему одному принадлежит слава!” Конечно, все эти слова можно было бы считать проявлением скромности, которая паче гордости. Но Кромвель и все свои поражения приписывает воле Провидения! Самого себя же он согласен признать лишь орудием высшей силы, не более.

Он состоит как бы из одних крайностей. С одной стороны, смел до безрассудства, ни перед кем не робеет, человек не ахти какой образованный, не обученный тонким манерам, он разговаривает как равный (и даже несколько свысока) с принцами, лордами, иностранными дипломатами. С другой стороны, самые близкие люди знают, что он может быть другим, порой — полной противоположностью самому себе: осторожным, нерешительным, мнительным. Еще вчера могучий, грозный, способный ударом меча выбить из седла королевско-

го драгуна, он сегодня, весь черный от меланхолии, ни с кем не хочет видаться и разговаривать. Генерал-лейтенант испытывает почти что животный страх перед смертью. Причем чувство того, что она вот-вот придет за ним, овладевает Кромвелем, когда (так, по крайней мере, считают врачи, близкие люди) его жизни ровным счетом ничего не угрожает. Впоследствии историки и биографы подметят закономерность, что подобные состояния у него возникают, как правило, в канун принятия ответственного решения, которое, кто знает, может оказаться для него роковым. Похоже на то, что он, задумав что-то, как бы загодя переживает муки и позор возможного поражения. И вот, словно смирившись с ним, он неожиданно для всех выздоравливает, вновь кипит энергией и из всех возможных решений принимает самое смелое и мудрое. Может быть, имея в виду эти перипетии внутренней борьбы, он произнесет однажды загадочную фразу: "Я могу вам, господа, сказать, чего я не хочу, а чего хочу — нет". Бывают дни, как, например, перед свержением монархии, когда его просто не узнать, он напоминает хищную птицу, издающую победный клёкот. Кромвель то и дело берет слово в палате и, по словам очевидца, "жук-светляк сверкал в его клюве, он начинал плевать огнем". "Я говорю вам, — завораживая аудиторию своей демонической страстью, вещает он с высокой трибуны, — мыотрежем королю голову вместе с короной!" (Рассказывают, будто в детстве Кромвель и будущий король Карл I встретились в одном доме и, поссорившись, подрались, в результате чего маленький Кромвель разбил принцу нос в кровь. Наверное, это всего лишь легенда, задним числом объясняющая, почему он одержит верх над королем.)

Когда уже большинство сподвижников Кромвеля решат, что с монархией в Англии надо кончать, он даже не колеблется, уверенный, что в интересах страны королевскую власть, как она ни плоха, сохранить. Он и гоняется за Карлом I по всей Англии, и устраивает ему и его полководцам трепку за трепкой, чтобы сбить с него спесь, заставить считаться с волей парламента. И когда король будет взят в плен, Кромвель прикажет отправить его в безопасное место, стеречь и беречь как зеницу ока, опасаясь, что роялисты выкрадут монарха как дорогую игрушку и сделают его знаменем новой гражданской войны...

К несчастью для Англии, Карл I окажется не самым лучшим королем. Самоуверенный, беспечный, он первым бросит вызов парламенту. Но, развязав в стране войну, ее ведение уступит своему столь же самонадеянному племяннику Руперту. А сам, укрываясь то в Шотландии, то в Ирландии, успевает охотиться, устраивать балы и кутежи. Попав в плен к кромвелевцам, он не особо тяготится своим положением, играет в

шахматы, время от времени пишет письма королеве с заверениями, что скоро все будет хорошо. В одном из писем, перехваченном Кромвелем, Карл I неосторожно пообещает жене, что в недалеком будущем обуздает мятежников "не шелковой перевязью, а пеньковой веревкой". Прочитав эти строки, генерал-лейтенант придет в неопишемую ярость: вчерашний сторонник монархии в считанные минуты превратится в пылкого республиканца! (Враги, правда, скажут, что он давно подбирался к короне и лишь ждал повода расправиться с королем.) Теперь суд и казнь короля станут для него чуть ли не вопросом жизни и смерти. Он подберет в состав суда наиболее лояльных ему людей — и враждебно настроенных к Карлу I. Главный судья Бредшоу, подбадриваемый Кромвелем, во время процесса обращается с королем, точно с беспаспортным бродягой, не давая ему раскрыть рта.

— Где лорды? — попытается выяснить Карл I, почему зал судебного заседания наполовину пуст. — Без них вы неправомочны судить короля...

Увы, все лорды в страхе разбежались, чуя, к чему дело идет. Но король, кажется, еще не сознает, какая опасность нависла над ним. Он с любопытством оглядывает зал, присматривается к тем, кто его судит. А когда поймет, что слова "государственный преступник", "тиран", "изменник", сказанные в суде, относятся к нему, громко рассмеется. Тем временем ему уже вынесен смертный приговор.

— Но позвольте! — Король уже не знает, смеяться ему или плакать. — Как вам угодно, сэр, но я могу сказать хоть что-то после вынесения приговора?

— Стража, уведите арестанта! — распорядится Бредшоу.

— Позвольте!.. Погодите... Какого же правосудия можно от вас ожидать, если вы так обращаетесь с королем?!

Когда его выведут из зала судебного заседания, поджидающая его у выхода толпа, те, кто еще совсем недавно мог разговаривать с ним лишь стоя на коленях, теперь выкрикивают ему в лицо оскорбления, швыряют под ноги раскуренные трубки, а некоторые даже норовят пустить ему дым в лицо. "Казни! Справедливости!" — ревет возбужденная толпа. "Боже, храни короля!" — в страхе шепчут немногие.

А в это время в палате общин возникнет сумятица: депутаты и судьи, кажется, испугались собственной смелости. Кое-кто из них, как и лорды, убежал. "Один Кромвель был весел, шумел и кричал, — рассказывает историк, — он предавался самым грубым выходкам своей обычной шутливости; подписавшись третьим под приговором, он вымазал чернилами Генри Мартена (один из его сподвижников — И.З.), сидевшего рядом, который тотчас оплатил ему тем же". "На этот раз он не уйдет от нас!" — вскричит Кромвель, поставив свою подпись под приговором, и начнет подтаскивать к столу других...

Перед казнию королю разрешат повидаться с детьми. Одному из них, принцу Глостерскому, прощаясь, он скажет: "Если они провозгласят тебя королем, не соглашайся, мой мальчик! Они сделают это для того, чтобы расправиться и с тобой. Обещай, что ты не согласишься стать королем!" "Скорее я дам изрубить себя в куски!" — поклянется растроганный восьмилетний принц... Во время казни король поведет себя как истинный аристократ. Помолившись, он с царским величием посмотрит на толпу, пришедшую, чтобы посмотреть, как отлетит королевская голова от королевского тела, и ляжет на плаху. Кромвель не присутствует на казни. Рассказывают, лишь глубокой ночью, запахнувшись в черный плащ, он придет в капеллу, где после отпевания покоились останки казненного, немного постоит у гроба и произнесет более чем странную фразу:

— Хорошо было сложено это тело: оно обещало долгую жизнь...

Короля похоронят в холодный январский день 1649 года. "Когда переносили тело из дворца в капеллу, небо, бывшее до того момента ясным и чистым, внезапно переменилось: пошел густой снег, — сообщает историк. — Черный бархат покрыва был совершенно засыпан, и слуги короля находили в этой близне покрыва символ невинности своего повелителя". А тем временем палата общин, подсчитав расходы на суд, казнь и похороны короля, единогласно утвердит их в сумме пятисот фунтов. И на такой убийственно трезвой ноте прекратит свое существование тысячелетняя английская монархия...

В стране вместо королевского Тайного совета будет учрежден Государственный. Его председателем станет Кромвель. Многие офицеры получат повышение в звании. Палата лордов будет упразднена. В палате общин прибавится пуритан.

Но спокойнее Англия не станет. Наоборот: то здесь, то там начнут вспыхивать армейские бунты. В отличие от офицеров, солдаты не получают ничего. Ирландия и Шотландия на казнь короля отзовутся восстаниями. Как на грех, три года подряд случаются неурожаи. Разоряются торговцы, ремесленники и, особенно, крестьяне, слой общества, всегда больше других страдающий от войн и междоусобиц. В некоторых сельских округах люди умирают от голода...

А что же Кромвель? Его положению не позавидуешь. На него, еще совсем недавно национального героя, совершаются одно за другим покушения. По стране ходят прокламации, направленные против республиканской верхушки. В одной из них говорилось: "Было ли когда-нибудь поколение людей столь лживое, предательское и кровопролитное, как эти люди? Их молитвы, посты, проповеди, их вечные цитаты из Священного писания, имя Бога и Христа, не сходящие с их уст! Едва вы начнете говорить о чем-нибудь с Кромвелем, он приложит руки к груди, возведет очи к небесам и призовет Бога в

свидетели. Он будет проливать слезы, стенать и сокрушаться, даже посылая вас под удар ножа... До этого нами правили король, лорды и общины. Теперь — генерал, полевой суд и палата общин. Мы спрашиваем вас, что изменилось?..”

Некоторых своих критиков республиканская верхушка сочтет за лучшее посадить в Тауэр, а самых неугомонных постарается расстрелять. Справедливости ради стоит отметить, что сдержаннее всех ведет себя Кромвель. Он настаивает на отмене смертной казни многих оппозиционеров. Он-то помнит, что самые неугомонные еще совсем недавно были самыми храбрыми солдатами и офицерами в армии парламента. Но и он в обиде на них. Нет больше короля, нет палаты лордов, никто больше не ограничивает гражданские права. Чего еще нужно? Теперь работайте, как это делают пуритане, от зари до зари, молитесь, поститесь — и обретете душевный покой. Равенство всех во всем? Химера! Каждого, кто посмеет говорить о всеобщей справедливости, кто посягнет на не принадлежащий ему кусок земли, будет предан суду и, не исключено, смерти!..

Привыкший побеждать всегда и везде, он не хуже любого пастора увещевает бунтовщиков, но, не заметив покорности, бросает против них верные ему войска. За одну весьма успешную карательную операцию, проведенную лично им, палата общин в знак благодарности преподнесет Кромвелю золотые чаши, блюда, графины, подносы. Раньше у него и мыслей о подарках не было: ведь он рисковал жизнью не ради корысти. Теперь, в порядке исключения (за которым последуют другие), примет награду: не обижать же депутатов палаты, которые поддерживают его во всем, что касается наведения порядка в стране!

Кстати, о таком понятии как “страна”. Подобно всем предыдущим властителям Англии, Кромвель считает, что Ирландия и Шотландия — это тоже Англия. В смутное время его больше всего беспокоит поведение ирландцев. Мало того, что они как поддерживали роялистов, так и сейчас на их стороне, как были католиками, так и остались ими, так нет, они еще притесняют англичан-протестантов, а, случается, даже убивают их! Пока не поздно, им следует преподнести урок. “Вы — часть Антихриста, царство которого, как ясно сказано в священном писании, должно лежать в крови, — скажет он ирландцам после очередной вспышки вражды между католиками и протестантами на острове, — и вскоре вы все должны пить кровь, даже остатки в чаше гнева и ярости Бога будут влиты в вас!” Карательную экспедицию против Ирландии он возглавит лично. Прежде умевший обуздывать в себе инстинкт мести, он больше не призывает солдат к пощаде, и они, день ото дня хмелея от запаха крови, займутся в Ирландии настоящей резней. (Ее эхо до сих пор время от времени прокатывается по северному Ольстеру.) Армия Кромвеля, еще недавно

сильная своей дисциплинированностью, превращается — и во многом неожиданно для ее полководца — в орду головорезов и грабителей. Кромвель приказывает солдатам не посягать на чужую, даже если она принадлежит ирландцам, собственность. Но поздно: жажда разрушения обуревают людей, ждавших и ничего, кроме велеречивых обещаний, не дождавшихся от республиканского правительства. Затопленная кровью Ирландия станет местом, где будет похоронена английская революция со всеми ее идеалами... А потом наступит очередь гордой и непокорной Шотландии. И там “круглоголовые” покажут себя не с лучшей стороны, и там установление республиканских порядков будет проходить путем убийств и насилия...

Но что было, то было: Кромвелю удастся сделать то, чего не смогли добиться в течение сотен лет английские монархи — железными клещами он соединит три страны в одно государство. Умиротворив Англию, он начнет серию внешних (как правило, захватнических) войн. С кем только из европейских стран он не воюет, в каких только частях света не сражаются английские солдаты и моряки! Теперь его полководческий гений извечные соперники Англии почувствуют на своей шкуре: Кромвель одерживает победу за победой. “Его величие у себя дома лишь тень той славы, которую он имел за рубежом, — напишет один из его современников. — Трудно установить, кто его больше боялся — Франция, Испания или Нидерланды”.

Громкая слава, преклонение перед мрачным гением сделают свое дело: умеренность и благочестие год от года убывают в Кромвеле. Когда-то ненавидевший надменных аристократов, он теперь все чаще опирается на поддержку высокородных дворян, и те потихоньку вытесняют из его окружения грубоватых в обращении, прямолинейных, но честных офицеров. Упраздненная палата лордов восстанавливается. Кромвель ни словом не возразит, когда палата общин назначит ему жалованье в большую сумму — две с половиной тысячи фунтов стерлингов. По этому поводу Джон Лилберн обратится к нему с предупреждением о грозящей опасности: “Ты великий человек, Кромвель! Но если ты и впредь будешь хлопотать лишь о собственном покое, то избавление угнетенных придет не от тебя... Да будет проклят день, когда им удалось купить тебя за две с половиной тысячи!..”

Но это еще не все. Пуританин Кромвель выдает своих дочерей за знатных и богатых людей, выгодные партии подыскивает и для сыновей. Уступая, но особо и не возражая, просьбе палаты общин, он вместе с семьей поселяется в одном из королевских дворцов, принимает звание лорда-протектора Англии, Ирландии и Шотландии. (“Наше утешение, в том, что Бог на небесах. Его, и только Его указания останутся в силе”, — не

устаает он напоминать англичанам, что на все — воля Божья). На людях он все чаще появляется, точно король, в горностаевой мантии. Словно ни в чем не бывало, при дворе лорда-протектора вновь появляются пажи, камердинеры, фрейлины. Кое-кто из приближенных называет его (наверное, по аналогии с Цезарем) императором... Но в бочке лести властителю все чаще попадают капли дегтя в виде анонимных эпиграмм. Одна из них состоит лишь из недоуменно-горьких вопросов:

Протектор, что это? Существо, исполненное величия,
Исповедующее себя, но подражающее Величеству,
Трагический Цезарь, действующий как клоун,
Или медный фартиг с отчеканенной короной?

Свой вклад — и немалый — в метаморфозу Кромвеля внесет палата общин. Она год от года дает ему все больше полномочий. “Все здание английской республики, — пишет один из его биографов, — увенчивала теперь его могучая и одинокая фигура, вынужденная, как он сам сокрушенно думал, править единолично”. Но в том и дело, что чем больше дают ему прав, тем сильнее лорда-протектора раздражают оставшиеся ограничения его почти что безграничной власти. Кромвель иногда, обращаясь к народу через головы депутатов, жалуется на палату общин, сравнивает себя с “ребенком, которого спеленали”. И однажды, приведя в движение армию, он разгоняет парламент! Народ с ликованием поддержит его: утонув в бесплодных словопрениях, депутаты не принимали нужных стране законов, еще недавно метавшие молнии в адрес короля и аристократов, они обрюзгли, обросли жирком, погрязли в пороках. Но вот беда: новый парламент окажется еще хуже предыдущего! В него будут избраны (некоторых назначит сам Кромвель) в своем большинстве деятельные, но, как на подбор, ограниченные, если не сказать, тупоголовые люди. Они примут столько нелепых и невыполнимых законов, что Кромвелю ничего другого не останется, как разогнать и этот парламент.

Следующая палата общин будет уже совсем ручной. Она примет “Смиренную петицию и совет” (слова-то какие!), в которой обратится к Кромвелю с предложением стать новым королем Англии с правом назначения преемника. Узнав об этом, он сляжет. Тяжелейшая депрессия (как всегда, перед принятием важного решения) овладеет им. Он не говорит палате ни да, ни нет, никого не принимает и сам не показывается на людях. (“Я вам, господа, могу сказать, чего не хочу, а чего хочу — нет”.) Встревоженные его молчанием, соратники придут к нему прямо домой. Он выйдет к ним, по словам очевидца, “наполовину одетым, с черным шарфом вокруг шеи, по-видимому, измученный своей нерешительностью”. Он и им не скажет ни да, ни нет, лишь со слезами на глазах пожалуется на тяжесть своего креста: “Я нес тяжелый груз на своей спине пятнадцать

или шестнадцать лет... Теперь я хотел бы пожить на опушке леса, содержать стадо овец, чем находиться на том месте, каким является то, что я занимаю сейчас". И как многое из того, что он скажет за свою жизнь, это его признание прозвучит вполне искренне...

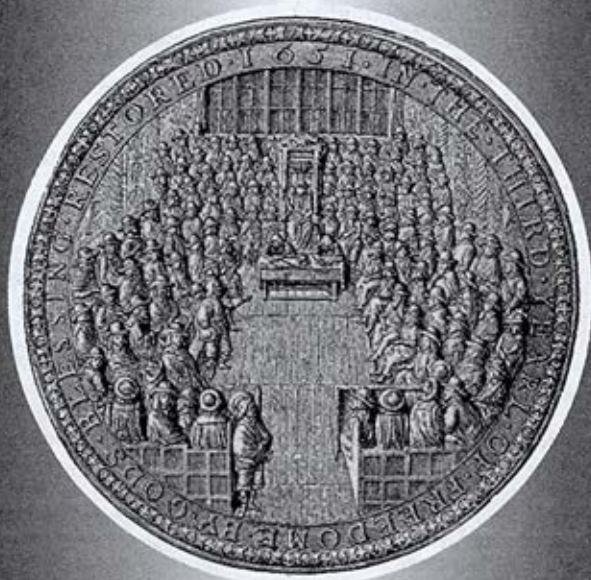
Говорят, что, окрепнув телом и духом, Кромвель решится таки принять королевский титул. Но этому помешает группа высших офицеров армии. (Кто-то из них наверняка рассчитывал после его смерти стать лордом-протектором.) Они заявят, что не станут бунтовать, если он примет королевский титул, но все как один подадут в тот же день в отставку. Выслушав их (окруживших его где-то в глубине парка), он, очевидно, поймет, что игрушка в виде короны может стоить ему власти, а, может, и жизни. После некоторых раздумий он даст согласие стать пожизненным лордом-протектором, не более.

Умиленная палата общин сделает все для того, чтобы его отказ выглядел как согласие. Возводя его в должность пожизненного лорда-протектора, депутаты усадят его на коронационный трон. Помост, на который он поднимется, обит розовым генуэзским бархатом с золотыми кистями. На стол перед ним положат его любимую Библию, меч и золотой скипетр. Народ в этот день будет кричать: "Боже, храни лорда-протектора!"

Но, кажется, Кромвель так и не простит себе, что уступил нажиму офицеров и не стал Оливером Первым. С тех пор его уже не отпускают болезни. Лорд-протектор стремительно слабеет, у него появляется (в 58 лет) старческое дрожание рук. Правда, он успеет разогнать и этот парламент, выиграть войну у Испании, отнять у Нидерландов Дюнкерк. И скончается в полубредовом состоянии. Его наследником станет сын Ричард — бледная тень великого отца. В скором времени протекторат падет, в Англию вернутся Стюарты. 30 января 1661 года, в годовщину казни Карла I, останки Кромвеля, его матери, породившей узурпатора, и еще двух его соратников будут извлечены из могил и повешены для всеобщего обозрения. Так замкнется порочный круг борьбы за власть, предательства, ненависти, лицемерия и низкой мести...

Само собой разумеется, историческая роль Кромвеля не исчерпывается тем, что он узурпировал в Англии власть. После него в страну вернутся монархи, но абсолютизм — уже никогда. Хлебнув лиха при Кромвеле, англичане с легким сердцем поменяют республику на конституционную монархию. Но можно сказать и так: Англия останется республикой, разрешив своим монархам отныне и вовеки править ею, но — не управлять...

Пытаясь показать ход истории более наглядно, биографы каждому выдающемуся деятелю стараются найти подходящий



Введенная Кромвелем в 1651 г.
новая английская государственная печать,
изображает заседание
английского парламента

аналог. Так, Кромвеля обычно сравнивают с Робеспьером и Наполеоном. Действительно, они оба — и, конечно, каждый по-своему — чем-то похожи на него и повторяют многое из того, что сделал в свое время он. Великая французская революция конца XVIII века, как известно, вберет в себя и героическую борьбу с тиранией, и кровопролитную гражданскую войну, и превращение вчерашних революционеров во властолюбивых доктринеров, и захватнические войны. Что же получается? Выходит, английская революция пошла впрок лишь самим англичанам, а французы (и вслед за ними другие народы Европы в XIX и даже в XX веке) начнут как бы с чистого листа, понесут столько и даже больше жертв, что и англичане в середине XVII века?.. Волей-неволей приходят на память слова одного (кстати, английского) историка о том, что история учит тому, что она ничему не учит. Действительно, ничему? ■



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
(МИИБ) при всероссийской Академии внешней торговли
Министерства экономического развития и торговли РФ
Год основания 1988

Сроки и формы обучения:

дневное обучение от 5 месяцев до 9 месяцев,
вечернее обучение от 9 месяцев до 1 года 6 месяцев,
заочное обучение от 9 месяцев до 1 года 3 месяцев,
дистанционное обучение.

Факультеты:

Специальный коммерческий — профессиональная переподготовка:
специалист международного бизнеса
(менеджер или экономист международного бизнеса).

Факультет профессионального обучения и повышения квалификации:

менеджер по продажам (коммерческий работник) внешнеторговой фирмы,
организация внешнеэкономических операций, современные информацион-
ные технологии в управлении ВЭД (первый уровень — начинающий, вто-
рой — углубленный), валютный контроль и валютное регулирование, юрист
в области ВЭД, экономиста и организация инвестиционной деятельности,
работник хозяйственной службы заграничных учреждений, финансовый менедж-
мент, иностранные языки, биржевой трейдер.

Выдаются государственные дипломы, свидетельства, удостоверения.

Обучение платное. Вступительные испытания: собеседование.
Прием заявлений в течение года.
Проводится студенческий обмен с вузами США, Великобритании, Германии,
Канады, Кипра; стажировка за рубежом.

**МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
и MONEY MANAGEMENT INSTITUTE CALIFORNIA (USA)**

Представляет программу конвертации российского диплома государственного
образца в американский диплом.
Особенности программы:
кратный срок обучения — 45 дней, конвертация в BBA, MBA;
доступность.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

начал издавать журнал "Практика международного бизнеса"
Стоимость подписки на II полугодие 2002 года — 834 руб. с учетом НДС.
Индекс 14742 (Объединенный каталог "Пресса России" II полугодие 2002 года.)
Лицензия госкомвуза № 2411-0162, сертификат ТПП РФ в области делового
образования № 018.

119330, Москва, ул. Мосфильмовская, 35, стр. 1 (М. Невская м. Университет)
тел.: 143-85-75, 147-22-78, факс 147-53-57, 938-22-53
E-mail: MIIB@COL.RU WWW.MIIB.MM.RU

Ректор проф. В.М. Безденежных



О чем Молчат наши руки

Галина КАЛИНИНА

Порой кажется, что едва ли не каждую нашу вполне "материалистическую" науку сопровождает ее оннультный двойник. Параллельно с астрономией благополучно процветает астрология, рядом с арифметикой (или высшей математикой?) не тесно нумерологии, химия соседствует с алхимией... И наоборот: оннультная хиромантия "продублирована" далекой от мистицизма дерматоглифики — наукой, изучающей узоры на пальцах. Родоначальником ее считается англичанин Фрэнсис Гальтон, опубликовавший в конце XIX века монографию

об отпечатках пальцев. А термин "дерматоглифика" появился меньше века назад, в 1926 году, и переводится как "гравировка кожи". Об этом мне рассказал психиатр и психофизиолог Николай Богданов. Оказывается, узоры, которыми подушечки наших пальцев покрываются еще в утробе матери, тесно связаны с тончайшими особенностями нервной системы каждого из нас, а, следовательно, — с нашим самочувствием, поведением, характером. А от характера до судьбы — значительно меньше, чем полшага. Так что Николай, посмотрев на ва-



завиток

ши пальцы, может многое рассказать о вас, но мистики в этом нет никакой. От дерматоглифики до хиромантии такое же расстояние, как от астрономии до астрологии.

Правда, отпечатками пальцев занимается еще дактилоскопия, но криминалистов интересует лишь их принадлежность человеку, а не то, что за этими рисунками стоит — тип нервной системы. По мнению Богданова, "гравировка кожи" на пальцах — наше второе лицо, которое порой может рассказать о нас куда больше первого. Впрочем, для того, чтобы понять, что сам Николай, например, как герой давней песни Высоцкого, "иноходью скачет" ("это значит иначе, чем все"), не обязательно знать, что завиток, "нарисованный" на одном из его пальцев, закручен в противоположную от "общепринятой" сторону. Но это так. Судите сами: вопреки общепринятым представлениям, Богданов утверждает, что близнецы чувствуют себя дискомфортно от вынужденной конкуренции со своими "копиями" и очень часто... ненавидят друг друга. Другой пример. Кажется, уже никто не опровергает мнение о том, что левой нельзя переучивать на правую руку, дабы не травмировать их. Никто... кроме Богданова. Я уж не говорю о его размышлениях по по-

воду "мифологии полов", которые вполне могут обеспечить ему репутацию женоненавистника. Между тем Богданов — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, член нескольких международных научных организаций и ассоциаций — расставляет вопросительные знаки там, где меньше всего этого ожидаешь, ставя под сомнение незыблемые, казалось бы, постулаты.



петля

Каждый из нас умен. По-своему

— Дерматоглифика — уникальная маркерная система, — размышляет Богданов. — Маркировка — это разметка, которая на что-то указывает. Гребневые узоры на пальцах что-то маркируют в нас, и в нашем организме маркера такого уровня больше нет.

— Что же, получается, мы все... промаркированы? То есть каждый... помечен? Зачем?

— На этот вопрос пока ответить невозможно. Гребневая кожа существует на максимально удаленных зонах организма, там, где его форпост — на руках и ногах, у некоторых обезьян — на хвосте. Проще всего предположить, что гребешки увеличивают трение с поверхностью предмета для облегче-

ния передвижения, лазания по деревьям. Но уж очень сложны узоры, чтобы объяснить их появление только этим. Между прочим отпечатки пальцев и ладоней обезьян намного сложнее, чем у человека.

— Что это означает?

— Вот кто бы знал! Возможно, это свидетельствует о том, что мозг обезьяны в чем-то устроен намного сложнее, чем мозг человека. Можно предположить, что человек — расцвет приматов. Чем архаична в искусстве отличается от классического периода? Она нелепым образом сложна. По-видимому, природа (или Бог — кому как нравится), создавая приматов, заложила в них очень мощный фундамент, а потом выяснилось, что он не нужен, и эволюция от этой "архаики" к "классике" пошла по пути отбрасывания каних-то лишних деталей. Сравнение отпечатков пальцев и ладоней человека и обезьяны позволяет понять, как эволюционировал мозг.

— Так что же, если у обезьяны более сложные рисунки на пальцах и ладонях, значит она... умнее человека? Умные люди "помечены" более изощренной гравировной кожей?

— Когда более двадцати лет назад я начал заниматься отпечатками, мне тоже хотелось понять, где на ладонях маркер умных людей, а

где — глупых. Кто умнее — люди с дугами (арками) на пальцах, петлями или завитками? И выяснилось, что с такими мерками подходить к дерматоглифике вообще нельзя. Каждый в чем-то глуп, а в чем-то умен. По-своему. А поскольку нет ни глупых, ни умных, то и нельзя сказать, кто лучше, а кто хуже.

Чаще всего (примерно от 8 до 35 процентов людей у разных народов) на пальцах встречаются так называемые ульнарные петли. Это узоры, напоминающие лассо, открытое, как правило, в сторону мизинца. Нервная система этих людей устроена так, что им легко приспособиться к любой ситуации. Они производят впечатление "нормальных" в самом кондовом смысле этого слова. Они не держат фигу в кармане, они достаточно доброжелательны, в меру откровенны и в меру скрытны, исполнительны. А вот человек с завитками на пальцах всегда не удовлетворен тем, что происходит внутри и вокруг него, вечно пытается что-то изменить. У него колоссальный потенциал для того, чтобы перестроить мир, сделать открытые, в том числе и гениальные. Однако в этом своем порыве он часто бывает неадекватен, описывается "не к месту". Именно у того, кого считают "придурком", чаще всего можно найти завитки на подушечках пальцев. Вообще как только дерматоглифика становится редкой, у человека возникают проблемы с социальной адаптацией. И чем более редки узоры на его пальцах, тем острее эти проблемы. И третий тип — люди с дугами (арками) на подушечках пальцев. Они не склонны менять своих поведенческих программ, как говорят психологи. Потому что у них таких программ не так уж и много. Казалось бы, это



дуга

плохо, но вместе с тем... У человека с завитками на пальцах есть миллион способов открыть дверь. И он ее... не откроет. Потому что не знает, какой способ выбрать, сомневается. А человек с дугами знает один способ — ударом ноги. И он им воспользуется. У людей, которые, как кинжалные ножи, проходят через какие-то сложные обстоятельства, как раз и обнаруживается много дуг на пальцах. В этом их сила. Однако важно, что ты снажешь, открыв дверь. А сказать им порой нечего, часто они несут в себе старые истины. В этом их слабость.

— Общаясь с кем-то, вы можете предположить, какие узоры на его пальцах?

— В одном провинциальном городе меня познакомили с человеком, который на свои деньги построил частный музей. И вот сидим мы с ним на крыльце, а он причитает: "Господи, и зачем я это сделал, зачем все свои деньги в музей ухнул? Может, дети придут сюда, посмотрят на всю эту красоту и не пойдут, как Чикатило, с ножом резать кого-то..." Станный такой человек. Слово за слово, разговорились. Можно вашу руну? Пожалуйста. Говорю: у вас рисунки на пальцах — как... у Чикатило. Только не пугайтесь, это говорит всего лишь об отсутствии прагматичного поведения, свойственного людям с завитками на пальцах.

— А у Чикатило были какие-то особенные рисунки на пальцах? Получается, посмотрев пальчики ребенка, вы можете сказать, что у него есть склонность стать убийцей?

— Да, конечно.

— Какой кошмар! Прямо Ломброзо какой-то!

— Действительно, признак ломброзианства здесь все время воз-

никает. Но отличия — кардинальные. Во-первых, критерии, по которым Ломброзо предлагал оценивать прирожденных преступников (широко расставленные глаза, оттопыренные уши, низкий скошенный лоб...), довольно наивны. А, во-вторых, что Ломброзо предлагал делать с людьми, которые предрасположены к преступлению? Он считал, что их надо убивать.

У человека может быть склонность к убийству, но это же не фатальная предрасположенность. Если кто-то склонен к судорогам или диабету, например, надо создать условия, чтобы человек не заболел. Так же надо создать условия, чтобы кто-то не совершил преступление. В конце концов, что такое склонность к насилию? В каком-то смысле это ранимость психики. Ведь и Чикатило тоже не в один момент убийцей стал. Думаю, не стоит повторять его историю, многократно описанную в прессе. Когда его назвали, отпечатки пальцев выинули, поскольку они уже нигде не "засветятся", а один оперативник подарил их мне. У Чикатило очень редный тип дерматоглифики. По отпечаткам пальцев нельзя сказать — убийца человек или нет, но можно объяснить, почему он совершил убийство, что, на мой взгляд, важнее. Рисунки на пальцах показывают, насколько легко было довести человека до того, что он, например, взял топор в руки и двинул с ним убивать кого-то. На одного плюнешь — он утерся и пошел себе дальше, а на другого не то что плюнуть — косо посмотреть нельзя. Убьет.

— А можно ли по отпечаткам пальцев определить пол человека?

— Наверняка — нет. У мужчин на пальцах больше завитков, у женщин — петель. У мужчин больше

сложных узоров расположено на пальцах правой руны, у женщин — наоборот. В целом дерматоглифина женщин проще. Человек с завитками на пальцах в меру своих способностей старается предсказать развитие ситуации и будет стремиться к ее разрешению. Человек с петлями действует по ситуации, а человек с дугами ведет себя все время одним и тем же способом. Вот и получается, что мужчина предсказывает ситуацию, а женщина действует по обстоятельствам, что делает ее сильнее. Это делает ее и смелее, потому что она многих вещей просто не понимает и не хочет понимать. Но, разумеется, можно встретить женщину, у которой десять завитков на пальцах, и она, предсказывая и анализируя ситуацию, может дать сто очков вперед большинству типичных мужчин.

— А отпечатки пальцев гомосексуалистов чем-то отличаются от рисунков на пальцах "типичных мужчин"?

— Их дерматоглифика имеет свои особенности, но, против ожидания, она не женского типа. Гомосексуалисты — это... "левши" определенного типа.

Призрак левизны бродит по миру

Когда Богданов говорит о левшах, он, оказывается, имеет в виду не то, что люди пишут левой рукой, а особенности работы их мозга. Считается, что левое полушарие нашего мозга ответственно за высшие психические функции — речь, осмысление окружающей среды и прогноз дальнейшего развития ситуации. А правое полушарие более тесно связано с эмоциями. Грубо, "ненаучно" говоря, левое полушарие — это наша логика, а правое —

эмоции. Причем левое "дает команды" правой руке, а правое — левой.

Однако, оказывается, если человек пишет левой рукой, это еще не означает, что при этом у него "работает" все правое полушарие. Оказывается, у 70 процентов левшей (как и почти у всех нас, праворуких) центр речи тоже расположен в левом (а не в правом!) полушарии мозга. То есть, получается! Это вроде как... "ненастоящие" левши. "Настоящие" — это те, кто обрабатывают информацию, поступающую в мозг, тоже преимущественно правым его полушарием, а не те, кто пишет левой рукой! Мало того, при этом они вполне могут быть... праворукими! Но именно их нейрофизиолог называет левшами. И ищет признания этого "левшества", как он говорит, на рисунках их пальцев. По определенной асимметрии узоров на пальцах разных рук, оказывается, точно можно выделить людей, у которых не только рука "управляется" правым полушарием, но и речь "идет" оттуда же. По словам Богданова, дерматоглифина — единственный метод, позволяющий надежно отличить патологических левшей от врожденных. А зачем их отличать?

Дело в том, что патологические левши — это те, кто пишет левой рукой вовсе не потому, что так было "задумано природой". Николай утверждает, что только дерматоглифика сегодня способна ответить на вопрос, за счет каких именно левшей их сегодня становится все больше и больше. Получается, леворучность может быть врожденной, а может возникнуть в результате плохой экологии, тяжелой беременности. Богданов полагает, что именно таких — патологических — левшей и надо переучи-

вать на правую руку. Но это будет уже не переучивание, а коррекция или развитие правой руки.

— Те, кого мы привыкли называть левшами — в дерматоглифике левши по указательному пальцу. Дети с синдромом Вильямса (есть такое психическое заболевание) — "левши" по третьему и пятому пальцу. Гомосексуалисты — "левши" по мизинцу и большому пальцу. Это означает, что именно на этих пальцах у них расположены завитки, что свидетельствует об особенностях организации мозга. У меня есть основания думать, что серийные убийцы и гомосексуалисты (подчерните, что я не объединяю эти группы) — люди, которые обрабатывают информацию правым полушарием. Поведение и тех и других непрагматично. Это левши, которым в каком-то смысле плевать на то, что о них подумают.

Что общего у Маяковского с... бомжами?

— Кстати говоря, помните, как в фильме "Семнадцать мгновений весны" Мюллер показывает Штирлицу отпечатки пальцев, снятые с чемодана русской радистки? Судя по всему, там показаны большой, указательный и средний пальцы. И на всех трех — рисунки дуг. Скорее всего и на остальных пальцах — дуги.

— А "дуги", помнится, идут напролом, прошибают ногами дверь?

— Да таному человеку никогда не стать разведчиком! У резидента на пальцах десять завитков должно быть, что свидетельствовало бы и об артистизме, и о хитрости...

— А вы узнали что-нибудь новенькое про себя, когда изучили свои пальцы?

— У меня все завитки на одной руке — слава Богу, на правой: на мизинце, указательном и безымянном пальцах. Почему "слава Богу"? Если бы завитки были на левой — это означало бы очень большую тревожность, тогда я к вам на интервью не приехал бы ("мало ли что я могу сболтнуть, а вы напечатаете, а вдруг..."). Я человек крайне неуравновешенный, вспыльчивый, люблю поорать. Тип Маяковского, если угодно. Дерматоглифика великих людей — мое хобби. Я думал, что у гениев должна быть очень редная дерматоглифика, но оказалось, что это не так. У Маяковского всего три завитка на пальцах, у Мандельштама — четыре. И это понятно, ведь людям, у которых больше особенностей нервной системы, очень трудно реализоваться. За "тонкую" нервную систему человек платит огромную цену. Например... бомжует: большинство бомжей — люди с маргинальной дерматоглификой.

— Какой смысл вы вкладываете в слово "маргинал"?

— Грубо говоря, это субъект, резко отличающийся от группы. Редкий человек.

— То есть у Штирлица и бомжей должны быть похожие узоры на пальцах?

— Не исключено. У людей, осужденных за бродяжничество, очень много завитков на пальцах "по левому типу". Если угодно, это свидетельствует об эмоциональном богатстве природы. Понимаете, это люди, которые могут себе позволить быть свободными от общества, которые не боятся жить где-нибудь на вокзалах или в подворотнях, не имея дома. Да окажись я в такой ситуации, я бы просто погиб!

— А откуда в вашей коллекции "пальчики" Маяковского?

— Из архива департамента полиции, который был передан в Государственный архив РФ. Это отпечатки, взятые у поэта во время ареста в 1908 году. К слову, в России отпечатки у всех арестованных начали снимать годом раньше — в 1907-м. На пальцах Маяковского три завитка, и все на одной руке — правой. Человек крайне неуравновешенный, но отходчивый. Обычно о склонности к самоубийству говорят признаки левшества на руках — признаки некой неадекватности, крайне эмоционального восприятия мира. Например, у меня на руках есть слабые признаки левшества, а у Маяковского их нет вообще, в принципе. Дерматоглифика поэта говорит о том, что он никак, ни в моем случае не был склонен к самоубийству, не мог вынашивать идею саморазрушения. На мой взгляд, его разговоры о самоубийстве — всего лишь пустые разговоры и не более того, хотя со мной категорически не согласны сотрудники музея Маяковского. Он застрелился левой рукой, и утверждалось, что он левша. Но писал-то он правой рукой. Видимо, что-то поэт делал левой рукой, раз даже в воспоминаниях Натаева, например, упоминается, что Маяковский левша. Можно было бы предположить, что он "ненастоящий", вынужденный левша — из-за травмы мозга во внутриутробном развитии, в детском возрасте, но это маловероятно, потому что сказалось бы на его поэтических способностях. Моя гипотеза — поэт просто легкомысленно сыграл в русскую рулетку. Не желая себя убить. Нанизывал на курок, но не стремился к самоубийству, не верил, что может убить себя. По воспоминаниям Брин известно, что он стрелялся дважды, но не у нее

на глазах. Она приехала к нему, и он говорил, что пистолет давал осечку. По-видимому, он играл в русскую рулетку, пугал женщину.

А вот Мандельштам, между прочим, "левша" по гребневому счету. Есть такое понятие в дерматоглифике. Проще говоря, гребневой счет — это количество "гребешков" кожи, "полосочек" на рисунках петель, дуг или завитков. У него три завитка на правой руке и один на левой. Наверное, для того, чтобы человек реализовался, другой комбинации и не надо, все остальное будет лишним, перебором. Завитки эти как бы маршируют организацию тех блоков мозга, которые дают человеку возможность создать что-то гениальное. Образно говоря, такой рисунок на пальцах как бы ставит "галочку": у человека есть "деньги", которые можно потратить. Как он ими распорядится, на что потратит — уже другой вопрос.

Восток — дело тонкое...

Оназывается, у китайцев про завитки на подушечках пальцев есть даже пословица. Она звучит примерно так. Один вихревой завиток означает бедность; два — богатство; три или четыре — открывай ломбард; пять завитков — сделайся комиссионером; шесть завитков у вора; семь — несчастье; девять завитков и одна петля — ты можешь не работать всю жизнь и всегда будешь сыт, тебе хватит еды до самой старости". Если обратиться к индийскому, японскому "фольклору", то обнаружится, что людей с дугами на пальцах там считали жесткими, "кондовыми", холодными; людей с петлями — мягкими, безынициативными, добронелательными;

людей с завитками — хитрыми, удачливыми.

Между прочим у Эйнштейна было как раз... семь завитков: на больших, указательных и безымянных пальцах обеих рук и на среднем пальце левой руки, остальные рисунки — ульнарные петли.

— Что бы вы сказали о таком человеке, если бы не знали, что это отпечатки пальцев Эйнштейна?

— Высокий потенциал, склонен к игровой, рассудочной деятельности, к анализу и просчету ситуаций... Если говорить на обывательском языке, то это человек себе на уме, скрытный, поздно формирующийся тип, инфантильный, крайне ленивый. Впрочем, так оно ведь и было, правда? Эйнштейн писал, что сформировался поздно, что учился в школе плохо.

— Интересно, отличаются ли рисунки на пальцах у представителей разных народов?

— Да. Дерматоглифика очень помогает при анализе происхождения того или иного народа. За разницей узоров на пальцах — особенности адаптации человека к природе. Завитки на пальцах, например, чаще встречаются у народов, живущих в экстремальных условиях: у аборигенов севера — алеутов, чунчей, аборигенов Огненной Земли, Австралии, на Тибете. Людям с завитками на пальцах легче выжить в тяжелых природных условиях — царство Божье они все время пытаются построить внутри себя и потому то, что происходит вокруг, их мало интересует. Отсюда созерцательная культура йоги.

— Получается, можно предположить, что среди увлекающихся модной нынче йогой, много людей с завитками на пальцах?

— Среди наиболее успешных, продвинутых йогов — безусловно. А вот среди тех, кто "не въезжает" в это дело, останутся люди с дугами на пальцах. А люди с петлями вообще вряд ли этим будут интересоваться, у них другие задачи, они слишком крепко стоят на земле. Если люди с самыми сложными узорами на пальцах живут в Тибете, то с самыми простыми — в Европе. Так что восток — действительно, дело тонкое: там европейцу ловить нечего — люди с завитками на пальцах обведут его вокруг этих самых пальцев, обхитрят в два счета.

— А чем отличается дерматоглифика долгожителей?

— Простотой. У них обычно на пальцах очень много петель. И в этом есть загадка, потому что наибольшим физическим потенциалом обладают люди, у которых на пальцах нарисованы завитки. Однако, видимо, важно еще и умение приспособливаться, пластичность, свойственные "петлям". Упрощенно говоря, "петли" уступят в какой-то сложной жизненной ситуации "завиткам", но останутся успешней на длинной дистанции. Как это объяснить? По-видимому, люди с завитками на руках склонны к саморазрушению, они быстро снимают то, что им дала природа.

"Я милого узнаю по ладошке"

— Однажды коллега попросила меня посмотреть семью, в которой ребенок был болен шизофренией. Познакомившись с ними, я ей сказал: "По-видимому, здесь надо разговаривать с мамой, потому что папа ничего не решает". Коллега была потрясена, потому что наблюдала эту семью много лет, а я их видел впервые. Все просто: у мамы

на подушечках пальцев — одни дуги, а у папы — завитки. Понятно, что в этой ситуации он поднаблучник. Да, он умнее, деликатнее, тоньше и мог бы предложить что-то дельное, но сейчас вся его тонкость уходит на то, чтобы терпеть.

Люди с дугами на пальцах никогда не объединяются друг с другом, что и понятно: и он, и она не склонны к компромиссам. Как правило, "дуги" находят себе в пару человека с завитками, которые чрезвычайно компромиссны.

— Неужели мы выбираем друг друга, сами того не подозревая, по... отпечаткам пальцев?

— И это просто поразительно! У меня на приеме однажды была потрясающая пара. У мужа были узоры в межпальцевых промежутках, что встречается у одного человека из десяти тысяч. Представьте себе мое удивление, когда я у его жены обнаружил точно такую же "аномалию". И этот человек нашел себе жену "вслепую"!

— При выборе профессии тоже стоит посмотреть на ладони?

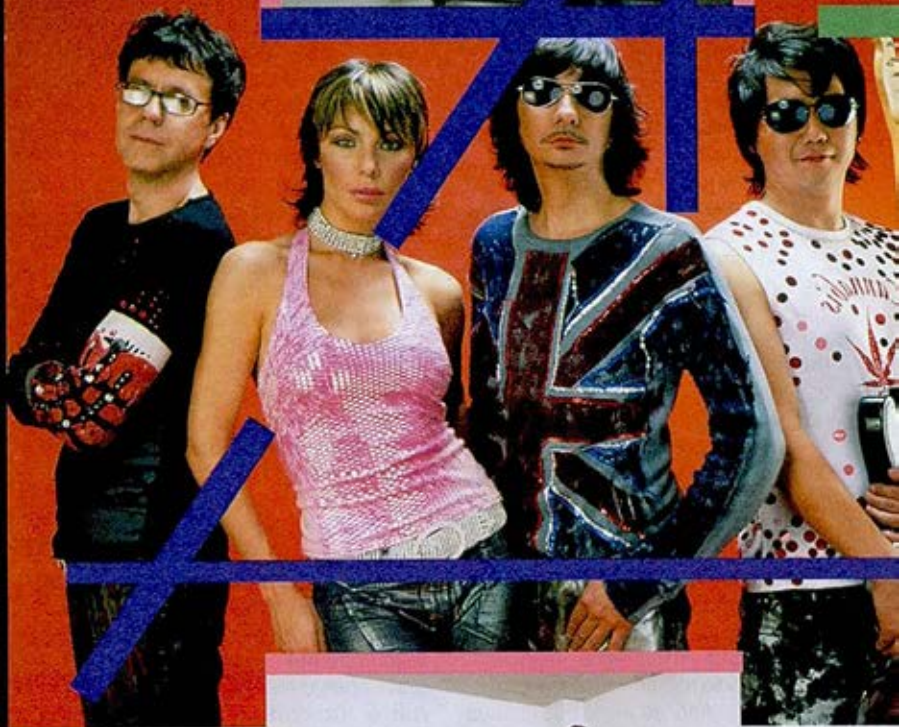
— А почему — нет? Татьяна Федоровна Абрамова создала уникальную модель реализации физиологического потенциала человека. Она занимается спортивной антропологией, прогнозирует будущее спортсменов самой высокой квалификации. Согласитесь, что и в спорте необходима специализация. Снажем, спринтеру важно уметь полностью выкладываться на короткой дистанции, а защитнику в футболе нужна не скорость, а совсем иная... дерматоглифика. Ему важно обладать не скоростными, а аналитическими качествами.

— Я поняла: нападающий — это человек с дугами на пальцах, а защитник — с завитками?

— В общем — да. Люди с дугами умеют максимально и "с места в карьер" реализовать свой потенциал. Это готовые нападающие — с их взрывным темпераментом и "кондовостью", умением одним ударом открыть дверь. Дерматоглифика дает потрясающие возможности для спортивного прогноза. Мальчишек, пришедших играть в футбол, можно сразу же "рассортировать" по рисункам пальцев: кому — в нападающие, кому — во вратари...

И напоследок нельзя не сказать несколько слов о медицинской дерматоглифике, которой увлечен Богданов. По его словам, посмотрев на пальчики ребенка, уже в роддоме, "без выяснения хромосомной картины" можно абсолютно точно определить, например, болезнь Дауна, другие психические заболевания, увидеть признаки поражения нервной системы.

— Как это ни парадоксально, но дерматоглифика не популярна среди медиков, потому что ее выводы... очень конкретны, — размышляет Николай Богданов. — А некоторые диагнозы, например, шизофрения — "неконкретны": один врач скажет, что ее нет, другой — что есть, и это многих устраивает. А узор на пальцах — очень конкретный признак, он не показывает причины заболевания (они могут быть разными), но однозначно указывает на его фант. Тем самым дерматоглифика обнажает наше незнание. Вот это и не устраивает. Люди порой ленивы и нелюбопытны, а потому всегда будут популярны более зыбкие понятия, потому что они дают возможность какому-то маневра.



— СТУДИО



О группе "А-студио" заговорили лет десять назад. Удивительно, но факт — как быстро и уверенно этот коллектив из Казахстана завоевал признание, в общем-то, у довольно искушенной и избалованной московской публики...

— В действительности, нам помогла простая случайность, — рассказывает художественный руководитель коллектива и, по совместительству его клавишник, Байгали Сернебаев. — Когда мы появились в Москве, никому не известные, да, по большому счету — никому не нужные, зато с амбициями и огромным желанием завоевать столичную эстраду, уже тогда были уверены — пробьемся. А почему так считали? Уже накопили достаточно интересных песен, которых бы хватило на несколько альбомов... Совершенно случайно запись нашей песни "Джулия" попала и

Филиппу Киркорову. Она ему понравилась, и певец включил ее в свой репертуар. Нашим творчеством заинтересовались. Пригласили работать в Театр Песни Аллы Пугачевой. Затем снялись в телевизионных Рождественских встречах. И о нас узнала вся страна.

— Но потом вы куда-то надолго исчезли...

— Да нигуда мы не исчезали. Работали. Пустились в свободное, а, главное, самостоятельное плавание. Гастролировали по Америке с концертами. Выступали в самых престижных залах Лос-Анджелеса, Майами, Балтиморе, Филадельфии и Нью-Йорке. Затем добрались даже до Японии. И прочно заняли нишу самой "западной" русской группы.

— А это как понимать?

— Исполняли песни на английском. В прошлом году на лейбле "Нонс Мьюзик" вышел сначала наш англоязычный сингл "S.O.S.", а затем русско-английский альбом "Такие дела". После чего несколько крупных иностранных звукозаписывающих компаний проявили к нам интерес. В частности, английский канал MTV начал крутить наш "S.O.S." Невиданный, просто исключительный случай такого интереса к группе из России.

— Зачем же русским слушать соотечественников на иностранном языке?

— Все зависит от качества продукта. Если уровень аранжировки, музыки и исполнения высокий, то почему бы песне не стать популярной в России. Ведь слушаем же мы "Beatles", итальянскую оперу, не зная ни английского, ни итальянского. Когда

мы начали снимать клип на "S.O.S.", многие сомневались в успехе англоязычной песни в СНГ. Но успех песни очевиден. Эксперимент оказался удачным.

— Почему у вас такой интерес к западной музыке?

— Еще когда учился в школе, увлекался "Deep Purple". Сейчас слушаю разную. Обожаю бразильскую в любом "разливе".

— Что, по вашему мнению, нужно для того, чтобы наши музыканты и певцы стали интересными на Западе?

— Практически, у наших соотечественников добиться успеха там довольно мало шансов. Здесь роль играют многие факторы. О знании языка даже не говорю, само собой разумеется, а в США еще и местного диалекта — еще связи, знакомства, да собственно, как и у нас. Также немаловажен интерес звукозаписывающей компании и респектабельность тамошнего продюсера.

Что же касается наших исполнителей... ну сами посудите, кто у нас сейчас на эстраде? Мальчишки-девочки, не столько поющие, сколько выполняющие какие-то совершенно немислимые физкультурно-оздоровительные движения. А вокал-то где? Такое впечатление, что все поют одну, нудную длинную песню. С одной и той же аранжировкой. Впрочем, есть и исключения. Мне, например, интересен Леонид Агутин, а как композитор — Игорь Саруханов.

— В вашей группе недавно произошли изменения. Вместо солиста и сансофониста Батырхана Шугенова появилась Полина Гриффис.

— Да, она стала "лицом" группы. Уж так сложились обстоятельства. Батырхан покинул нас... Но с его уходом коллектив не распался. Ведь, как известно, незаменимых нет. Нашли Полину Гриффис. Очаровательную, талантливую, эффектную, с прекрасным голосом, пластиной. Она не только поет, но и танцует. Когда-то Полина жила в Томске, а затем переехала в Нью-Йорк, там мы и познакомились, когда записывали свой очередной альбом.

Мы записали с Полиной альбом танцевальной музыки, сохранив при этом традиции "А-Студио". С ее приходом репертуар стал более динамичным, раньше же мы были более лиричны. Она профессиональный вокалист и хорошо работает на сцене "живьем".

— Вы одна из самых стильных групп на российской эстраде. Кто занимается вашим имиджем?

— Нашим первым имидж-мейнером была Алла Пугачева. Помню, как она привезла нам из Лондона модные рубашки, шапочки и прочее. Затем что-то придумывали сами. Много лет дружим с салоном "Персона". Последние идеи

концертных костюмов придумывает Полина.

Стильный человек, на мой взгляд, это: хорошая прическа, чистая обувь и гармония его одежды с внутренним миром.

— Чем объясните свою непохожесть на большинство русских поп-групп. Стремлением выделиться?

— Наш коллектив интернационален по составу. У нас восточная ментальность, а воспитаны мы на западной культуре. Стремление отличаться от других считаю не таким плохим качеством, хотя специально мы этим не занимаемся.

— Вы любите удивлять?

— Удивлять людей — один из основных законов шоу-бизнеса. Возьмите, к примеру, Мадонну. Ярчайший пример того, как постоянная смена имиджа, стиля и подачи музыки позволяет артисту всегда быть в центре внимания и на пике популярности. В нашем случае это потребность творческого самовыражения, а не тщательно продуманный ход продюсеров. ■

Беседовали
Александра ТИТЯНКО
и **Юлия ПАТРАТИЙ.**

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ЛУЧШАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КРУПНЫМ И МЕЛКИМ ОПТОМ



426057, г.Ижевск
ул.М.Горького,90
тел.: (3412) 51-02-31
факс: (3412) 78-58-9

АКСИОН  **ТНП**

e-mail: tnp@axiontnp.ru
www.axiontnp.ru

КОЛЫБЕЛЬ МАСТЕРСТВА



*"Как живопись и музыка, кухня — искусство.
Живопись очаровывает глаза, музыка — слух, а кулинария — вкус".*

А. Морза

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ — одно из старейших государственных учебных заведений. За 70 лет существования колледж (в прошлом — техникум) окончили многие мастера отечественной кулинарии.

Бесценный педагогический опыт здесь прекрасно сочетается с прогрессивными методами преподавания традиционных и совершенно новых дисциплин. По мнению директора МТНП Владимира Васильевича Рогова, эффективная система обучения должна быть гибкой, полностью соответствовать требованиям современного рынка труда и даже превосходить их. И ему как истинному новатору своего дела удается успешно осуществлять на практике свои устремления.

В колледже трудятся высококвалифицированные преподаватели, среди которых 12 кандидатов наук, в том числе 9 доцентов. За 2-3,5 года обучения они превращают вчерашних мальчишек и девчонок в настоящих профи. А для окончивших профильные ПТУ разработаны сокращенные учебные программы.

Вниманию абитуриентов предлагаются базовые специальности, подготовка по которым ведется в соответствии с государственными образовательными стандартами; технология продуктов общественного питания, менеджмент, коммерция, бухгалтерский учет и контроль, а также дополнительные образовательные услуги, благодаря которым учащиеся получают рабочие специальности повара, официанта, продавца, кассира, бармена, секретаря-референта.

Колледж тесно сотрудничает с московскими вузами. Благодаря этому его выпускники могут продолжить свое обучение и за 3 года получить высшее образование.

В планах директора организовать на базе колледжа своеобразный центр оперативной подготовки специалистов, то есть обширную многопрофильную систему подготовительных курсов, предназначенных для тех, у кого нет достаточного времени на обучение, и очень удобных и выгодных тем, кто хочет быстро получить новую профессию. Уже сейчас при колледже постоянно работают краткосрочные курсы (1-2 месяца обучения) по специальностям: повар 3-го разряда — официант 3-го разряда; кондитер 3-го разряда; повышение квалификации поваров и официантов на 4-й и 5-й разряды; официант 3-го разряда — бармен 4-го разряда; кассир-продавец; кассир; продавец; бухгалтер; секретарь-референт; оператор ПК.

Ни одна профессия немислима без творчества. А уж такое дело, как кулинария, — особенно. Буквально с самого начала учебы студенты колледжа начинают на практике совершенствовать свое мастерство, принимать активное участие в конкурсах московских и российских кулинаров (где, как правило, занимают первые и призовые места).

Практика в престижных столичных ресторано-гостиничных комплексах, а порой и станировка за рубежом становятся для учащихся своего рода гарантией их дальнейшей профессиональной востребованности, ведь многие из них по окончании колледжа остаются на "обжитых местах". Сегодня выпускники МТНП трудятся на комбинатах питания при Управлении делами президента РФ, в ресторанах "Прага", "Саппоро", "Президент-отель" и в других.

Неудивительно, что своеобразный абитуриентский "рейтинг" МТНП из года в год остается высоким. Стать студентами колледжа могут жители Москвы и Подмоскovie, других регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Иногородним предоставляется общежитие на договорной основе.

Форма обучения — дневная и заочная. Заявления принимаются от выпускников 9-х и 11-х классов.

Адрес МОСКОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПИТАНИЯ
127427, Москва, Ботаническая ул., 13.

Проезд: ст. метро "ВДНХ", далее авт. 803, трол. 36,73, ст. метро "Владыкино",
далее авт. 24,85,803, трол. 36,73 до остановки "Кашенкин луг".

Приемная комиссия: 218-14-84, 218-13-95, тел/факс 219-21-61

Материал подготовила
Наталья Карцева

ЗЕНИТ ZENIT

**марка,
проверенная
временем!**



**Зеркальные
фотоаппараты "ЗЕНИТ"**
**Панорамные
фотоаппараты "ГОРИЗОНТ"**
Объективы
Фотокомплекты
Фотопринадлежности



**Верность
традициям
качества
и надежности**

Воронеж (0732) 77-73-14; Екатеринбург (3432) 71-46-61;
Иркутск (3952) 33-04-39; Красногорск (095) 563-56-07;
Красноярск (3912) 21-65-40, 23-57-21; Москва (095) 269-24-14,
933-59-59; Новосибирск (3832) 26-17-68, 66-52-98; Ростов-на-
Дону (8632) 40-95-91; Санкт-Петербург (812) 247-10-10;
Уфа (3472) 28-83-76

ОАО "Красногорский завод им. С. А. Зверева"

Россия, 143400, г. Красногорск, Московская обл., ул. Речная, 8
тел. (095) 561-80-84, 561-89-26; факс (095) 563-42-65, 562-83-16
<http://www.zenit-foto.ru>

E-mail: kmz@zenit-foto.ru marketing@zenit.istra.ru



Нужно ли лететь за багажом?

"Одна авиакомпания потеряла мой багаж при перевозке. Их контора находится в другой области. В какой суд я должна обратиться со своим иском? Неужели мне придется ехать туда, чтобы подать заявление?"

М. Прокофьева,
Свердловская обл.

Прежде всего, следует заметить, что договор вашей перевозки и перевозки вашего багажа подпадает под действие положений Закона РФ от 7.02.92 г. "О защите прав потребителей". Вы в данном случае являетесь потребителем, поскольку используете услуги авиакомпании по перевозке исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Авиакомпания, в свою очередь, выполняет функцию исполнителя, то есть организации, оказывающей услуги по перевозке потребителю по возмездному договору.

В соответствии со ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" иски, касающиеся потребительских отношений, предъявляются в суд по месту жительства

истца, или по месту нахождения ответчика, либо по месту причинения вреда. Как видно, обращение в суд по месту нахождения ответчика, то есть согласно общему правилу — это не единственный вариант.

Статья 119 Гражданского процессуального кодекса РСФСР содержит положение об исключительной подсудности дел, связанных с договором перевозки. Однако к потребительским отношениям данное положение не применяется. В суд по месту нахождения управления транспортной организации необходимо обращаться только в тех случаях, когда закон прямо требует произвести предварительное досудебное обращение к ответчику с претензией. Ст. 797 Гражданского кодекса РФ предписывает обращаться с претензией только по договору перевозки груза. На перевозку пассажиров и багажа данное положение не распространяется. В связи с этим вы вправе обратиться в ближайший к вам суд по месту жительства.

На "нет" и суда нет

"Я дала в долг крупную денежную сумму под расписку. Деньги мне не вернули. Обратилась в суд, где мне сказали, что взыскивать бесполезно, так как у ответчицы нет имущества, и она не работает. Как я могу вернуть свои деньги?"

О.М. Родичева,
Красноярский край

К сожалению, вы попали в типичную и часто повторяющуюся ситуацию, когда взыскать сумму долга через суд достаточно легко, а вот получить обратно свои деньги, даже на основании решения суда, гораздо труднее.

В соответствии со ст.46 Федерального закона от 21.07.97 г. "Об исполнительном производстве" взыскание обращается на имущество должника, включая денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в банках и иных кредитных организациях. В тех случаях, когда с должника взыскиваются периодические платежи, например, алименты либо сумма, подлежащая взысканию, не превышает двух минимальных размеров оплаты труда, а также при отсутствии у должника имущества или недостаточности имущества для полного погашения взыскиваемых сумм, взыскание обращается на заработную плату и иные виды доходов должника. Соответственно, если у должника отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено взыскание, и принятые судебным приставом-исполнителем все допустимые законом меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными, исполнительный лист возвращается взыскателю. При этом возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению, то есть вы можете снова обратиться к судебному исполнителю, если узнаете, что у должника появилось имущество или она устроилась на работу.

Для взыскания долга в любом случае необходимо получить судебное решение и начать исполнительное производство, так как законом предусмотрена возможность розыска имущества должника, проводимого судебным приставом-исполнителем. В данной категории дел розыск объявляется

при наличии согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и авансировать указанные расходы. Впоследствии взыскатель вправе в судебном порядке требовать от должника возмещения расходов по розыску.

Возраст для принятия решений

"Нашему сыну 16 лет. Врачи настаивают на проведении операции, на которую мы должны дать согласие. Мы такого согласия не даем. Врач сказал, что добьется разрешения через суд. Имеет ли он такое право?"

А. и П.Говоровы,

Тамбовская обл.

Данный вопрос решается в соответствии с положениями "Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.93 г.

Одним из прав пациента является согласие на оказание медицинской помощи. Согласно ст.32 Основ необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители. Согласие родителей гражданина, не достигшего 15 лет, дается после сообщения врачом сведений о состоянии здоровья пациента, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их

последствиях и результатах проведенного лечения.

В соответствии со ст.33 Основ гражданин или его законный представитель — в данном случае родители — имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником. При отказе родителей лица, не достигшего возраста 15 лет, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанного лица, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.

Поскольку вашему сыну более 15 лет, согласие на медицинское вмешательство он должен давать самостоятельно после разъяснений врача о сущности операции и последствиях отказа от нее. Если ваш сын примет решение об отказе от медицинской помощи, то обратиться в суд медицинское учреждение не сможет, так как такая возможность предусмотрена только для случаев отказа со стороны законных представителей лица, не достигшего 15 лет.

Надбавка для героев

"Правда ли, что с этого года полагается прибавка к пенсии для Героев Советского Союза?"

В.Золотов, Ярославль

Это действительно так, поскольку 4.03.2002 г. был принят Федеральный закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией".

В соответствии со ст.1 Федерального закона граждане РФ, получающие пенсию и имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. В частности, дополнительное обеспечение выплачивается Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации; гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Ленина и другими орденами, Героям Социалистического труда, а также чемпионам Олимпийских игр.

Дополнительное материальное обеспечение для Героев Советского Союза и Героев России устанавливается в размере 415 процентов от базовой части трудовой пенсии по старости. При увеличении в соответствии с федеральным законом размера базовой части трудовой пенсии одновременно повышается размер выплачиваемого дополнительного материального обеспечения. В настоящее время минимальный размер пенсии по старости составляет 450 рублей, следовательно, ежемесячно будет дополнительно к пенсии выплачиваться не менее 1800 рублей. ■

**Ольга КОРЫТКО, адвокат,
консультант "Смены"
по юридическим вопросам**



Под редакцией международного гроссмейстера **Виктора ЧЕПИЖНОГО**
XI международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр

73. В. СУРКОВ
 Рязань



2

**74. Ф. НАПУСТИН
 Н. КУЛИГИН**
 Украина



2

75. М. МАТРЕНИН
 Ленинградская обл.



2

76. Н. АНИМОВ
 Казахстан



2

77. В. СУХНЕВ
 Московская обл.



2

78. В. МАТИНО
 Украина



2

79. Е. БОГДАНОВ
 Украина



3

80. В. КОЖАНИН
 Магадан



3

81. Г. ЗГЕРСКИЙ
 Москва



3

82. В. ЖЕЛТОНОЖКО
В. КОВАЛЕНКО
Россия



4

83. Г. ЕГОРОВ
Тула



4

84. Ф. КАНАБАДЗЕ
Грузия



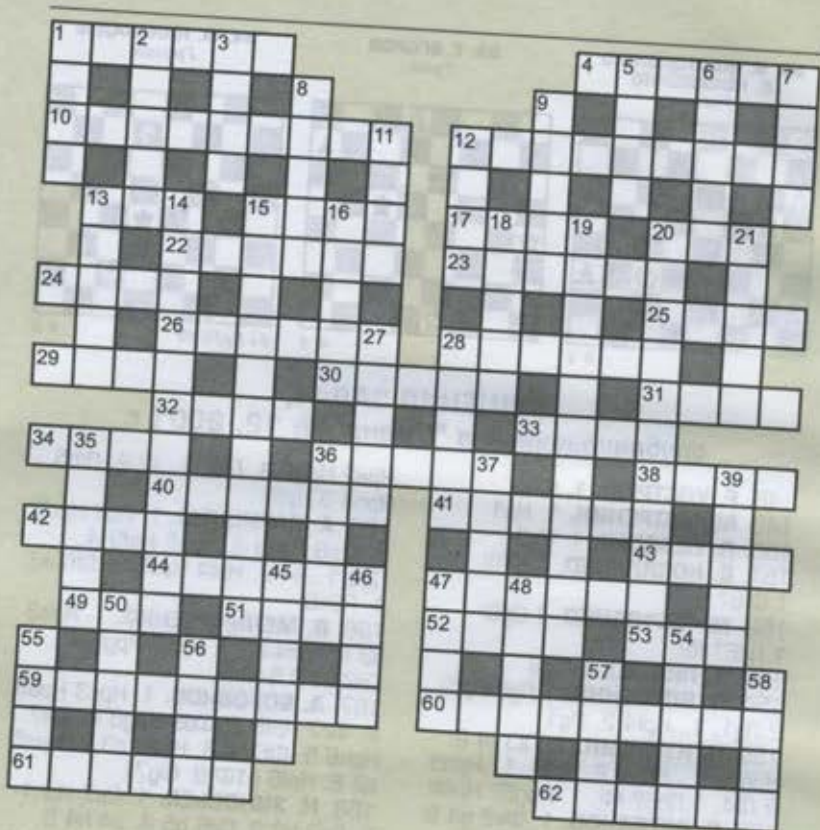
б) Kpf2-d2 # 5

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, опубликованных в "Смене" № 12, 2001 г.

148. **Р. УПСТРЕМ.** 1. Фf2
149. **М. МАТРЕНИН.** 1. На1
150. **Л. ЛЕБЕДЕВ.** 1. Ке3
151. **В. КОВАЛЕНКО.** 1. Фf5!,
1. Фf6? Кg6!
152. **М. ЧЕРНУШКО.** 1. Сg6!
1. Лd6? f5!
153. **З. ЛИБИШ.** 1. Фg8
154. **Н. ВЛАСЕНКО.** 1. Лg8 Кpf2
2. Лg1, 1...Кpf4 2. Лg1
155. **Н. КУЛИГИН.** 1. Лf3 f4 2.
Кpg6, 1... Кph4 2. Кpf5, 1...Кph5
2. Лf4; 1. Лh8? f4!, 1. Кpg6? Кpf4!
156. **Е. БОГДАНОВ.** 1. Фе2 g4 2.
Фе5, 1...Кpf5 2. Cd3; 1. Кpe6?
Кpg4!
157. **В. КОЖАКИН.** 1. Се2 Кrb4
2. Сс4, 1... Крс2 2. Са3
158. **В. ВОИНОВ.** 1. Фа8 Нb5 2.
Фа1, 1...g3 2. Са7
159. **Е. ЦИММЕР.** 1. Лg1 Кpf7
2. g6, 1...Кph7и 2. g6
160. **Г. ЕГОРОВ.** 1. Кf6 Кph2 2.
Сf3 Кph3 3. Сg2
161. **Ю. СЕРЕЖКИН.** 1. Кpf6 Ла6
2. Л1d6 Ла8 3. Лh7; 1. Лf7? Ла7!,
1. Лb7? Лс8!, 1. Лс7? Ла6!
162. **А. СЫГУРОВ.** 1. Сс6! Кpd6 2.
Фb6 e5 3. Сb5, 1... Кpd4 2. Фс2
e5 3. Се4
163. **Р. ЛАРИН.** 1. с3 Кра1 2.
Крс2 Кра2 3. Са3 Кра3 4. Ла1х
164. **В. КОЗЫРЕВ.** 1. Кpf1 fe 2.

- Кре2 Кpg2 3. Лf3, 1...f2 2. Лfh5
Кph4 3. Кpf2
165. **А. ВАРИЦКИЙ.** 1. Лс2 Кpd3
2. Лfc8 Кpe3 3. Кpe5 Кpf3 4.
Лg8, 1...e4 2. Кpf4 Кpd5 3. Лf6 e3
4. Л2с6
166. **В. МЕЛЬНИЧЕНКО.** 1. Кpe3
b3 2. Кpf4 b2 3. Кpg5 Кpg8 4.
Са2 b1Ф 5. Нh6
167. **А. БОРОВКОВ.** 1. Крс3 Кpe8
2. Фс7 Кpf8 3. Фd8 Кpg8 4. Фе7
Кph8 5. Фf7e4 6. Кpd4 c3 7. Кpe5
c2 8. Кpf6 c1Ф 9. Фg7х
168. **Н. ЗИНОВЬЕВ.** 1. Се7 Кph1
2. Са3 h2 3. Cd6 h5 4. a4 h4 5.
a5 h3 6. Ch2 Кph2 7. a6 Кph1 8. a7
Кph2 9. a8Л Кph1 10. Кpg3 Кpg1
11. Ла1х

Победителями конкурса решения шахматных задач "Смена-2001" по сумме результатов стали: **М. ДЕ-РЯБИН** (Налуга), **Г. КАРМАНОВ** (Сыктывнар), **Ю. КАРТАШОВ** (Санкт-Петербург), **В. КОЖАКИН** (Магадан), **А. МОТОВИЧЕВ** (Архангельск), **Г. ПОПОВ** (Якутск) и **А. РОГАНИН** (г. Строитель Белгородской обл.). Они награждаются дипломами и подписной на журнал "Смена" на 2003 год. Редакция поздравляет победителей и желает им новых успехов!



КРОССВОРД

По горизонтали. 1. Возлюбленная С.Есенина в "Персидских мотивах". 4. "Солнце русской поэзии". 10. Атрибут праздника, огорчающий пожарных. 12. Боец не на жизнь, а на смерть, развлекавший древних римлян. 13. Квадрат рисового поля. 15. Греческий оратор и софист, прозванный "бичом Гомера". 17. Самый порядочный из мушкетеров. 20. Наемный экипаж для Шерлона Холмса. 22. Столица Анголы. 23. "Вот такая ты ...", девушка моей мечты (из современной песни). 24. Один из зачинателей французской оперетты. 25. Материя, потраченная на Винни Пуха. 26. Разбой в квартире, разорение. 28. Обувь солдата на картине И.Репина "Бурлаки на Волге". 29. Месяц, в который Русь встретила Новый год. 30. Индийский поэт, названный Р.Ролланом "светочем Азии". 31. Натат. 32. Увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашу глупость. 33. Немецкая мадам. 34. Английская единица длины, бытовава-

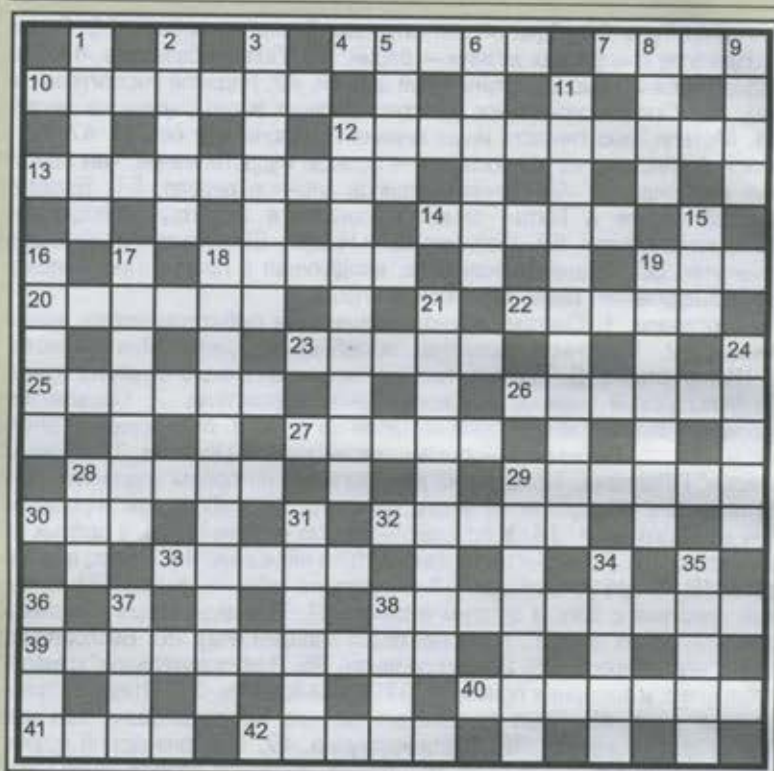
шая и на Руси. 36. Один оборот спутника Земли на орбите. 38. Басня И. Крылова с моралью: хозяин — барин. 40. Полное безволие. 41. Парадное одеяние высших служителей церкви. 42. Рядовой посетитель сауны. 43. Профессиональное детство, больше всего радующее детей. 44. Металл, чью тяжесть иные химики предпочитают осмию. 47. Английский епископ, чья философия — больше мудрствование, чем понятные рассуждения. 49. Теневыносливое хвойное дерево. 51. Валюта, бывшая нынче в Китае самой желанной в новогодних подарках. 52. Братва Мамая. 53. Любимая баба Кошца. 59. Женщина, сорящая деньгами. 60. Американская река, впадающая в пролив Лонг-Айленд. 61. Объединение, союз. 62. Лесная плешь.

По вертикали. 1. Система знаков, мешающая любителю читать чужие письма. 2. Восточная девушка, полюбившая графа Монте-Кристо. 3. Живая струна. 5. Трапеза, которую все-таки не надо отдавать врагу. 6. Бельгийский ученый, основоположник статистики. 7. Общежитие минни-маусов. 8. Гардеробный номерок по сути. 9. Музыкальный оптимизм. 11. "...Брюнон" — роман, названный С.Цвейгом "бравурным скерцо" Р.Роллана. 12. Один из двух органов, которыми управляет почти половина выходящих из мозга волокон. 13. Небольшой террариум для зеленого змия. 14. У богатых — форма рассеянности, у бедных — воровство. 15. Попытки шутя понравиться женщине. 16. Глупец в квадрате. 18. Опера А. Сальери. 19. Бичевание себя на словах. 20. Военные действия с белым флагом в руках. 21. Площадь опоры у ползающих. 27. "Ноза ностра", показывающая полиции козу. 28. Беспорядок, гвалт, неразбериха. 35. Знаток законов. 36. "Наблюдательное" приспособление в угломерных приборах. 37. Мини-корабль. 39. Птица, истребляющая пчел. 45. "Имя прилагательное", по Митрофанушке, так как прилагается к косяку. 46. Мини-неуступка. 47. Нидерландский художник, чья картина "Искушение св.Антония" поразила воображение Флорабера. 48. Трава, от которой отнюдь не отказывается карась. 50. Песенный купец, ехавший на ярмарку. 54. Итальянский порт, родина Колумба. 55. Антивная сестра Везувия. 56. Крепкий напарник тонина. 57. Гаситель звезд. 58. Результат метаний рыбы. ■

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 6

По горизонтали. 1. Извоз. 6. Кухня. 9. Ребро. 11. Падение. 12. Ленарна. 13. Нырок. 14. Городки. 15. Образец. 16. Ершов. 19. Эдда. 24. Дама. 26. Преисподняя. 27. Юшка. 28. Торф. 29. Чревоугодие. 30. Дали. 32. Лжец. 35. Фауна. 39. Цесарна. 40. Бройлер. 42. Лавис. 43. Корнель. 44. Утконос. 45. Шатер. 46. Танец. 47. Ньери.

По вертикали. 1. Испуг. 2. Водород. 3. Зануда. 4. Трение. 5. Волков. 6. Нонора. 7. Харизма. 8. Ямаец. 10. Барыш. 17. Ростова. 18. Осоргин. 20. Душна. 21. Апачи. 22. Перец. 23. Снедь. 24. Дятел. 25. Марне. 31. Люстрин. 33. Желание. 34. Армеец. 35. Фальшь. 36. Ухват. 37. Абсурд. 38. Чонкин. 39. Цунат. 41. Росси.



ЭРУДИТ

По горизонтали. 4. Крупный американский аист, строящий гнезда на самых высоких деревьях. 7. "Представитель творческой памяти в процессе литературного развития" (М.Бахтин). 10. Статуя Перуна, обычно с серебряной головой и золотыми усами. 12. Единственное знакомое европейцам растение, обнаруженное Колумбом на Кубе. 13. Город, занимавший в конце XIV века второе место по числу бань после Аугсбурга. 14. Немецкий химик, который мог открыть ванадий, но заболел, и его опередил Н.Сефстром. 18. Немец в "Золотом теленке", сраженный русским бюрократизмом. 19. Славянин, которого не называют по отчеству. 20. "Зарубин (он же Чина), с самого начала бунта сподвижник и... Пугачева" (А.Пушкин. "История Пугачева"). 22. Афинянин, подавший жалобу в суд на Сократа, требуя смертной казни. 23. Французская киноактриса, открывшая зрителям "Врата рая". 25. Главная неприятность при астме. 26. Русский историк, с 1882 года приводивший архивы Москвы и Петербурга в "образцовый порядок". 27. Северный жрец, на чьих бляхах изображали ящера. 28. Оружие, подаренное Ганнибалом своему

12-летнему крестнику А.Суворову. 29. Африканская Страна трех тысяч водопадов. 30. Зарубна, затес топором (по В.Далю). 32. Переносчик на большие расстояния вредных микробов и спор. 33. Генерал (побочный царский сын), под чьим началом был А.Пушкин во время ссылки на юг России. 38. Греческая наука о правильном образе жизни. 39. Русский историк, открывший Сборник Святослава 1073 года. 40. Месяц, в который в 1768 году английский врач Т.Димсдаль сделал Екатерине II и ее сыну Павлу прививку от оспы. 41. Погубительница князя Симеона Гордого. 42. "Последний великий мыслитель западной метафизики" (М.Хайдеггер).

По вертикали. 1. Цветок, стебли некоторых сортов которого, облепленные сотнями корзинок, достигают двухметровой высоты. 2. Восточный инструмент, чьи звуки любил Н.Гумилев. 3. Швейцарская певица и художница, в 21 год написавшая для галереи Уффици автопортрет. 5. Стержень с извилинами. 6. Колесико у шпор всадника. 8. Сестра Дмитрия Донского, на которой женился князь Боброк Волынский. 9. Природный самотек. 11. Капитан корабля "Нутзов", на котором А.Баранов возвращался из Калифорнии в Россию, но умер в пути на острове Ява. 12. Самоцвет в перстне Фридриха Великого. 15. Сто локтей в Древнем Египте. 16. Морской щупальценосец. 17. Врач с античного времени. 18. Прозвище Александра Македонского у азиатов, значащее Двурогий. 19. Озолоченный спортсмен. 21. Принц на Руси. 24. Самая известная в литературе "лошадиная фамилия". 28. Первая степень посвящения в ритуале кольчужной знати Европы. 29. Носилки богачей в Древнем Риме. 31. Вечная беда России — дураки и... 34. Коллектив, допевший "Яблочко", не заметив потери бойца. 35. Приспособление, облегчавшее посадку воздушного шара и придуманное физионом Ж.Шарлем. 36. Производитель материи без философии. 37. Головохранитель. 38. Португальский мореплаватель, открывший Мадагаскар. ■

ОТВЕТЫ НА ЭРУДИТ, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 6

По горизонтали. 1. Хайд. 5. Утопия. 11. Егор... 12. Ньюпс. 13. Обои. 14. Эртель. 15. Задира. 18. Цветы... 19. Тромб. 21. Риччоли. 24. Сова. 25. Шеф. 27. Гарде. 28. Швейцария. 29. Нант. 31. Охват. 34. Гамак. 36. Себах. 40. Наст. 41. Выморозка. 43. Юшник. 44. ...чаа. 45. Папа. 47. Ниприот. 50. Румба. 53. Брана... 54. Флейта. 56. Растро. 57. Йога. 58. Щерба. 59. Буре. 60. Схенти. 61. Тень.

По вертикали. 2. Амбар. 3. Деизм. 4. Зонд. 6. Турач. 7. Прево. 8. Янци. 9. Женеввер. 10. Ястык. 14. Эриа. 16. Абсент. 17. Ирвинг. 19. Тягло. 20. Обрыв. 22. Човган. 23. "Лайф". 25. Шале. 26. Фита... 30. Таннер. 32. Хрыч. 33. Аноа. 35. Карате. 36. Стюарт. 37. Бином. 38. Хонма. 39. Нони. 42. Махайра. 45. Поло. 46. Лбице. 47. ...нарас. 48. "После". 49. Ифрит. 51. Уайет. 52. Бенуа. 55. Иаун.



Она пишет натюрморты, пейзажи, виды городов, создает жанровые композиции. И почти во всех полотнах реальное изображение удивительным образом сочетается с фантазией художницы, личным видением, переосмыслением природы, и, даже несмотря на тщательно выписанные детали, создается впечатление некоей театральности, постановочности в передаче, в общем-то, вполне узнаваемой действительности.

Интересны натюрморты Маргариты Сюриной. Она создает особый мир предметов — затаенный, нежный и мечтательный. И в то же время открывает сокровенную суть вещей. Кажется, что они одушевлены, что это живые образы, со своей судьбой — неповторимой, загадочной... "Двадцать минут первого", "Осень. Плоды", "Восточный натюрморт" — все осязаемо, фактурно. Но подчас и символично. Когда обыкновенная тыква становится символом плодородия и женского начала, когда за предметным миром угадывается мир духовный.

Особую роль в работах Маргариты играет цвет. Пластика, построение пространства, соотношение предметов, характер и суть образов — все подчинено цвету. Легкий, прозрачный, как бы сотканный из света, или же давящий, размеренно сгущающийся тон, например, синего, переходящий почти в черный, а красный незаметно перетекает в полыхающий пурпур. Даже в портретах цвет помогает раскрыть характер, внутренний мир человека, а подчас и показывает отношение автора к модели.

Маргарита окончила Суриновский институт, училась в мастерской знаменитого Таира Салахова. Но своим главным, самым первым учителем считает Валентину Петровну Цветкову, заслуженного художника Украины. "Валентина Петровна поставила мне "руку и глаз". Я сразу стала писать маслом, минуя обычные "первоначальные классы", и только потом вернулась к акварели и карандашу. После ее уроков легко поступила в Московскую художественную школу при Суриновском институте".

Во время учебы Маргарита писала натурные пейзажи, цветы, фольклорные жанровые композиции и особенно много портретов. Даже дипломной работой у нее стал "Семейный портрет" — многофигурная композиция в интерьере. Тогда же, попав под обаяние музыки Мусоргского, создала серию картин, посвященных "Хованщине". Впрочем, увлечение музыкой со временем не прошло. "Соло для контрабаса", "Гранат и скрипка" — совсем "свежие" ее работы. Еще в институте Маргарита вырабатывала свой индивидуальный стилистический почерк. С одной стороны — экспрессивность, широта и пастозность письма, с другой —





тщательная проработка деталей, мозаичная ювелирная скрупулезность живописи. Оночательно сформировался он после поездок Маргариты в Нормандию. "Я была совершенно одна, без друзей, родных... Меня ничто не отвлекало. Могла свободно наблюдать, изучать характеры, культуру Франции" И появились циклы прекрасных работ "Замни Луары", "Виды Нормандии", "Шамбор. Призраки"

Шамбор
Леоид Леонов

Земнее плодородие.

"Раньше я искала свою тему, — говорит Маргарита, — индивидуальный художественный почерк. Теперь ищу всего лишь время, чтобы сделать то, что мне интересно. Меня волнует жизнь в своих полутонах, мне нравится осязать фактуру предметов и пространства и отгадывать загадки самых обыденных и привычных образов"

**Людмила
КАНДАЛОВА**



- Лошади
- Амуниция
- Оборудование конюшен и проекты их строительства
- Снаряжение дляковки
- Ветпрепараты и ветоборудование
- Корма и кормовые добавки



ЭКВИРОС

2002

- Одежда и обувь для верховой езды и работы с лошадью
- Ипподромное оборудование
- Оборудование для проведения конных соревнований

4-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНСКАЯ ВЫСТАВКА



с 14 по 19 АВГУСТА

WWW.EQUIROS.RU

МОСКВА, КВЦ "СОКОЛЬНИКИ"
ПАВИЛЬОНЫ 4, 4А, 4Б

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство сельского хозяйства РФ



СОКОЛЬНИКИ



Федерация конного спорта России



Ассоциация конноспортивных клубов

107113, Москва, Сокольнический вал, 1, павильон 4
тел./факс: (095) 105-3481, 268-7603, 268-7605, e-mail: arhipova@exposokol.ru